

**1**

Был солнечный день начала июня. Снег у поселка сошел, даже и подсохло кое-где, но в тайге по низинам еще по пояс можно было провалиться. Стаи гусей и уток вторую неделю тянули торопливо над Енисеем, в тундру, к недалеким отсюда берегам Ледовитого океана. Несли на крыльях не раннюю и не позднюю, обычную весну 1949 года. Больше двух тысяч верст летели птицы над могучей сибирской рекой, грязной и безлюдной, какой она и бывала каждую весну. Здесь же, у таежного станка Ермаково — пяток изб да два длинных барака на высоком берегу, — как нигде кипела жизнь.

Прямо к навалам льда были ошвартованы три баржи. Люди с грузом на плечах сновали по трапам, криво-косо проложенным среди ледяных торосов, катали бочки, паровые лебедки вытягивали из трюмов ящики и тюки. «Вира!», «Майна!» — то весело, то с жестким, подгоняющим матом разносились крики в весеннем воздухе. Солнце жарило, торосы текли, по голым мужицким спинам бежал рабочий пот.

Ермаковский берег насколько хватало глаз был завален тяжелым напором ледохода. Белые, зеленоватые, а больше грязные весенние льды громоздились неровной стеной, где высотой и с дом, опасно нависали над водой. Стайка ребятишек вместе с линялыми собаками скакали по снежным горам с криками и визгами.

Даже под ярким солнцем Енисей выглядел неуютно. Основная масса льда прошла, но вода продолжала подниматься, боковые речки, прорывая устьевые заторы, выбрасывали в Енисей новый, пестрый и опасный хаос льда. Временами на реке возникали целые поля с торчащими на них зимними еще углами торосов и купами вмороженных кустов.

Одна такая льдина, тяжелая и прочная, заплескиваясь по краям грязной водой, уверенно надвигалась на песчаное охвостье острова. По ней среди торосов метался заяц. Люди побросали работу. Два орлана неловко с разверстыми объятями бегали по льду. Заяц не сдавался, забивался в торосы, его пытались достать, он выскакивал и нырял в новое укрытие. И заяц, и хищники были мокрые.

На мысу острова льдина приблизилась к берегу, замедлила ход и, разворачиваясь, стала вползать в тихую Ермаковскую протоку. Косой, прижав уши, стремительно полетел к спасительным кустам. Отчаянно, как из пушки метнулся через воду в сторону острова. Совсем чуть-чуть не долетел, плюхнулся с брызгами, и его тут же с головой засосало в водовороты течения. Орланы, чуть столкнувшись крыльями, тяжело вроде, но быстро взяли в воздух, и вот уже один, вытянув лапы, поднял над водой бьющийся серый комок. Зайчишка в когтях оказался маленьким, он отчаянно брыкался длинными ногами и даже кричал, как показалось многим, но вскоре затих и повис мокрой тряпкой.

Женщины замерли, глядя вслед удаляющимся хищникам. Сержанты и стрелки охраны, раздетые по пояс, белотелые, в фуражках с красными околышами и звездами, реагировали гордо, будто они и поймали.

— Добегался!

— Ха-га! Собачку бы туда добрую! Она бы его враз!

Группа заключенных крошила ледовые навалы под причал. Тоже бросили работать:

— Один, что ли, зашамает целого зайца? — бритый налысо парнишка смотрел не отрываясь.

— А то тебе принесет!

— Кончай дымить, курвы! — раздался окрик бригадира. — Зайца не видали?!

Глинистый ермаковский берег, если смотреть на него с реки, не обрывисто, но круто поднимается от воды. Как и везде на Енисее, он голый, ободранный ледоходами, трава да камни. Леса нигде не увидишь у воды. Станок Ермаково стоит в удобном понижении таежных холмов на небольшой речке Ермачихе, впадающей в глубокую и судоходную Ермаковскую протоку.

Первые баржи из Туруханска пришли накануне вечером. Их сейчас и разгружали — палатки, железные печки, мотки колючей проволоки, продукты в ящиках и мешках, строительный брус, фанера, доски. На воскресник вывели всех, со дня на день ждали больших караванов из Красноярска. Разгружать их было некуда — ни причалов, ни складов, непроходимая тайга стояла по берегам.

Молодой стрелок охраны спускался по трапу с тяжелым мешком на плече. Симпатичный, с бритым затылком и длинным светлым чубом, он познакомился вчера в столовой с веселой подавальщицей — звать Нюра, вольнонаемная, родом из Туруханска. Он нес мешок и представлял, как летом поедут с Нюрой купаться на лодочке, на песчаный островок с кустиками. Аж ноги подгибались от этих мыслей. Стрелок служил по срочной уже два года, всё на отдаленных лагерных пунктах, и кроме мужиков-зэков да начальства никого не видел. Он прямо не верил, что перевели сюда. С Нюрой, правда, все вчера шутили, и офицеры тоже, но он все же надеялся, видел, что понравился девушке. Он сбросил в штабель мешок с закаменевшим цементом и посмотрел в сторону столовой с его Нюрой, его толкнули другим мешком, летевшим с чьего-то плеча, и он с веселым нервным трепетом во всем теле побежал по качающемуся трапу на баржу.

На воскреснике работали и жители станка, им за этот день было обещано по полкило хлеба и по банке мясных консервов. Замначальника Стройки-503 невысокий и худощавый капитан МВД Яков Семенович Клигман, редко носивший форму, ходил, затянутый в ремни. Временами он брался вместе со всеми за тяжелый негабарит и нес под крики бригадира. Потом стоял, вытирал платком лоб под фуражкой и озабоченно осматривал дикий таежный берег, который предстояло освоить.

На берегу Енисея разворачивался «Енисейжелдорлаг». Это было недавно созданное структурное подразделение МВД, состоящее из Енисейского исправительно-трудового лагеря и секретного Строительства-503.

Капитан Клигман, как и большинство офицеров Строительства, одновременно служил в двух должностях — был заместителем начальника лагеря и руководил Управлением снабжения стройки. Он, как никто другой, знал, сколько сейчас в пути пароходов и барж с материалами, техникой и живым спецконтингентом, и совершенно не представлял, куда все это добро разгружать. И он — понятное дело, коммунист и безбожник — малодушно просил кого-то там, на самом-самом верху, чтобы хоть на день-два отсрочили прибытие грузов.

Главная контора Строительства-503 располагалась сотней километров ниже по Енисею, в Игарке. Называлась она Северное управление ГУЛЖДС<sup>1</sup> МВД СССР. Там тоже разворачивались большие работы: обустроивались дороги, причалы и склады, спешно ставилось жилье для офицеров и вольных специалистов, возводилось большое здание Управления, а Игарский пересыльный лагерь расширялся в соответствии с грядущими масштабами, и теперь в него могли вместиться семь тысяч строителей.

В конце мая, пока Енисей еще стоял, все ермаковское начальство улетело на совещание в Игарку, вернуться быстро у них не получилось, Енисей пошел и забрал с собой ледовый аэродром. Капитан Клигман остался в Ермаково за старшего с лейтенантом-особистом и двумя десятками стрелков охраны.

Самая мощная река России течет с юга на север, поэтому весной здесь всегда непросто. В Красноярске весна начинается в апреле, а внизу, в Дудинке, только через два месяца, и все это время большая вода ведет себя, как вздумает. Первыми начинают таять саянские верховья и притоки, Енисей просыпается, взламывает лед и, устремившись вниз, сталкивается с самим собой же, вполне еще зимним, скованным метровым льдом. Все встает на дыбы, торосы запирают реку от берега до берега, а где-то и до дна, вода поднимается на десять, пятнадцать, иногда и двадцать метров. Миллионы тонн льда сдирают с берегов растительность и забирают с собой все, что неосторожно оставил человек. Работать в это время ни на воде, ни на берегах невозможно.

Так было теперь и в Ермаково, но здесь работали.

Стук топоров, молотков, крики и смех, лай вольных деревенских собак и казенных овчарок разносились над рекой. Громко трещал небольшой локомотив, вытягивая по временному настилу

---

<sup>1</sup> ГУЛЖДС — Главное управление лагерного железнодорожного строительства.

самые тяжелые ящики. Ермаковский спуск к Енисею размесили так, что не пройти уже было. Клигман поставил четырех заключенных-плотников делать лестницу, те целый час ходили, перекладывали бревна из грязи в грязь, спорили да махали друг на друга черными по локоть руками, и он снова вернул их на валку леса.

Солнце то скрывалось, то вновь слепило в прорехи быстро бегущих облаков. Трудяга Енисей, тяжелый и грязный, не взглядывая по сторонам, как вечный каторжник буровил мимо. Торосы подмывались, обваливались в мутную серую воду, всплывали тяжело и, медленно набирая скорость, устремлялись на север.

Над далеким поворотом показались клубы черного дыма, кто-то увидел, и вот все уже, прикрываясь от солнца, стали радостно всматриваться. Шел буксир с ниткой барж — первый караван после семи месяцев зимы. Архитектор Николай Мишарин, худощавый парень с модной столичной прической, вскарабкался на высокий штабель из досок:

— Три... нет... четыре баржи, Яков Семенович! — докладывал стоящему внизу Клигману.

Клигман близоруко шурился из-под руки на холодную, отблескивающую даль Енисея.

— Пять барж уже, я хорошо вижу!

Николай Мишарин прибыл в Ермаково проектировать строящийся поселок. Он прилетел две недели назад, и все это время ходил счастливый. Всем улыбался приветливо и пытался помочь, потому что самому ему делать пока было нечего — не было ни проектировщиков из его группы, ни даже простенького кульмана для работы. Прошлой весной он с отличием окончил МАРХИ<sup>2</sup>, кафедру градостроительства, сам попросился по распределению на далекую сибирскую стройку и так оказался на этих пустынных берегах, на секретном объекте «Енисейжелдорлага». В Москве это называлось Ударной комсомольской стройкой на Енисее.

Он стоял на расползающихся под ногами досках над великой сибирской рекой, залитой солнцем, и чувствовал себя самым счастливым человеком. «С такого маленького пятачка, отвоеванного у тайги, начинаются великие дела, — мысленно писал он в своем дневнике. — Не пройдет и пяти лет, здесь встанет город с современными домами и проспектами к Енисею. Изогнутый, освещенный электричеством пятикилометровый мост перекинется на восточный берег, поезда с табличками “Москва — Игарка”, “Ленинград — Игарка”, “Сочи — Норильск” понесутся таким же вот солнечным весенним утром. И все это начинается сейчас! Надо как следует запомнить этот нетронутый берег с вековыми кедрами и соснами, этих сильных людей, начинающих великое дело. Лет через двадцать-тридцать, а может и раньше, весь енисейский край снегов и тайги преобразится неузнаваемо...»

— Эй-й-й, рахитектыр! Твою мать! — услышал вдруг Мишарин. — Вали отседа на хер! — орали с баржи мужики-грузчики.

Лебедка с нервными скрипами поднимала из трюма длинную, опасно гнущуюся пачку досок. Мишарин мешал. Он дружески улыбнулся грузчикам и стал спускаться вниз. Надо вечером обязательно записать, приказывал себе Николай. Он все время забывал это делать.

Приблизившись, пароход загудел раскатисто, сообщая о прибытии краевой цивилизации в таежную глухомань. Баржи тянул небольшой буксир «Полярный», командовал им Александр Белов — самый молодой капитан пароходства. Из Красноярска вышли длинным караваном. Пять пароходов тянули друг за другом два десятка барж, двигались небыстро, за отступающими на север льдами, отстаивались, прятались от нагонявших караван опасных выбросов льда и снова двигались. Больше трех недель продолжалась ответственная, нервная, но и веселая работа. Белов вышел с двумя баржами, теперь же тянул шесть — взял караван поломавшейся «Якутии». Молодому капитану очень хотелось отличиться, и сегодня утром в густом тумане он ушел раньше других. И вот явился первым.

Буксир подошел, на виду у публики сделал оборот<sup>3</sup> и, встав против течения, уперся тяжело, несоразмерно силам. Красил облака хвостом черного дыма. Баржи, заканчивая маневр, вытягивались за его кормой.

<sup>2</sup> МАРХИ — Московский архитектурный институт.

<sup>3</sup> Чалятся всегда против течения, поэтому, когда идут по течению, разворачивают судно — «делают оборот».

«Полярный» был трехсотсильным буксиром голландской постройки. Двадцать четыре метра в длину и шесть в ширину, с радиомачтой и высокой, почти метрового диаметра трубой посередине. Только с капремонта, корпус выкрашен черной блестящей краской, надстройки бежеватые, буксир выглядел как с иголочки. Капитану по-товарищески завидовали, поминали прямо отцовское к нему отношение начальника пароходства.

Уводя баржи с течения, «Полярный» рискованно приваливал их вплотную к берегу, временами караван замирал, и казалось, что пароходике со всем его разнокалиберным хозяйством, длинно прицепившимся за кормой, никак не осилить весенней мощи реки. Дурная мутная вода временами так наваливала на нос, что буксирный трос провисал сзади до воды, но «Полярный», добавляя копоты из трубы, снова подавался вперед, в тишь Ермаковской протоки. Высокий капитан в белом летнем кителе и черных брюках на виду у всего берега уверенно руководил командой. Последняя баржа каравана зашла со стремнины в протоку, буксир протянул еще, увел всех под остров, и вскоре на баржах полетели в воду якоря.

Путь в тысячу семьсот километров был позади.

«Полярный» сплывал задним ходом, а вся команда, скинув телогрейки, лихо аврала — выбирала двухсотметровый буксирный трос, боцман едва успевал укладывать бухту на корме. На баржах натягивались — набивались, как говорят флотские — якорные цепи, кто-то увидел знакомых на стоявшем под островом пароходе, улыбались устало, закуривали.

Буксир, расталкивая торосы, ткнулся в берег. Белов вышел из рубки, на белом кителе — погоны флотского лейтенанта и рубиновый орден Красной Звезды. Капитан Клигман стоял на разгружающейся барже.

— Здравия желаю, товарищ капитан, — небрежно козырнул Белов, с видом артиста, только что отыгравшего бенефис. Его щеки горели, как у девицы, а глаза искали знакомых на берегу.

— Лагконтингент на разгрузку поставьте... — то ли приказал, то ли предложил Клигман и посмотрел на Белова так, будто спрашивал: ну что вы, сами не понимаете? Яков Семеныч, всю жизнь служивший по снабжению, не умел приказывать, это было написано у него на лбу.

— Сначала обед, товарищ капитан! С ночи команда не ела! — нагло и весело настаивал флотский. — Куда они из трюмов денутся!

— Э-эх, молодой человек... Ну что такое?! — повернулся Клигман к лейтенанту-особисту.

— Зэков на дальний причал, зэчек — сюда! Без разговоров! — приказал Белову особист.

Буксир сдал назад и, поднимая за кормой недовольный бурун, стал разворачиваться. Обильная черная копоть валила из трубы. Барж с заключенными было две. Обе деревянные, с плоскими палубами, на которых лежали грузы — никогда и не скажешь, что в их трюмах могли быть люди. Одна побольше, посередине — рубленая изба шкипера, из ее трубы шуровал дым, а на весь берег пахло щами. Охрана столпилась у лавочки, кто-то что-то веселое рассказывал — хохот разносился по воде. В этой барже в трюмах с трехъярусными нарами ожидали разгрузки восемьсот девяносто пять заключенных мужчин.

Палуба соседней баржонки была загружена новенькими мотками колючей проволоки. В ее трюме сидели пятьсот девяносто женщин.

Маленькую баржу подвели первой. Занесли концы на берег. Старшина — начальник прибывшего конвоя, порядившись с лейтенантом-особистом, где будут сдавать этап, на судне или на берегу, расставлял охрану. Двое бойцов сняли засовы с носового люка, откинули широкие дверцы и металлические решетки, и из трюма вырвалось утробное гудение человеческих голосов и показались женские головы.

— Бабы, шухер! Тут ни хера не Сочи! — придуриваясь, визгливо заблажила первая же, с красивым платком на плечах и цветастым узлом в руках. Она и одета была нарядно, если бы не дорожная помятость, хоть в ресторан. Губы ярко накрашены, глаза подведены.

— Лезь давай, шалава драния! — раздавалось беззлобно из глубины трюма. — Дай людям воздушку нюхнуть вольного!

Женщины, поругиваясь и пихая друг друга, выбирались наверх, шурились от яркого света. Первыми выходили воровки, одетые кто в зимнее, кто в летнее, вполне круглые лицами. С узлами и

чемоданами. Матерились, дымили куревом, заигрывали со стройным капитаном в белом кителе. Одна даже юбку задрала до трусов.

— Пятёрками разобрались! Вперед! Не задерживай! — стрелки не церемонились, подпихивали куда придется, в спины, под задницы... Воровки повизгивали, подбирали юбки, валили нестройно, как на базаре. Под ногами чавкала грязь.

Уголовных было человек сорок-пятьдесят. Потом пошла 58-я<sup>4</sup>, кудрявые и стриженные налысо враги народа, жены врагов, сестры, матери и дочери врагов, худые и бледные, молодые и старые контрреволюционерки, в основном одетые в лагерные фуфайки и бушлаты. На ногах у многих были мужские ботинки 45-го размера, и женщины шли, как клоуны в цирке. Большинство безлики и не очень похожи на женщин, но некоторые красивы. Среди этих мало кто улыбался. Оглядывались тревожно, а увидев красавца-капитана, отворачивались. Много было совсем молоденьких, старшеклассницы по виду.

Пестрый этап двигался небыстро, изгибался вверх по склону, чавкал и оскальзывался в грязи. Когда все вышли, в трюме возникла заминка, заключенная в серой робе, выглянув из люка, звала охрану. Начальник конвоя, натерпевшийся от баб за три недели пути, пошел было по трапу, но остановился и повернулся к этапу:

— Садись! — раздался молодой, не по возрасту властный голос.

— Садись! Садись! — понеслось вверх по склону. — На землю! На землю, сучки!

— Сами садись! Садисты! Идите на хрен! Не имеешь права, писюльку те в пасть! Ха-ха-ха! Не май месяц! — визжали-роптали воровки.

Политические безропотно опускались в строю, кто на корточки, чтоб уж не в грязь, кто на подвернутую ногу в ватных штанах. Многие улыбались хорошей погоде и на вольную картину большой реки. После трех недель в трюме. Платки перевязывали на головах, охорашивались.

Два стрелка за руки за ноги вынесли из баржи худую и длинную пожилую лагерницу. Сзади поднималась молоденькая стриженная девушка, пыталась поддерживать седую голову, но не успевала, голова все время падала и становилось видно костлявое лицо и широко раскрытый синегубый рот.

— Готовая, что ль? — недовольно спросил старшина.

— Не знаю, врача надо... — девушка приложила ухо к груди старухи.

— Какого врача?! — зло гаркнул старшина. — Клади ее в сторону! Сама встала в строй!

Полукилометром выше по течению обносили колючкой рабочую зону. Люди в черных и серых спецовках пилили деревья, обрубали и жгли сучья в огромных кострах, искры, пепел летели высоко, под крики «Па-аберегись!» с тяжелым вздохом валились столетние деревья, топоры звенели, шинькали пилы-двуручки. Зоной выгораживался прямоугольник в триста метров вдоль воды и столько же вглубь тайги. Деревья были в основном повалены и густо лежали в разных направлениях: казалось, что здесь нарочно нагородили весь этот хаос, чтобы невозможно было пройти. Желтели свежие спилы, несколько мужиков таскали обрубленные ветви к реке, бросали в воду и на торосы, отчего ощущение бардака и бессмысленности только усиливалось.

Колючую проволоку тянули для виду, в три нитки, прибывая прямо к деревьям с отпиленными верхами, выходило неровно. Зону городили для ОЛП<sup>5</sup> погрузо-разгрузочных работ, сразу за ним планировали ставить главные складские бараки для будущего строительства. Пока же за эту колючку можно было принять прибывающий лагконтингент. Начальство торопилось, огораживали на тысячу заключенных, понимая, что и четырех- и пятитысячный этап легко уйдет в это пространство.

Все было временное, делалось наспех и малыми силами, все предстояло еще выкорчевать и расчистить, перетянуть колючку в соответствии с подробными инструкциями, поставить вышки, а над вахтой написать нетленную сталинскую мудрость, украшающую ворота всех лагерей от Днепра до Амура: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!»

---

<sup>4</sup> «Пятьдесят восьмая» — политическая (преступления против государства) статья Уголовного кодекса РСФСР в редакциях 1922 и 1926 годов. Отменена в 1961 году. Так называли политических заключенных.

<sup>5</sup> ОЛП — отдельный лагерный пункт.

Так начиналась Великая Сталинская Магистраль.

Полторы тысячи километров железной дороги предстояло проложить по Полярному кругу, соединяя Северный Урал с низовьями Енисея.

Все ресурсы, вся тьма стройматериалов, техники, продуктов, еды, людей, конвоя для людей и надзирателей над людьми были расписаны народно-хозяйственными планами по годам, выделены и двигались, стекались со всей страны к месту назначения.

## 2

Станка Ермаково как раньше не было на картах, так и теперь нет, но найти просто — Енисей в этом месте делает самую большую излучину на всем своем пути. Между Туруханском и Игаркой надо смотреть, на пересечении с Полярным кругом. Именно сюда должна была выйти железная дорога с Приполярного Урала. В вершине этой петли на высоком левом берегу и решили ставить поселок — управление Спецстроительства-503.

Впервые станок Ермаково упоминается в исторических документах, датированных 1726 годом. Место описывалось как рыбное, промысловое, с почтовой станцией. Было в нем на тот момент несколько изб, в которых жили три семьи.

Примерно таким станок и оставался. В революционные времена отличился тем, что один ушлый местный национал, представляясь уполномоченным советской власти и показывая неграмотным соплеменникам случайно найденную бумажку с печатью, несколько лет обирал по окрестностям сородичей. И больше ничего особенного. Рыбы не убывало, зверя тоже. Почта, правда, при советской власти вдоль Енисея прекратила ходить.

Первые серьезные изменения произошли во время войны. Шестого января 1942 года в далекой Москве вышло постановление Совета народных комиссаров и Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке». Реализуя высокое решение, в поселок, состоявший из семи строений, считая худые сараи, завезли больше трехсот человек. Большинство прибывших были российские немцы, в 1941 году уже сосланные в Сибирь из Поволжья и теперь сосланные еще раз из Сибири на крайний ее север<sup>6</sup>.

Постановление выполнялось силами НКВД, прав у людей никаких не было, кроме транспортных затрат они ничего не стоили, поэтому везли с избытком, учитывая естественную убыль. Так в 1942 году население Ермаково увеличилось сразу в десять раз. Крепких мужчин было двенадцать, остальные — женщины, дети, старики и подростки.

Современный историк, читая тот далекий указ, может поразиться его гуманности — время военное, трудное, а Москва требует от местных властей, чтобы те издали свои постановления, в которых закрепили бы для переселенцев сенокосы, уголья под пашню и выпас для скота. И местные писали постановления и закрепляли... Но вокруг Ермаково стояла глухая тайга. Ни пашни, ни скота здесь никогда не водилось. Важнее было жилье, но его тоже не было.

Первую зиму люди прожили в землянках, которые вырыли сами. Только через год, к январю 1943-го, был закончен барак на двенадцать комнат, в которые вселились сто пятьдесят человек по три-четыре семьи в комнату. В следующем, 1944 году построили еще один барак.

Для добычи рыбы государству была образована артель «Рыбак». В трех ее бригадах состояли пятьдесят человек, еще тридцать работали в администрации, службе и бригаде строителей. Остальным, почти полутора сотням работоспособных, работы не было.

К концу войны стало ясно, что все это больше погубило народу, чем принесло пользы — большинство созданных артелей и колхозов задолжали государству астрономические суммы, и о постановлениях забыли. Ссылным разрешили переехать в Игарку и Дудинку, где можно было поискать работу. В поселке осталось человек пятьдесят, если считать стариков и ребятишек.

В 1949 году началась новая история станка Ермаково. В первых числах марта на нескольких санях и пешком появилась в заваленном снегом дремтотном поселке небольшая бригада лагерников с охраной. Поселились в пустующем бараке, подремонтировались, наладили кухню. По утрам строем и

---

<sup>6</sup> Все это было предусмотрено Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б). Только в северные районы Красноярского края «для использования на рыбных промыслах» привезли 23 000 немцев.

под конвоем стрелков заключенные ходили на Енисей, долбили там целый день, очищая от торосов лед реки и песчаный остров, — готовили взлетно-посадочную полосу.

В конце марта на подготовленный аэродром стали прибывать начальство и ценные грузы. Из Игарки по Енисею на лошадях, машинах и пешком потянулись заключенные-специалисты: геодезисты, плотники, повара, обслуга. Хорошего, налаженного зимника пока не было, его заносило, машины застревали, ломались от мороза, поэтому дорога в сто километров выходила небыстрой и опасной.

До прихода первых барж больших работ в Ермаково не было. Плотники срубили для начальства добрую баньку на ручье, беседку к ней с видом на Енисей да несколько сараев под небольшие склады.

### 3

З/к<sup>7</sup> Горчаков Георгий Николаевич неторопливо обрубал сучки со сваленных сосен, относил в кучи, перекуривал неспешно, разглядывал издали суету под ермаковским взвозом. Там грохотала техника, шумели люди, здесь же, на дальнем конце будущей зоны, кроме санитаря Шуры Белозерцева никого не было. Временами ветер доносил сильный запах пароходного дыма. Горчаков поднимал голову и его ноздри сами собой, по наивности человеческой, тянули знакомые тревожащие душу запахи.

Лагерному фельдшеру Георгию Николаевичу Горчакову было сорок семь, выглядел он старше, может и на шестьдесят, но не стариком, глаза были нестарые. Выше среднего роста, крепкий в плечах, чуть сутулый. Лицо Горчакова всегда бывало спокойно, его можно было бы назвать и волевым, но выражало оно совсем немного. За долгие годы бездумного подчинения его лицо научилось не участвовать в происходящем. Это была довольно обычная физиономия старого лагерника: глубокие морщины поперек лба, разношенные ветрами и морозами слезящиеся глаза, дважды сломанный нос — в январе тридцать седьмого на следствии в Смоленской тюрьме и потом урки на Владивостокской пересылке — оба раза срослось криво, с уродливой щербиной. Были и другие отметины.

Горчаков сел на прохладный сосновый ствол среди необрубленных еще толстых суков. Тщательно протер круглые очки и, закурив, замер, глядя на могучую реку. Он не любил Енисей. Когда-то в молодости он сравнил его с бородатым мужиком с топором, бредущим мимо по своим делам. Енисей был безразличен к человеку. Он совсем не был красив, как не может быть красивым угрюмый и опасный мужик. Просто иногда он бывал спокойным.

Первый раз Георгий Николаевич попал в эти края в середине двадцатых, начинающим геологом, тогда все было иначе... Было много солнца, много сил, счастливого упрямства, удачи и наивной веры, что все можно обуздать, даже и мужика с топором. Много тогда удалось... Даже потом, когда в тридцать восьмом начальник «Норильскстроя» Перегудов вытащил заключенного Горчакова с Колымы, это были три отличных полевых сезона — тридцать восьмой, тридцать девятый и сороковой. Потом снова были лагеря «Дальстроя», потом Салехард, и вот судьба опять привела его на Енисей. Два последних года кантовался доктор геолого-минералогических наук, лауреат премии ВСНХ, з/к с учетным номером 2338 Горчаков Георгий Николаевич фельдшером по здешним зонам.

Лишь в пору тяжелых осенних штормов, когда наружу был весь его варначий нрав, Енисей был ничего себе. Горчаков мог часами на него смотреть. Осенью все было так же безжалостно, но честно. Во всякое же другое время «батьшка-Енисей» был угрюмым безответным зычарой, которому нельзя было доверять, нельзя было лезть к нему со своими мыслями и чувствами. Даже колымские ручьи и речки помнились Горчакову как понимающие тебя, а иногда и расположенные к тебе. Енисей не знал никаких таких чувств к человеку.

Подошел Шура, хотел что-то сказать, но, глянув на застывшего вдаль начальника, молча присел на тот же ствол. Рукавицы-верхонки подложил под себя. Белозерцев был идеальным санитаром — не боялся ни крови, ни грязной работы, ни блатных. У Горчакова, как у всех старых лагерников, ни с кем не заводилось близких отношений, Шуре же он доверял, они вместе ели, иногда разговаривали.

---

<sup>7</sup> З/к — заключенный. В официальном документообороте использовалось как несклоняемое существительное, произносилось как «зэка́», с ударением на последний слог. В бытовой речи ударялось на первый слог и склонялось: зэк, зэка, зэку.

— Полная безнадега, чего и говорить! — продолжил Шура ранее начатую мысль. — Сколько раз представлял, как ухажу от реки... — он повернулся и строго посмотрел на Горчакова. — Вроде и Россия кругом, а никогда до людей не добраться! Очень неприятно, Георгий Николаич, на тот свет, получается, уходишь!

Горчаков кивнул, соглашаясь, сам рассматривал изуродованный берег реки. Еще три дня назад тут было тихо, как у Христа за пазухой. Нетронутая полусонная тайга и мутная весенняя река с белыми торосами по берегу. Птички пели... Но за два последних дня пришло много барж, заключенных сильно прибавилось и тайги навалили много. Километра на три вдоль берега все уже лежало, словно скошенное, деревья распиливали, растаскивали, жгли в кострах и сбрасывали в реку, освобождая место под площадки. Десятки барж стояли под разгрузкой, росли горы стройматериалов... и всюду, как в гигантском муравейнике, сновали и сновали люди. Издали не разобрать было, кто из них в серых казенных робах, а кто в полевой форме с портупеей и кобурой на поясе.

— Лепила<sup>8</sup>! — к ним через завалы пробирался помбригадира Козырьков. — Заманался тебя искать! Там особист врача требует!

Горчаков очнулся от мыслей, посмотрел на топор, торчащий рядом в дереве.

— Я заберу, — понял его Шура.

Горчаков надел верхонки и стал спускаться к реке. Помбригадира шел сзади, вытирая пот со лба. Козырьков хоть и пытался разговаривать, как блатной, но блатным не был. Крестьянин Тульской губернии, он сидел четвертый год за два мешка картошки, которые кто-то спрятал у него в омшанике. Он был страшно удручен такой несправедливостью и подробно рассказывал, как те мешки стояли почти на виду и как бы он их заныкал, если бы на самом деле хотел спрятать. Больше всего его расстраивало, что мешки достались тому, кто стукнул. В помбригадиры он попал случайно и очень дорожил местом. Это была самая высокая должность за всю его жизнь. Покрикивать даже научился.

Впереди из баржи выгружали большой женский этап. Основная его часть неровной колонной медленно поднималась по склону, у баржи выстраивали последние пятерки, считали. По мере приближения к женщинам Козырек оживлялся, щупал реденькие усы, расстегивал черную казенную спецовку и поглаживал откуда-то взявшуюся у него дырявую тельняшку. Улыбался глуповато и заговорщицки поглядывал на Горчакова.

Две женщины неподвижно лежали на солнце, прикрытые мешковиной. Босые ступни одной бросались в глаза — это была девочка-подросток. Рядом с ними на бушлате разметалась тяжело опухшая женщина. Серое изношенное платье разлезлось на необъятном животе. Дышала с задержками и хрипом, глаза совсем заплыли. Старшина, начальник конвойной команды что-то зло выговаривал пожилому сержанту с автоматом на плече. Тот курил вонючий самосад, вежливо пуская дым из седых усов мимо командира. На корточках возле большой сидела заключенная, грела в ладонях кружку с водой, густые темные волосы выбились из-под платка.

— Коля, найди пару досок на носилки, — попросил Горчаков помбригадира и присел к старухе. Взял руку, нащупывая пульс.

— Водянка, — негромко подсказала женщина с кружкой. У нее были тонкие пальцы, тонкие черты лица и большие черные глаза. — Пульс плохой...

— Вы врач? — Горчаков был спокоен, будто в руках у него не было руки умирающей.

— Да. Педиатр.

— Прокол сделать можете?

— Никогда не делала.

— Умрет, если не проколоть.

— Попробую...

— Дайте мне эту женщину в помощники, — повернулся Горчаков к начальнику конвоя.

---

<sup>8</sup> Лепила — доктор, врач, фельдшер (лагерный жаргон).

Старшина ничего не ответил, зыркнул красными от недосыпа глазами и пошел было к дальней барже, где уже началась выгрузка мужчин. Но вдруг вернулся и решительно встал над Горчаковым, продолжавшим сидеть на корточках.

— Встал! — рявкнул, глядя с ненавистью сверху вниз.

Горчаков отпустил руку старухи, поднялся и отступил на два шага.

— Слушаю! — старшина был на полголовы ниже и в два раза моложе, он еле сдерживался, чтобы не ударить в морду лагерного лепилу.

— Зэка Горчаков, статья 58.10. Двадцать пять лет... Фельдшер медпункта, гражданин начальник, — доложил Горчаков по форме.

В его позе, лице, голосе не было ничего. Никакого внутреннего движения, ни эмоций. Он говорил эту фразу тысячи раз, он начал произносить ее еще тогда, когда старшина, высунув кончик языка, учился выводить буквы в тетрадке в косую линейку.

— Совсем страх потеряли, фашисты недобитые... — прошипел старшина и, зло глянув на седоусого сержанта, спокойно стоявшего рядом, пошел к дальней барже.

— Что, заберешь что ли?! А то околеет... — сержант добродушно обратился к Горчакову. Он пытался раскурить самокрутку, но она опять погасла. — Покойников-то куда у вас тут? Самойлов! — крикнул негромко в сторону баржи.

— Я, товарищ сержант! — по палубе бежал боец, шаги гулко отдавались в пустоту трюма.

— Возьми дневальных, пусть закопают... маленькая воняет уже... — сержант посмотрел на бездыханную самокрутку, попробовал еще из нее потянуть и бросил на землю.

Из дальней баржи через грязный торос переваливала темная масса мужчин с узлами и чемоданами. Выгружали в недостроенную зону. Местной охраны не было, передать было некому, и вместо отдыха уставшему за долгую дорогу конвою надо было выставлять охрану на берегу. Старшина был злой, он точно знал, что кого-то недосчитаются в этой неразберихе. Холеный лейтенант-особист с полувзводом бойцов занимался приемкой женского этапа. Это старшину злило больше всего.

— Семенов, — заорал старшина, подходя к разгрузке, — всех собак на берег! Живо!

— Они там ноги переломают, товарищ старшина! Казбек уже хромает!

— Я что, сука, сказал! Выполнять! Казбек херов!

Горчаков с Шурой поднимались вверх к медпункту. С конца марта, когда они с одной из первых групп прибыли в станок Ермаково, ни большого начальства здесь не было, ни работяг толком и жизнь была неплохой. Начальство сидело в жарко натопленном бараке, иногда ездили в санях ловить корюшку, иногда, когда из-за пурги долго не было бортов, приходили к Горчакову одолжиться спиртом.

Блатарей не было совсем, и жили спокойно, о лагере напоминали только утренние и вечерние поверки да дневальный с его «Подъем! Подъем, ребята!», потом Горчаков с Шурой на целый день уходили в медпункт — он был не в зоне.

Начальником третьего отдела<sup>9</sup> был лейтенант Иванов. Среднего роста, крепкий и подтянутый, он был образцом для всего небольшого лагеря — водки не пил, на веселые пьяные рыбалки не ездил, каждое утро обливался ледяной водой у ручья, а еще бегал на лыжах и занимался на турнике или, раздевшись до пояса, колот на морозе дрова.

Еще он был начитанным и любил пофилософствовать на отвлеченные темы.

Жили сыто, повар был знакомый, иногда местные приходили в медпункт или приводили ребятишек, за что приносили соленой осетрины или лосятины. Горчаков не толстел, а Белозерцев даже округлился, отчего испытывал притворное неудобство, разглядывая себя в зеркало.

---

<sup>9</sup> Третий оперативный (особый) отдел следил за политической благонадежностью и моральным состоянием заключенных, вольнонаемных и частей охраны. Выявлял госпреступления (измена, шпионаж, диверсия, терроризм), контрреволюционные организации и лиц, ведущих антисоветскую агитацию. Начальник 3-го отдела (по-лагерному — «кум») подчинялся не начальнику лагеря, но напрямую 3-му отделу ГУЛАГа (Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР).

Теперь все менялось, Шура сокрушенно об этом заговаривал. Горчаков же был спокоен — за тринадцать последних лет как только ни менялась его жизнь. Она текла не в человечесьем, но в каком-то другом измерении, часто таком тесном, что в нем с трудом помещалась миска баланды с селедочной головкой.

#### 4

Четверо флотских выпивали на утреннем солнышке. На самом верху, чуть в стороне от ермаковского взвоза стоял древний, вкопанный в землю стол с двумя лавками. На столе толстый шмат сала, соленая стерлядка и текущая жиром нельма на газетке, кусок отварного мяса, свежий хлеб. По граням стаканов скакали весенние солнечные зайчики. Одна пустая поллитровка из-под спирта уже валялась под столом. Капитан Белов в тельняшке, без кителя поднимался от ручья с трехлитровой банкой в руке. В ней молочно мутнел только что разведенный спирт.

Теплую компанию составили заслуженный шкипер парового лихтера Иван Трофимыч Подласов, не менее заслуженный капитан «Климента Ворошилова» Тимофей Кондратьевич Семенчук, главный механик «Ворошилова» — белоголовый и средних лет Петр Сергеич Сазонов. Строгие темно-синие офицерские кители со стоячими, подшитыми белыми воротничками, черные брюки, сапоги — форма речников в те времена не отличалась от военно-морской. Все наглаженные, начищенные. Только старый шкипер, мерзнувший в силу возраста, был в новой черной телогрейке, надетой на тельняшку.

Выпивали не торопясь, шурились на родные енисейские просторы, первый трудный рейс вслед за льдами был окончен, Енисей очищался на глазах, начиналась навигация, непростая речная работа, где нет ни дня, ни ночи, где иной раз и месяц, и полтора нет возможности расслабиться, выпить вот так спокойно с товарищами. Поделиться новостями: кто куда ходил, как с планом, кто где проштрафился и как дело обошлось.

Старики сидели за столом, Белов стоял возбужденный. Он поднялся с тостом, его о чем-то спросили, и он уже десять минут рассказывал, как провел свой караван.

— Подкаменную прошли, — глаза у Белова горели интересом и гордостью, но и уважением — заслуженным людям рассказывал, — встали на ночь, а в первом часу ветер поменялся, и как поперло... прямо горы льда тащит, и все нашим берегом. Якоря срывает, я одну баржу поймаю, другую потянуло. Как переловили — не знаю, вывел всех под левый берег, отстоялись...

— А «Якутию» что? — спросил механик Сазонов.

— Льдами на камни выдавило... Я баржи с зэками еле вытащил из торосов... Ветер льдами давит, баржи скрипят, кренятся, охрана перепугалась, орут, чтобы их сняли, собака за борт упала...

Белов нетрезво поблескивал красивыми темно-кариими глазами. Он был умный, чистый душой, по возрасту вежливый и даже застенчивый, но и рабочего упрямства в нем хватало. Его еще четырнадцатилетним матросом звали Сан Саныч. За худобу и высокий рост, но, видимо, и за расторопность не по годам.

— Ну-ну, бывает... — Семенчук с хрустом разрезал луковицу и поднял стакан. — Ну, давайте!

Выпили. Закусывали. Солнышко пекло, птички наперебой распевали по кустам, от реки доносился шум большой разгрузки.

— В этом году еле успел огород вспахать... — капитан Семенчук, даже когда шутил, говорил с самым серьезным видом. — В прошлом году не успел, жена лопатой копала.

— Что же, не могла соседа попросить? Там у тебя Геннадий Степаныч рядом...

— Сосед — дело опасное, сначала огород, потом еще чего, а потом и тебя не надо! — весело зыркнул из-под лохматых бровей старик-шкипер.

— Не-е, моя железобетонная... это я только скотина, — нахмурился все тем же серьезным глазом Семенчук.

Мужики довольные рассмеялись.

— Как там Смирнов, не женился?

— Женился.

— На поварихе?

— На ней!

— Раньше правило было, — вставил неторопливое слово старый шкипер. — Штурману у себя можно, капитану нельзя! — Помолчал и добавил философски: — Лучше с другого парохода матроску какую приласкать...

— И раньше нарушали, — не согласился Семенчук, — дело такое... Вон в Маклаково был случай, мужик бабу-солдатку потягивал из соседнего барака... ага... ну, один раз «уехал» в командировку! День у нее живет, другой, на третий день пошел мусор выносить в халате и в тапочках, и машинально, ноги сами принесли, пришел домой. Заходит в чужом халате, чужих тапочках и с чужим мусорным ведром из командировки! Жена на него и смотрит...

Все улыбались, случай был известный.

— У нас в Подтесово тоже этой зимой было, — поддержал Сазонов. — Стармех с «Бурного» пошел во двор за дровами, да с ребятами и загудели как следует. Вернулся домой через восемнадцать дней... но с дровами! Баба его и не тронула — помнил за чем ходил!

Выпили и вторую бутылку. В приподнятом настроении отправились на баржу к шкиперу, на пельмени. Проходя мимо локомотива, механик Сазонов заинтересованно притормозил. Двое заключенных — один потолще и повыше, другой маленький, рябой и с сердитым взглядом — только что запустили механизм, стояли с грязными руками и лицами, слушали, как работает. Локомотивное время от времени начинало трясти — высокий быстро наклонился к крутящейся технике, сбавлял обороты и вопросительно смотрел на сердитого.

Главный механик «Ворошилова» не выдержал:

— Хрена ли смотрите, у вас маховик на двух болтах держится! — он присел и нетрезво посунулся показать, но не удержался и всем телом и рукой поехал внутрь работающего механизма.

Мужики схватили, вытянули обратно, но рукав тужурки был уже разорван, белая рубашка сделалась красной, с руки обильно лилась кровь.

— Ай-й-й! — оскалившись от боли, пьяно хрипел механик. — Вентилятором рубануло!

Вход в медпункт и штабной барак был один. Перед ним на лавочке курил часовой с карабином, поднялся при виде флотских офицеров. Белов решительно распахнул дверь, потом дверь налево с надписью «Санчасть». Как ледокол шел, расчищая дорогу товарищам.

Внутри на топчане громко и тяжело дышала толстая старуха, рядом на коленях стояла чернявая зэчка-врач и заголяла старухе рукав, Горчаков вынимал пинцетом прокипевший шприц, глянул мельком на шумно вошедшего Белова и окровавленную руку механика. В комнате было тесно, у порога валялись ботинки и фуфайки женщин.

Белов шагнул через фуфайки. Флотские, хоть и протрезвели от случившегося, не очень твердо держались на ногах.

— Доктор... — взял на себя командование Белов, но, увидев арестантскую спецовку Горчакова, нахмурился. — Ты доктор?

— Фельдшер, — Горчаков, еще раз оценив руку механика, отвернулся и стал набирать шприц.

— Ты что, не слышишь меня?! — вскипел Белов в спину зэка.

— Слышу, — Горчаков сбрызнув воздух, нагнулся к старухе.

— Я с тобой говорю! — Белов схватил Горчакова за плечо.

Горчаков распрямился, левой рукой оберегая шприц, повернулся к Белову:

— Я должен сделать укол!

Белов, сдерживая ярость, молча отступил, повернулся к механику:

— Сейчас, Петя, сейчас.

Сазонов стоял, вяло опустив белую голову в пол, только вздохнул тяжело и пьяно. Щеки темнели кровью на светлом лице.

Горчаков сделал укол в вену, зэчка подложила свой платок под голову старухи и тихо выскользнула из медпункта, прихватив свою одежду. Горчаков запахнул старуху занавеской, поставил на стол кювету с хирургическими инструментами:

— Давайте сюда!

Механика усадили, он ронял голову, как будто пытался прилечь, Горчаков размотал носовые платки и с пинцетом в руке стал внимательно рассматривать. Ничего важного задето не было, но выглядело изрядно — кожа в лохмотья изорвана на ладони и запястье. Чудом не порванные вены пульсировали кровью.

Горчаков взял пинцетом кусок задранной кожи, расправил и пристроил на место, другой кусок отстриг ножницами. Сам внимательно глядел на механика. Тот только морщился, кряхтел негромко и отворачивался. От него на всю комнату несло спиртом.

— Ничего страшного, — Горчаков поднял взгляд на двух флотских, стоявших над ними. — Зашью. А вы выйдите, пожалуйста, тут и так дышать нечем. — Он открыл стерилизатор, выбирая инструменты.

— Мне спирту! — потребовал вдруг раненый механик у Горчакова, — меня на фронте под спирт зашивали. Два раза... — он попытался задрать китель на боку, показать.

— Вам уже хватит, — Горчаков, морщась от запаха, рукой повернул голову механика в сторону, — туда смотрите. И потерпите.

Флотские вышли, закурили. Из медпункта временами раздавались негромкие матерные подвывания и ободряющее бормотание фельдшера. Белов ходил на буксир за бутылкой спирта. С полчаса длилось это дело, потом дверь отворилась. Фельдшер полотенцем вытирал руки и лоб:

— Забирайте, завтра на перевязку...

Рука по локоть и два пальца механика были аккуратно забинтованы. Сам он сидел протрезвевший, лицо сероватое, волосы прилипли ко лбу от высыхающего пота. В дверь заглядывал Белов. Горчаков щупал пульс старухи. Той стало легче после укола, она лежала с открытыми глазами.

— Сан Саныч, налей мужику! — хрипло потребовал отремонтированный механик.

Белов вошел, присел на топчан, открыл бутылку, булькнул в желто-коричневый от чая стакан, что стоял на столе, посмотрел, куда еще...

— Сюда можно? — спросил, показывая на чистые мензурки.

— Тут бы не надо... — Горчаков встал над старухой.

— Давай, выпей, братишка! — механик хотел сказать что-то еще, но не найдя слов, приподнял забинтованную руку и хмуро и благодарно кивнул фельдшеру белобрысой головой.

Белов налил в две мензурки, оставив стакан Горчакову, тот присел на свое место, улыбнулся, глядя на механика:

— Молодец, терпел...

— Он фронтовик, дядя! Заслуженный! Давай! За Родину! За Сталина! — Белов пьяно гордился товарищем, он грозно поднял свою посуду и орлом встал во весь рост.

Механик тоже поднимался с плещущей мензуркой в левой руке. Они чокнулись и выпили. Горчаков не тронул стакан, собирал окровавленные инструменты в стерилизатор. Белов поставил пустую тонкую посудинку и, сморщившись от спирта, недобро изучал Горчакова.

— Ты чего? — спросил фельдшера, хотя все про него уже понял.

Горчаков молча лил в стерилизатор воду из чайника. Только головой качнул.

— За Сталина пить не хочешь?! — набычился Белов, сжимая пьяные кулаки. — А-а?!

— Ты чего, Сан Саныч? — не понял забинтованный Сазонов.

— В карцер меня определяют за этот стакан... да и вам, граждане начальники, не положено с эсками... Выпьем еще, бог даст...

— Какой такой бог?! — Белов заводил сам себя и лез лицом к эску. — Я что, не видел?! Руку уже потянул выпить, а как я за Сталина сказал, скосорылся... Что, сука, не так?!

Горчаков снял очки и молча и почти безразлично смотрел на пьяного капитана.

— Да если бы не Сталин, ты бы сейчас, сука, фашистам сапоги лизал! Ты как, подлец...

— Ладно, Сан Саныч, чего кипишь, не тронь его. — Механик закрыл собой фельдшера, стал надвигаться перевязанной рукой на Белова. — Давай, пошли.

— Чего пошли?! Отсиделись суки по зонам, на казенных харчах! — Белова корежило от гнева, лицо красное, волосы растрепались. — Я сопливым пацаном всю войну за них ишачил!

Сазонов вытолкнул его из медпункта. Стали спускаться к берегу.

— Чего уж ты так? — механик брезгливо морщился то ли от боли, то ли от выходки Белова. — Он смотри что... — показал свою руку.

— Пусть знает свое место, фашист! Они все Сталина ненавидят! Ты видел?!

— Не фашист он, я его на Пясине встречал... — заговорил старый шкипер Подласов. — До войны еще... Он начальником геологической партии был.

— Этот фельдшер? — не понял механик.

— Ну, они какое-то большое месторождение тогда открыли! Хоть и зэки, а им спирту два ящика привезли на гидросамолете! Начальство прилетело, в воздух палили!

— Это все не важно. Надо их на место ставить! — у Белова от злого возбуждения стучало в висках. — Они никогда не исправятся! Ты видел?! Кто он, сука, такой против Сталина?!

— Ладно, Сан Саныч, чего ты разорался... Кто же против-то?

Белов пьяно отвернулся на Енисей. Мужики молчали.

— Ну что, пойдём, что ли? — шкипер кивнул на свою баржу.

Настроение пропало. попрощались и разошлись по своим судам.

Белов шел на «Полярный» и пьяно скрипел зубами, что не дал в морду фельдшеру. Он даже останавливался и смотрел вверх, представлял, как возвращается и открывает дверь медпункта. Сталин был ему дорог, как отец, которого Белов не помнил, и даже больше отца. Портрет вождя с девочкой на руках не просто так висел у него в каюте. Сам повесил.

## 5

Отоспавшись после ночной вахты и утренней выпивки, Белов стоял под горячим душем. Хмурился, кряхтел на себя за стычку с зэком. Все видели, как он полез за Сталина... Все было смертельно позорно! И фельдшер... чем больше Белов о нем думал, тем сквернее себя чувствовал. Этот зэк, не сказав ни слова, поставил его на место... Так глупо... так погано все получилось.

Он побрился и пошел к себе в каюту.

Было около пяти вечера, когда капитан Белов сошел на берег. Разгрузка продолжалась, но без прежнего задора, теперь работали только зэки. Локомотив, в который попал механик, так и не заработал, и мужики в серых телогрейках таскали мешки с цементом на плечах.

Обходя грязь, Белов пробирался через наспех сваленные материалы. У больших бочек, составленных друг на друга, наткнулся на подростков. Они подсматривали за кем-то и были так увлечены, что он подошел вплотную, от бочек крепко воняло тухлой селедкой. Впереди два лагерных мужика разложили бабу. Оба были без порток, худые и белозадые, белые женские колени торчали в небо.

— Ну-ка! — негромко шикнул капитан «Полярного».

Двое пацанов, столкнувшись, молча метнулись вбок, третий от неожиданности потерял с ноги безразмерный сапог и сел прямо в грязь. Вжавшись спиной в бочку, заревел в голос:

— Дядя, я не смотрел! Не бе-ей!

— Бегом отсюда!

Мальчишка, схватив сапог, кинулся за друзьями. Зэки уже трещали кустами в разные стороны. Молодая деваха сидела на ящике и застегивала армейскую телогрейку. Светлые волосы растрепаны, она встряхнула головой, оправляя их. Белов покраснел и, нервно отвернувшись, двинулся за убежавшими мальчишками. Обойдя бочки, лицом к лицу столкнулся с девицей, она тоже шла наверх. Это была белобрысая, лет шестнадцати-семнадцати, крепкая, обабившаяся уже девчонка. Увидев Белова, глянула недовольно и развернулась назад к баржам. Белов, ощущавший дурное возбуждение во всем теле, посторонился и торопливо, не разбирая дороги, пошел наверх.

Девчонка очень была похожа на немку. Неужели и они? — мелькнуло в голове. Сама, никто не насиловал... В том, что он увидел, не было чего-то необычного, в этих местах такое случалось сплошь и рядом, его удивило, что девчонка была немкой. Ссылные немцы и прибалты были культурнее других, и Белову не хотелось, чтобы и они опустились до грязных зэков.

Управление размещалось в половине длинного барака. Белов вошел, дверь в первую же комнату направо была приоткрыта, негромко звучал радиоприемник.

— Здравия желаю!

— Заходите, пожалуйста! — невысокий молодой человек поднимался из-за стола. — Я Мишарин. Николай. Руководитель отдела проектирования жилых зданий.

— Капитан парохода «Полярный». Белов. Здесь отдел кадров?

— Это к капитану Клигману, он сейчас будет... — Мишарин внимательно рассматривал Белова.

Пожали руки. Белов стоял, раздумывая, что делать.

— Скажите, вы коренной сибиряк? — неожиданно спросил молодой человек.

— Коренной, — ответил Сан Саныч, собираясь уже выйти из комнаты.

— Вы видели последний фильм Герасимова? — Мишарин все смотрел на него с интересом.

— Я? — нахмурился Белов, ему было не очень понятно, почему его так рассматривают.

— Там у него одни сибиряки играют. Сибиряки — это особая порода человека, я уверен! Думаю, галерею портретов создать. Молодых, старых, разных профессий, но обязательно коренных сибиряков. Могу я вас нарисовать?

— Мне некогда... у меня пароход, команда. — Белов слегка конфузился, но ему уже нравился этот открытый парень. Еще и рисовать умеет. Сан Саныч всегда уважал людей, умеющих что-то особенное. Рисовать или играть на пианино.

— Жалко... я уже полгода в Сибири, а только три портрета сделал... — Мишарин вытащил из папки ватманские листы с рисунками. — Здесь со всей страны люди... а я настоящих хочу! Сажень косяя, знаете?! Взгляд открытый!

Люди на рисунках были как живые. Белов улыбнулся:

— У меня старпом такой вот! Захаров фамилия... Подойдет?

Дверь в барак заскрипела, кто-то разговаривал с часовым, потом отворилась дверь в комнату и вошел капитан Клигман.

— Здравия желаю! — козырнул Белов. — Капитан парохода «Полярный», в аренде у Строительства-503.

— Здравствуйте, — кивнул Яков Семеныч, устало присаживаясь снять сапоги. — Хорошо, что зашли, капитан, надо анкеты заполнить на всю команду. Вон, пачка на окне.

— На всю команду?! — насупился недовольно Белов. — В отделе кадров все есть!

— То у вас, а это у нас. Не будьте ребенком, режимная стройка...

В комнату осторожно заглянул невысокий мужик, председатель местной рыбартели:

— Яков Семеныч, что же это, началось, что ли? — спросил, хмуро снимая ушанку.

— Что такое, Меньшов? Заходите!

— Пока мои на воскреснике работали, ваши три избы обчистили! Бабы воют, поутащили харчи, по чугункам лазили! Распорядитесь хоть тушенку выдать, что грозились... За воскресник-то?

Мужик говорил глухо, по его виду не понять было, правда их обворовали или уж по привычке жалуется, смотрел то на Клигмана, то на Белова. Так и замолчал, глядя между ними и держа шапку двумя руками. На сапогах ошметки грязи, штаны драные. Белов рассматривал его, соображая, коренной ли он сибиряк. Клигман молча выслушал и стал надевать сапоги.

— Извините меня, я на склад... пишите пока, — Яков Семеныч вышел на улицу вслед за мужиком.

Сан Саныч сел заполнять анкету.

*Родился в селе Знаменское Минусинского района Красноярского края 21 апреля 1928 года.*

Национальность — *русский.*

Социальное происхождение — *крестьянское.*

Основное занятие родителей до Октябрьской революции — *прочерк.*

После... — Белов задумался.

— У нас в анкете такого не было... у меня мать из крестьянской семьи, а отец фотографом работал в райцентре? Что писать?

— Не знаю... в селе же отец работал? — Мишарин заглянул в анкету.  
— Ну.  
— Пиши крестьянское.  
Комсомолец, стаж, — Белов уверенно заполнял графы.  
Состоял ли в других партиях? — *Не состоял.*  
Состоял ли ранее в ВКП(б) и причины исключения? — *Не состоял.*  
Были ли колебания в проведении линии партии и участвовал ли в оппозициях (каких, когда)? — *Колебаний не было, в оппозициях не участвовал.*  
Образование — *Красноярский речной техникум. Поступил в 1942, закончил в 1946.*  
Специальность — *капитан-судоводитель.*  
Иностранные языки — *не владею.*  
Трудовая деятельность...  
Белов прочитал и поднял недовольные глаза на Мишарина:  
— Опять всю деятельность писать?!  
Мишарин, стаж которого умещался на одной строке, вежливо улыбнулся.  
— Я с сорок второго... матросом, боцманом, да на разных судах... — Белов хмуро тер лоб. — Девками командовал!  
— Почему девками?  
— В войну одни девки в матросах были... девки да пацаны мелкие.  
Мишарин явно заинтересовался девками-матросами, достал пачку «Беломора» и стал аккуратно распечатывать:  
— И что... прямо вот... молодые девушки работали?  
— Работали. И вахты стояли, и уголь грузили... — Белов снова склонился к анкете. — Государственные награды...  
Дописывал молча. Мишарин тоже затих и о чем-то думал, неподкуренную папиросу вертел в руках. Табак из нее сыпался. Когда Белов закончил, Николай выдвинул из-под кровати чемодан:  
— Выпьем за знакомство?! — он достал бутылку коньяку. — Только закуски совсем нет.  
Мишарину, как и Сан Санычу, шел двадцать второй год, но он видел, что рядом с капитаном Беловым сильно проигрывает. Сан Саныч это чувствовал, ему было приятно стеснительное уважение нового товарища:  
— Пойдем ко мне на буксир, у меня повараха хорошая.  
По дороге зашли в столовую, взяли буханку ржаного хлеба и двух девиц, они как раз заканчивали работу.

Каюта Белова была небольшая, уютная, выкрашенная светло-голубой краской. Справа от входа на узкой койке, заправленной серым шерстяным одеялом, сидели девушки. Между ними — Сан Саныч. На столе нарезанный хлеб, коньяк, рыбные консервы, пирожки с картошкой, оставшиеся с обеда, и четырехлитровая банка сгущенки. Напротив в небольшом кресле устроился старпом Захаров и на табуретке, спиной к двери — архитектор Мишарин. Черненькую звали Нина, светленькую Светлана, Белов шутил то с одной, то с другой и никак не мог решить, какая ему больше нравится.

Девушки почти не пили, мочили губы в рюмках и ставили на стол. Коля Мишарин быстро опьянел, отчего сделался счастлив и неудержимо активен. Он чувствовал, что наконец встретил здесь друзей, и ему ясно было, что рядом с ними он пройдет суровую школу жизни и станет таким же уважаемым человеком. Настоящим сибиряком вернется в Москву. Он уже поднимал тост за капитана Белова и за могучего молчаливого старпома Захарова, в которого он просто влюбился. И еще перецеловал девушкам ручки, чем их здорово смутил, и порывался сбежать за бумагой и начать рисовать Захарова немедленно.

— Дайте и мне папиросу, Сергей Фролыч, — попросил Мишарин старпома почти торжественно, — я свои забыл дома! У меня есть отличные папиросы, я завтра принесу!

Старпом подал. Николай достал папиросу, смял зубами и оглядел всех, будто спрашивая: ну как? Потом улыбнулся и положил папиросу на стол:

— Честно? Сергей Фролыч? Все не могу научиться курить! Голова очень кружится! А хочу! Хочу, знаете, домой приехать... оп-ля! Уже курю! И никто мне ничего! И еще у нас покойный профессор Смирнов, когда лекции читал, всегда курил! Вы слышали о профессоре Смирнове? Конструктивист! Они с Мельниковым работали! Какие он здания построил! Я у него учился — красный диплом защитил! У меня после института свободный выбор был! В Москве оставляли — инструктором в ЦК комсомола: у меня куча грамот, я доклады по международному положению делал.

Николай говорил быстро, за его мыслями непросто было уследить, но все, особенно девушки, слушали внимательно. Это была далекая московская жизнь.

— Не верите?! Я с лекциями ездил! У меня память страшная! Нет, правда!

Белов под шумок положил руку на талию Светланы. Девушка замерла, но руку не сбросила, продолжала внимательно слушать выпившего архитектора. После мишаринского коньяка пошел спирт. Старпом вертел в руках пустую бутылку:

— Говорят, Черчилль очень наш армянский коньяк уважает.

— Хрен вот ему теперь! — махнул уверенной пьяной рукой Мишарин. Очки съехали набок, он решительно их поправил.

— Чего тебе, жалко? — не понял старпом.

— А речь в Фултоне? Забыли? Военный блок против СССР! А?!

Все посмотрели на Николая. Белов потрогал за талию и черненькую Нину, сидевшую ближе к двери. Тут тоже все прошло успешно. Белов потянулся за куском хлеба и «нечаянно» заглянул ей в глаза. Глаза у Нины были строгие и немного косили. Руку она не убрала, но и смотрела почти безразлично. Даже не улыбнулась.

— Против нас?! — продолжил Николай задиристо. — А?! Оружием бряцают союзнички! Сколько нам надо времени, чтоб до конца Европы дойти? Не подумали они! — Мишарин даже привстал, будто уже собрался начать движение к концу Европы.

— Чего он там сказал? — спросил старпом и поставил пустую бутылку к ножке стола.

— Военный блок предлагает против СССР! Не нравится ему распространение коммунистического мировоззрения в мире!

— Это я по радио слышал, а что еще? — не отставал Фролыч заинтересованно.

— Я не знаю, — слегка растерялся Николай, — речь целиком не печатали... Но Сталин ему ответил! А?! Как он его! Читали в «Правде»?

— Это же в прошлом году было... Ты лучше про югославов расскажи, что у них там... — Белов брякнул первое, что пришло в голову, ему совершенно все равно было, что там сейчас в Югославии, он захмелел, и ему уже не выбрать хотелось, а увести как-нибудь обеих девиц. Куда-нибудь. Он слышал, что такое бывает.

Николай потянулся к литровой банке с разведенным спиртом. Стал наливать, расплескивая, девушки прикрыли свои рюмки ладошками.

— Про Югославию... это наши интересы на Балканах! Сейчас расскажу, но сначала за Сталина выпьем! Знаете что?! — он пытался придать своему лицу самый серьезный вид, но его пошатывало. — Нам очень повезло, что мы живем в одно время с таким человеком! Понимаете?! Мы об этом не помним, а это оч-чень важно! — Он задрал рюмку вверх, наплескал на колени Фролыча, но не заметил этого, а продолжил с пьяным напором. — Другие страны и народы скучно и неинтересно живут, а у нас... все кипит! Вся страна — великая социалистическая стройка! Впервые в истории человечества люди не за страх, а за совесть созидают свое светлое будущее — социализм и коммунизм! Благодаря Сталину мы — самая сильная страна в мире! Пройдет немного времени, и мы экономически задушим Америку! За Сталина! — Мишарина опять качнуло, в его стопке почти ничего не осталось. — Я счастлив, что живу в такое время и что нами руководит человек мирового масштаба! Мы выдающаяся нация Ленина и Сталина! За Ленина — Сталина!

— За Сталина! — хмуро и уверенно стал подниматься Белов, поглядывая на портрет спокойно улыбающегося вождя на стене напротив и невольно вспоминая сегодняшнее утро. По телу бежали пьяные мурашки гордости. — Хорошо сказал, Николай!

Девушки тоже заскрипели кроватью, поднялись, выпили, невольно толкаясь локтями в тесноте каюты, только старпом остался в кресле. Мишарин выпил и увидел сидящего Фролыча:

— Вы что, Сергей Фролыч?! Не будете?! — от удивления он тянулся к старпому пустой стопкой.

— Всё, у меня вахта, вставать в четыре...

— А с американцами война будет или нет, как считаешь? — спросил Белов, цепляя ложкой в банке с консервами. Другой рукой он обнимал девушку.

— Почему с американцами?

— Из-за Кореи.

— Не будет!

— А чего тогда в газетах пишут?

— Все нормально. Войска вывели. И мы, и американцы. Теперь корейцы сами решат, как им жить. Я думаю, коммунистическая идеология победит. Южные корейцы видят, какая власть на севере. Народная! Свобода от капитала! Всеобщее равенство! Согласны?! Совсем скоро режим Сеула падет, люди захотят жить лучше! Правильно? Все-таки власть народа — это власть народа!

Старпом крепко зевнул на этих словах и, с трудом вытащив тело из узкого кресла, встал:

— Правильно говоришь, не будет войны, американцы — они нормальные ребята, я с ними работал! Все, пойду досыпать...

— Фролыч, глянь там механика. Не уснул? — попросил Белов.

— Лады, — старпом вышел из каюты, аккуратно прикрыв дверь.

— А где он с ними работал? — Мишарин озадаченно смотрел на Белова.

— На Дальнем Востоке всю войну суда водил по ленд-лизу. У него наград — китель не поднимешь! Главный американский орден есть! — Белов говорил вполголоса, поглядывая на дверь. Он гордился своим старпомом.

— Вы про стройку обещали рассказать, — попросила Светлана. — Жилье когда будут давать?

— Про стройку?! Пожалуйста! — Мишарин задумался. — Я как проектировщик все знаю!

— Валяй! — кивнул Белов. Нина была фигуристее, талия узкая и крепкая, но сидела прямая и напряженная от руки Белова. Светлана помалкивала, и талия, и пониже у нее было мягонькое, у Белова голова временами начинала кружиться.

— В этом году будет построено, — Мишарин загнул мизинец на левой руке, — жилья на десять тысяч человек. Это считая ВГС и ПГС<sup>10</sup>. ПГС хорошее, дома брусовые в основном, потом — школа большая, двухэтажная, по новому проекту. Дом культуры, здание Управления — тоже двухэтажные, библиотека, потом... два магазина — промтоварный и продуктовый, госбанк, баня, прачечная, пекарня, больница и роддом. Стадион, он же — зимний каток!

— И все в этом году? — не поверила Светлана.

— В этом! — решительно нахмурился Мишарин — У меня в бюро пятнадцать сотрудников скоро будут — голова кругом идет!

В этот момент Нина, недовольно стряхнув с себя руку Белова, начала вставать. Усмехнулась, как Сан Саныч трусливо отдернул руку с коленок Светланы.

— Ты пойдешь? — спросила подругу.

Светлана удивленно взглянула на Белова, потом на Нину.

— Может, посидим еще? Интересно же...

— Я пойду! Куда тут? — не согласилась девушка.

— Я провожу! — Мишарин начал подниматься, потерял равновесие и навалился на стол. — Ой, на море качка!

— Я тоже пойду, пропустите меня...

— Да куда вы?! Посидим еще! Девушки! — планы Сан Саныча рушились. Даже и теперь он не выбрал еще. Грудь у Светланы была пухлее, чем у Нины, но ноги толстоваты, у Нины фигурка была, что надо, но смотрела девушка по-прежнему строго. То есть уже не смотрела вообще!

— Простите меня, Александр! — просилась Светлана, легонько упиравшись ему в плечо.

---

<sup>10</sup> ВГС — временное гражданское строительство, ПГС — постоянное.

— Все, идем! Прогуляемся. Вы, кстати, где живете? — заинтересовался Сан Саныч, когда они спускались по трапу. — Не там?

Это была шутка. Слева на склоне, не так и далеко, мерцали в сером свете белой ночи огни множества костров. Вокруг угадывались сгущения темных бушлатов — заключенные за колючкой коротали ночь.

## 6

Будущие строители железной дороги все прибывали и прибывали. У костров, которые видел Белов, сидел полторатысячный этап, разгруженный ночью. Еще почти тысячу заключенных определили в пять больших палаток лагпункта № 1, там же начали ставить еще несколько, но в бардаке разгрузки затерялись где-то каркасы, а может, их и не было, и заключенные, сложив вдвойне и втройне огромные полотнища палаток, полегли на брезент среди моховых кочек. Привычно прижимались друг к другу.

Горчаков весь вечер занимался больными с новых этапов, крохотный медпункт был давно переполнен, в коридоре лежали на матрасах, медикаменты кончились. Георгий Николаевич вышел на улицу и объявил, что приема больше не будет. Лагерники, толпившиеся двумя кучками, каждая со своим конвоиром, начали роптать.

— Ты нам туфту<sup>11</sup> не парь, лепила! Полдня тут припухали, ты че, в натуре?! — зло сипел худой блатарь с рябым и остроносом лицом.

Его поддержали другие, возник шум, конвоиры заматерились. На крыльцо вышел Клигман:

— Граждане, — начал чуть дребезжащим голосом, — я замначальника лагеря. Медпункта в данный момент нет, все лекарства, что были, уже раздали. Надо потерпеть, это вопрос двух-трех дней. Большой лазарет и медработники ждут в Игарке, а там ледоход... — Он осмотрел людей, многие были одеты и обуты очень плохо. — Могу вас обрадовать, стройка наша особая, спецодежда и снабжение будут хорошие, зарплату будете получать на руки сто процентов. И зачеты! Будут зачеты! Сможете раньше освободиться!

— Сто пятьдесят — день за три?<sup>12</sup> — послышались заинтересованные выкрики, но были и недовольные. — Знаем твои зачеты, начальник! Фраеров ищешь!

— Тихо! Тихо стоим! Я тебе, сука, дам фраеров! — заорали конвоиры.

— Уведите, пожалуйста! — приказал Клигман конвойным и скрылся за дверью.

Горчаков с Белозерцевым легли спать на полу медпункта у самого входа, но пришел маленький злой старшина конвойных войск и положил на их матрасы сменных часовых. Их же, брезгливо изучив ночные пропуска, отправил под конвоем в зону.

Так они оказались в общей двадцатиметровой палатке. На сплошных двухэтажных нарах лежали боком, тесно сдавившись одним сплошным телом. Без матрасов, на бушлатах и телогрейках, у кого они были... От давно не мытых людей воняло так, что и запах махорки не перешибал.

Белозерцев, пошептавшись с дневальным, согнал кого-то с хорошего места недалеко от печки, уложил туда Горчакова, сам куда-то исчез. Горчаков лежал, слушал привычный вечерний гвалт. Этап был свежий, какие-то бытовики пару месяцев назад еще гуляли на воле. Многие не спали, разговаривали вполголоса, обсуждая новое место. В самом конце палатки кто-то балагурил приятным баском, рядом с ним вдруг начинали смеяться. После нескольких недель в душном трюме даже в такой тесноте было неплохо.

— ...и сухой паек выдали за три дня. Никто и не надеялся, а дали. Говорят, тут заполярная норма — килограмм хлеба! Параша<sup>13</sup>, думаешь? — спрашивал негромко сосед слева, он лежал через одного, но так близко, что казалось, говорит прямо в лицо Горчакова.

— Это посмотрим еще... У тебя покурить нет? — отвечал невысокий, видимо, мужик, колючим затылком время от времени задевавший подбородок Горчакова.

<sup>11</sup> Туфта (*жарг.*) — обман, туфтить — обманывать, часто — прикидываться, что работаешь.

<sup>12</sup> При выполнении плана на 150 процентов один день срока зачитывался как три. То есть за один год можно было «отсидеть» три.

<sup>13</sup> Параша — обычно емкость для фекалий. В данном случае параша — непроверенный слух (*жарг.*).

— И одеяла байковые обещали! А лес-то какой, ты видал? Чащá, брат! Интересно, есть тут грибы-ягоды? Говорили, люто в аполярье-то, а ничего, вроде не холодно!

— Так лето...

— Ну я в Казахстане на руднике парился, вот там жарко сейчас. Из жары да в холод — плохо это для человека, как думаешь?

— Да чего мне думать, начальники пусть думают, — сосед громко зевнул.

Дневальный загремел металлической дверцей печки, слышно было, как, привычно матерясь, пихает дрова.

— Дай ей просратья, браток, — простуженно сипел кто-то с нижнего яруса. — Окоченели в этой барже, аж яйца звенят...

— Ты видал? — зашептал опять сосед слева. — Блатных всех отделили. А куда это их? Может, тут без них работать будем? Ребята говорили, теперь раздельно все будут...

— Да как уж без них? Их-то куда девать?

— Вот и я тоже... Говорят, их в Игарку или в Норильск отправят. Это далеко? Игарка-то? У меня ботинки были... больше года носил, хорошие, дегтем их мазал, не текли почти... украли на барже! Деготь-то еще есть, а ботинок нет, беда одна от этих уроков. Парнишка ведь молоденький стянул, потом еще смеялся надо мной!

— Давай спать, что ли.

— Ага, давай, я что-то... на новом-то месте боязно мне всегда, я на руднике привык уже, там у меня повар земляк был. Хотя в лесу-то мне всяко лучше... Мы тверские, у нас леса вокруг деревни, а чего же еще! Да луга какие! О-о, куда тебе!

— Тут лес другой...

— Ну дак что? Тут хвоя и у нас хвоя. Сосну, ту легче пилить, чем дуб, к примеру. Или вяз, вот вяз я не люблю, что за дерево вредное. Одно слово — вязнет пила в нем! Есть здесь вяз или как?

— Да ты что меня спрашиваешь? Я тут еще не пилил. Ты продукты куда дел?

— Вот, у морды держу.

— Не прохезаешь?

— Так а кто? Блатных-то нет...

— Чужих полно... вон и дневальный не из наших.

— Харэ, мужики, спать давай! — раздался в полумраке чей-то недовольный властный голос.

Соседи рядом примолкли. Балагур в конце палатки тоже убавил громкость, но рассказывать продолжал. Сосед с колючим затылком засопел тихонько, его собеседник не спал, вздыхал время от времени. Внизу, прямо под Горчаковым шептались совсем тихо:

— ...еще в феврале, а некоторых в марте сняли. Всю ленинградскую верхушку, очень большие люди — секретари ЦК... В прессе ничего не было, даже что с работы сняты, ничего! — рассказывал возбужденный хриловатый голос. — А потом в тюрьму товарищи из Ленинграда стали поступать. Очень много... не только руководство.

Голос замолчал. Сосед его тоже молчал, потом спросил осторожно:

— Только ленинградцев? Странно... вы уверены?

— У нас в камере пять человек оттуда прибыли... — говоривший зашептал что-то горячо в самое ухо. — Вы понимаете? Что это значит? Ведь это его выдвиженцы! Кузнецов! А Вознесенский?!

— Что, арестован?

— Нет пока, но вывели из Политбюро и сняли со всех должностей!

— Да, странно...

— Все, кто в нашей камере сидел, воевали. Ордена, блокада, они же оборону организовали и Ленинград не сдали... Очень достойные люди! Вознесенский всю войну председателем Госплана! Говорят, он единственный, кто Самому возражал! Это какие же еще заслуги нужны?

— Усатый<sup>14</sup> всегда был трус... а теперь еще и стареет. Большой беды надо ждать.

— Вот и я думаю... В такой войне победили!

---

<sup>14</sup> Усатый — самая распространенная кличка Сталина.

Замолчали. Потом хрипловатый голос заговорил опять.

— Меня сегодня потрясло... Знаете, когда я увидел колонну людей, поднимающихся в гору. Советских людей, понимаете?! И наши солдаты с автоматами... В отступлении под Смоленском я такое же видел — колонна наших солдат шла, их вели фашисты. И тоже собаки кидались на людей. Меня тогда поразило ужасно — Бах, Бетховен, Шиллер... и озверевшие собаки и улыбающиеся немцы! Это чудовищное преступление против великой нации! Великой культуры! Так я думал! А сегодня увидел еще страшнее, — шепот стал совсем тихим. — Сегодня и охрана, и люди в колонне были русские! Собак натравливали на братьев! Это невозможно, такого не может быть!

— Вы меня удивляете, Иван Дмитрич, вас что же, на следствии не отлупили ни разу?

Иван Дмитрич долго молчал, потом заговорил:

— Меня арестовали утром, не ночью, а утром, понимаете?! Мы с женой хорошо выспались, сидели завтракали. Была суббота, вся кухня солнцем залита, мы собирались ехать к ребенку, у нас девочка, Даша, восемь лет, она была в пионерлагере... — мужик говорил все тише, и вдруг задохнулся, захлюпал носом и уткнувшись во что-то, заойкал, давясь слезами, закрылся фуфайкой.

— Не надо так часто вспоминать, Иван Дмитрич, это очень выводит из равновесия. Вы же умный человек, постарайтесь взять себя в руки, не вспоминайте.

— Нет, нет, нет, нет... — сдавленно и отчаянно мычал Иван Дмитриевич. — Не могу! Я абсолютно не виновен! Как можно?! У меня чистой совесть! Вы мне верите? Я даже жене ни разу не изменил...

— Это у вас реакция на неволю, первый раз у всех так. Пара месяцев — и пройдет, поверьте старому каторжанину. Научитесь жить без времени — ни прошлого, ни настоящего...

— Да что вы говорите, это невозможно, я — человек!

— Когда бы у вас лет пять было, тогда и потерпеть можно, и про домашних думать, а с вашим сроком другая психика нужна, Иван Дмитрич, надежда вас изорвет.

— Я не понимаю, какая же еще психика?

— Звериная, если хотите: сыт, тепло, и слава богу. Как у мышки или суслика...

— Что за богадельня, мужики, давай ночевать! — раздался рядом негромкий голос.

Слева завозились, стали крутиться на другой бок, Горчаков повернулся вместе со всеми, подумал покурить у печки, но не стал — потом не втиснуться.

У него тоже была жена, но он, как тот старый каторжанин, научился о ней не думать. Вот и сейчас она возникла от чужого разговора — как сквозь запотевший бинокль, какие-то неразборчивые контуры. Горчаков не стал его протирать.

Утром вчерашней старухе стало лучше, в щелочках заплывших глаз заблестела жизнь. Она сама поднялась, села в кровати, даже приосанилась. Расспросила Горчакова, давно ли он тут и нет ли каких новостей с воли, рассказала неторопливо, называя каждого, что у нее шестеро внуков. Поела каши с аппетитом, благодарно покачивая головой и улыбаясь Шуре Белозерцеву, подносящему еду, потом легла и, пока Горчаков мерил давление у ее соседки, перестала дышать.

Снова после завтрака у дверей медпункта собрались больные. Горчаков писал освобождения, хотя ясно было, что они мало помогут в эти первые дни, когда нет ни зон, ни жилья, ни рабочих бригад. Работать мужиков все равно выгонят, а уж работать или в кустах отлеживаться — это кто как сумеет.

Вошел особист Иванов. Пахнувший одеколоном, с чистой белым подворотничком, застегнутый на все пуговицы и крючки. Постоял, рассматривая брезгливо, как фельдшер срезает заскорузлую от гноя и грязи тряпку на ноге зэка.

— Горчаков, бери своего санитаря и ставьте временный лазарет... — лейтенант прищурился на Белозерцева. — Так, отставить. Зэка Белозерцев, садись у геодезистов, пиши красиво правила внутреннего распорядка! Ты в штабе плакат писал?

— Так точно, гражданин начальник, только я наизусть их не помню... — Белозерцев сделал самое простоватое лицо.

— А хочешь, выучить заставлю?! — Иванов шуток не любил и, кажется, совсем их не понимал. — В трех экземплярах напишешь и отдашь плотникам, пусть в рамочки вставят — два часа тебе на все! Горчаков, идем, место покажу под палатку. Белозерцев, что замер? Ушел уже!

— Гражданин начальник, мне бы плотников... — Горчаков вышел вслед за лейтенантом.

— Плотники, плотники... святой Иосиф был плотник... не подойдет? — улыбка умника скользнула по тонким губам лейтенанта. — Так, господа тунеядцы, плотники есть? — обратился Иванов к заключенным, ожидавшим медпомощи.

Те молча на него посматривали.

— Кто топор-ножовку в руках держал? — надавил Иванов, краснея бледными щеками. — Четверо! До вечера палатку поставите — по буханке хлеба, дармоеды!

Иванов никогда не матерился, это было так необычно, что его не только эки, но и офицеры не сразу понимали. Там, где в лагерной речи почти обязательно стояли привычные междометия, у него ничего не было. Мужики недоверчиво переглядывались, ожидая, когда им скажут по-русски. Один только зачесал затылок под шапкой, смекая, что выгоднее — в лазарет или плотником...

— Так, конвой! Развести всех по местам работ!

— Гражданин начальник, — поднялось сразу несколько рук, — мы согласные!

К вечеру высокая двадцатиметровая палатка, издали похожая на деревянный барак, стояла хорошо натянутая на каркас. Мужики, за долгий этап соскучившиеся по простой деревенской работе, разохотились, стырили где-то досок, настелили и даже отстрогали пол. Вставили окна из оргстекла, из остатков досок сделали стол, две лавки и маленькую скамеечку. Сидели, довольные, как все натянуто и сработано. В столовую уже второй раз пронесли термосы с едой, но мужики не расходились, ждали обещанного хлеба. Белозерцев пришел с красиво написанным «Распорядком дня заключенных».

Один из плотников, седой старичок-костромич, взялся изучать. Сначала одобрительно поводил заскорузлым пальцем по аккуратной рамочке, потом стал читать по слогам, крепко нажимая на «о»:

— У-твер-жде-но Мэ-Вэ-Дэ Сэ-Сэ-Сэ-Рэ, — поднял удивленный взор на товарищей. — Чой-то?

Мужики засмеялись, особенно самый молодой, прямо пополам сгибался.

— Вы-вы-ши... ва-ется... в жилах... — да чой-то за слова таки? — костромич в досаде сунул рамочку в руки соседу.

— Дай-ка, дядя! — молодой взял и стал бойко читать: — Вывешивается в жилых помещениях для заключенных! Вот! Для тебя написано! Подъем заключенных производится, как правило, в шесть часов!

— А можно бы и в полседьмого, не отлежали бы бока!

— У нас дневальный сегодня аккурат на час раньше разбудил, паскуда... перепутал, гад... — сказал самый маленький и угрюмый.

— Подъем, окончание работы, сбор на проверки, отход ко сну объявляются установленным по лагерю сигналом, — продолжил чтение молодой.

— Это чего ты сказал? — все не понимал костромич.

— Вот ты, дядя! Топорик-то у тебя в руках как птичка летает, а мозгу-то нет совсем! Про рельсу тебе написали русским языком. Ты что делаешь, когда рельсу слышишь?

— Чово... — хитро ухмыльнулся старичок. — Бушлат на голову натягиваю, вот чово... Как все!

— Ага, вертухаев с палками ждешь! — заржал молодой.

— У нас на Кольме рельсу эту поганую «цингой» мужики прозвали, — сказал угрюмый.

— Чего ты там все неинтересное читаешь, ну-ка поищи чего посмешнее!

Молодой побежал глазами по строчкам.

— Во! Для заключенных устанавливается девятичасовой рабочий день, с предоставлением четырех дней отдыха в месяц, а также общеустановленных праздничных дней.

— Вот это подходяще! Это, я вижу, хороший лагерь! — закивал седой головой костромич. — Я бы в таком поработал! Это же какая справедливость важнеющая! У нас и в колхозе такого не бывало! Четыре дня выходных! А про зачеты там не сказано?

— Во, смотри... — перебил чтец, — обязанности твои тут! «Беспрекословно подчиняться и выполнять требования конвоя, надзирателей, технического руководства и администрации, звеньевых, бригадиров, мастеров, руководителей работ, начальников цехов и т. п.»

— Собак забыли, — притворно сокрушился костромич. — Нет там про собак-то? Их-то обязательно... я оплошал третьего дни на этапе, а она возьми и поучи меня за штаны-то! Вот! — он ловко повернулся на лавке и показал большую заплатку. — До мяса, Господь уберег, не достала! Второй год сижу, а первый раз такая оказия! Штанов-то как жалко!

Все засмеялись. Принесли обещанный лейтенантом хлеб.

Горчаков, не обращая внимания на балагуривших плотников, обживал новый медпункт. Из старого лазарета перенесли кое-какую мебель, шторы из мешковины, матрасы. Георгий Николаевич стоял среди пустого пространства палатки и о чем-то сосредоточенно думал.

— Вот мужики пол сделали, Георгий Николаич, — восхищался Белозерцев, выметая стружки, — как бы из-за него не отобрали у нас эту палатку. И от вахты недалеко... может, чем его позагадить? Как думаете? Говнеца какого не поискать?

Ночью начал быстро подниматься Енисей. Штабеля пиломатериала, выгруженного сразу за торосами, зашевелились, заливаемые водой. Пригнали сотню полусонных заключенных из-за колючки, и те, мокрые, кто по колено, а кто и по пояс, перетаскали все выше на берег. Покидали небрежно, огромной горой, оцетинившейся во все стороны брусом, углами щитов и досками.

Когда заводили обратно в зону, одного недосчитались. Подняли весь тысячный этап, что кемарил у костров. Построили и остаток ночи продержали на ногах. Считали, пересчитывали, путались с формулярами. Всем было понятно, что исчезнувший, скорее всего, просто сорвался с тороса и утонул. Уйти он не мог — доходяга был.

Ночь была светлая, безоблачная и от этого казалась еще холоднее. Людей выстроили прямо среди необрушенных деревьев и кустарников. Они зевали в строю, спали стоя, кому повезло — облокотился на ствол или присел в серединке. Редкий конвой тоже клевал носом, только овчарки с голодухи принимались вдруг свирепо орать, на них от усталости уже не обращали внимания.

Лейтенанта Иванова подняли среди ночи. Он сидел на ящике, допрашивал и аккуратным почерком записывал показания. До самого солнца держал всех на ногах. Формально ответственным за случившееся был старший сержант, но он отпирался, валил на то, что он начальник караулов двух барж, что стрелков у него только на это и есть и что он не должен был охранять спецконтингент на берегу. Должен был сдать с рук на руки и все.

— Кому сдать? — негромко задавал вопрос Иванов.

— А я откуда знаю? — отвечал сержант виновато, но и злорадно. — Вон, есть у вас ВОХРа<sup>15</sup>, пусть бы и брали! Я за баржи отвечаю... жратву выдали на две недели, а плывем месяц!

Старший сержант был старослужащий, воевавший, присел на корточки, он почти уже час стоял перед этим тупым летёхой со взглядом змеи.

— Встаньте хорошо, сержант! — лейтенант перестал писать и посмотрел на седоголового начальника конвоя долго и холодно. — Я ведь и наручники могу надеть!

Иванов хорошо понимал, что начальник конвоя прав, но фиксировать все, как есть, нельзя было. Охраны не хватало и на сотую часть заключенных — два взвода сидели на другом берегу Енисея, где их застал ледоход, а те полвзвода ВОХРа, о которых говорил сержант, охраняли стройматериалы — за них можно было получить похлеще, чем за утонувшего зэка.

Лейтенант задумывался надолго и с тяжелой внутренней тоской глядел на блеклое солнце, встающее в весеннем рассветном мареве с другой стороны Енисея. Лейтенанту, как человеку правильному, давно все было ясно, он ненавидел вечный русский бардак и русскую лень. Наверняка кто-то из зэков, а может, и конвойные видели, как тот доходяга упал в воду, но никто не дернулся помочь. Эту охрану можно поменять местами с зэками — ничего не изменится!

---

<sup>15</sup> ВОХР — военизированная охрана МВД.

Сержант сидел рядом на пенке, кашлял простуженно, сморкался в грязную тряпку и недовольно вздыхал. Так же кашляли, утирались рукавами и тихо разговаривали заключенные, освещенные красноватым утренним солнцем — тихий гул стоял над тысячной толпой. Никому здесь, начиная с Иванова, не было никакого дела до утонувшего, но особист обязан был провести расследование, а ээки обязаны были стоять там, где им укажут.

## 7

С начала ледохода прошла всего неделя, но поселок было не узнать. Колесный пароход «Мария Ульянова» привез в Ермаково вольнонаемных, полтысячи человек охраны в новенькой форме, а в просторных трюмах еще один этап заключенных. Конвойные войска менялись на вохру, образовывались лагеря, колонны, командировки<sup>16</sup>. Назначались бригадиры, нарядчики, десятники и их помощники с дубинками или без. И начальство, и охрану вокруг работающих людей стало заметнее. Много привезли и овчарок, для них спешно строили вольер размером с небольшой лагерь. Многоголосый лай не стихал ни днем, ни ночью.

Гигантская разгрузка нарастала, вся узкая полоса вдоль Енисея была завалена горами стройматериалов, трактора урчали, пытаясь прочистить дороги на берегу и в тайге. Под пилами заключенных падала и падала тайга. Расчищались стройплощадки, ставились палатки — под жилье, склады, столовые и туалеты. Рабочих рук теперь хватало. За Ермаково начали огораживать два больших мужских лагеря, один женский и несколько отдельных вспомогательных лагерей, вроде «Разгрузо-погрузочного» или ОЛП «Центральные ремонтные мастерские».

Охраны тоже было много, ели и спали служивые в таких же палатках, что и заключенные, на тех же сплошных нарах.

Утром Горчакову принесли на подпись акты о смерти на троих ээков. Трупов он не видел, это могло значить, что люди ушли в бега и их списали как утонувших. В неразберихе и то и другое было несложно. А может, и правда утонули. За беглецов с начальства спрашивали строго, за умерших — не так, дело было обычное. Горчаков подписал акты и начал собираться на очередной вызов. Травм было много, его постоянно вызывали, и он ходил, хотя ни лекарств, ни перевязочных материалов по-прежнему не было, Шура Белозерцев рвал простыни длинными полосами и кипятил их в баке на костре.

Горчаков шел в дальний конец разгрузки. По берегу было не пройти, поэтому все ходили верхом, тайгой. Посторонился, пропуская небольшую бригаду работяг навстречу. Люди шли без строя, обходили деревья, конвоиры в узких местах, нарушая инструкцию, плечо в плечо сходились с заключенными. Оттаявшее весеннее болотце чавкало под ногами, его и не пытались обойти, всюду было одинаково, с всхлипами выдирали сапоги и ботинки. Последним, отставшим от колонны, шел солдатик с заморенной овчаркой. Пес был такой же молодой и такой же мокрый по самые уши, время от времени он посовывался в сторону или упирался, норовя освободиться от ошейника. Солдат замахивался концом длинного поводка, карабин сваливался с плеча, солдат неумело матерился и пытался пнуть пса.

Раненый лежал на берегу под высоким, почти отвесным склоном с острыми камнями. Лет тридцати и ярко-рыжий, его лицо было в ссадинах и запекшейся крови. Сквозь порванную казенную гимнастерку была видна белая кожа, изрезанная камнями. У самой воды на бревне спиной к рыжему сидел седой мужик. Курил, глядя на быструю мутную реку. Едва обернулся на фельдшера.

Горчаков осмотрел раненого, попытался убрать из-под него острые камни, но тот громко застонал. Он не мог двигать руками. Это был перелом позвоночника.

— Давно караулишь?

Сторож обернулся, посмотрел с интересом на Горчакова:

— А тебе какой хер? Ты че, прокурор, мне вопросы задавать? — Горчаков и так видел, что он блатной, но тот еще и татуированные руки развел картинно, и головой закачал, будто она у него сейчас отвалится. Мелкая сошка, понял Георгий Николаевич.

— Когда он упал?

— Бочата<sup>17</sup> дома забыл! Марафету<sup>18</sup> нет ширнуться? У меня грóши имеются!

Горчаков осторожно вытащил камни, намочил тряпку и приложил к губам рыжего. Раненый почувствовал влагу, сглотнул, потом еще, еще.

— Не корячься с ним, — все так же, не оборачиваясь, выдал из себя урка. — Его авторитетные люди приговорили...

Горчаков сел на бревно и достал папиросы.

— Курить будешь? — предложил урке.

— Свои имеем, — блатной достал курево из-за пазухи. На левой груди был неумело выколот профиль Сталина. Только усы похожи.

Прикурили от одной спички.

— В картишки фраера проиграл, а завалить забздел!<sup>19</sup> — неожиданно пояснил урка.

Горчаков недоверчиво покосился.

— Не бзди, я тебя знаю. В прошлом году Паша Безродный у вас в лазарете припухал, а мы ему грелку привели... — урка изыскано сплюнул меж зубов. — Мужиком ее одели, налысо побрили и усы приклеили! — Он весело зыркнул на Горчакова. — Да помнишь ты! Ты в ту ночь дежурил! Чо ты?!

— Веронал есть... — сказал Горчаков, затягиваясь папиросой.

— Чего стоит, на двоих хватит? — лицо седого насторожилось.

— Хватит. Лодка нужна.

— Что?! — у урки от возбуждения дергался глаз.

— Лодку пригонишь?

— Да где я тебе возьму, у меня мазу́та<sup>20</sup> есть!

— Вон мужики таскают чего-то, пусть этого заберут...

Седой прищурился на лодочников, потом на тяжело дышащего рыжего:

— Ну смотри, лепила... у тебя с собой?

— До медпункта донесем, там отдам.

— Сам не поташу! Я чего тебе?! — Блатной выбросил недокурную папиросу и, оскальзываясь на камнях, заспешил к мужикам, бечевой тянувшим несколько лодок вдоль берега.

Отправив раненого, Георгий Николаевич поднялся на обрыв и, глянув на солнце, неторопливо двинулся тайгой в сторону поселка. Снег в тени деревьев сошел недавно, земля еще не отмерзла и идти было твердо. Вскоре звуки с берега совсем затихли, только ветер налетал на вершины да весенние пичужки щебетали. Улыбаясь чему-то внутри себя, Горчаков присел на валежину и достал папиросы.

В небе, приближаясь, мелодично перекликались небольшие гуси — казарки. Он задрал голову, отыскивая их сквозь прозрачные вершины сосен, и вскоре увидел — косячок небыстро летел против ветра над самыми вершинами деревьев. Георгий Николаевич провожал их взглядом. В памяти встала первая его самостоятельная полевая работа. В двадцать пятом году... Он дословно помнил начало того полевого дневника: «Я студент МГА<sup>21</sup>, мне — 23, моему товарищу Борису Григорьеву — 21. Нас двоих забросили на оленьих упряжках на таймырскую речку. Вокруг бескрайняя дикая тундра. Вдали горы...» Дневник был наполнен романтикой, два студента ощущали себя героями-первопроходцами. И это было правдой. Горчаков, застыв, вспоминал все в счастливых подробностях.

Была середина июня, ненец, привезший их, уехал, они остались вдвоем и стали ставить палатку на льду заваленной снегом реки. Вокруг была белая тундра. Только редкие вершины кустов торчали из-под снега вдоль берега. День уже стоял полярный, и солнце не заходило, им надо было дожидаться,

<sup>17</sup> Бочата — часы.

<sup>18</sup> Марафет — кокаин или другое наркотическое вещество.

<sup>19</sup> По воровским понятиям на кон вместо денег можно было поставить человека. Проиграв, поставивший должен был его убить. Если он отказывался, его убивали самого за нарушение воровского закона.

<sup>20</sup> Мазу́та — деньги.

<sup>21</sup> МГА — Московская горная академия.

когда вскрыется река. В первую же ночь завернула настоящая пурга, стало темно, пришлось пилить снег и строить защитную стену вокруг палатки.

Пурга длилась три дня. Делать было ничего невозможно, они спали и днем. Непогода кончилась внезапно, стало тише — заспанные выползли из спальников и прислушались. Ветер уже не выл, не свистел, не драл палатку, ее занесло почти полностью. Они выбрались наружу — погода менялась, вскоре совсем стихло, пробилось солнце и вместе с ним появились первые птицы. Это были гуси.

Студенты раскопали сушняк в прибрежных зарослях ивы, сварили чай. Воздух теплел на глазах, снег отяжелел, с пугающим шорохом осыпался с кустарников, они сидели у костра в одних свитерах, пили чай и громко радовались таким переменам.

Утром протаял береговой откос, а по белой тундре появились темные пятна. Гусей стало больше, появились полярные совы, лебеди, черные турпаны<sup>22</sup>. Борис убил налетевшего гуся, они не доварили его, он был жесткий, но вкусный. Они мечтали, как поплывут на резиновых лодках, по утрам будут работать, а вечером охотиться и рыбачить.

На следующий день в тундру пришло настоящее тепло, и началась весна. Бугры оттаяли, всюду потекли ручейки и ручьи, а еще через день снег сошел совсем, будто его и не было.

Что тут началось! Кулики и кулички, чайки, крачки, утки. Песни, крики, драки! Начавшие линять, по-зимнему белые, но уже с коричневыми головками самцы куропаток хохотали от весеннего восторга на всю тундру, зайцы носились в брачных играх, облезающие грязные песцы бродили.

Вскоре речка поднялась, взломала и унесла лед. Они накачали лодки и начали геологоразведку...

В первых числах сентября — тундра уже снова стала белой, а озера забирало льдом — они сворачивали работы. Оставалось всего несколько дней, и в один из них Горчаков пошел прогуляться на соседнюю горку, откуда разглядел в бинокль большие охристые осыпи на склоне далекой горной гряды. Они могли образоваться только от выветривания сульфидных руд. Летом 1926 года он нашел там платиново-медно-никелевое месторождение, которое было названо «Норильск II».

Горчаков встал и двинулся дальше, думая о том, что ему тогда невероятно везло. С наивной молодой жадностью высчитывал он, сколько успеет сделать за отведенные ему пятьдесят лет. И вот ему почти пятьдесят...

С караванами барж должны были прийти письма от жены. Сразу три или четыре. Он ждал этих писем, но не был им рад. В прошлом году его судили в третий раз, оформили 58.10 и дали новый срок.

Осенью он написал Асе письмо, где просил больше ему не писать и считать себя свободной. Тогда он переживал это, теперь — нет. Его надежды, потрепанные за тринадцать лет лагерей, окончательно потеряли смысл.

Он прекратил переписку... но она писала.

Звук топоров, ножевок и молотков раздавался все отчетливей. Горчаков вышел из леса. Между большим болотистым озером и берегом Енисея строили временное жилье для вольных. Копали ямы метровой глубины. В них ставили палатки. Такие же большие, как у эков и охраны, но с окнами из оргстекла, утепленные войлоком и фанерой.

Люди работали весело, шутили и смеялись, где-то пели. Холостая молодежь в основном, но были и семейные — ребятишки крутились под ногами. Женщины копали ямы, раскатывали и резали войлок, развешивали белье на веревках, натянутых между деревьями. Мужчины ставили каркасы, колотили нары. На кострах варилась еда, ведерный самовар у кого-то дымил высокой трубой. Все походило на воскресный базар в богатом райцентре.

Ни колючки, ни вышек, никакой охраны... даже собаки лаяли тут иначе.

Рыжий во время перевозки пришел в себя. Это было хорошим признаком. Наверх они несли его с Шурой Белозерцевым. Двое блатных ждали у медпункта своего марафета.

## 8

---

<sup>22</sup> Крупные северные утки.

Почему, когда и в чьей голове возник замысел этой гигантской стройки в Заполярье — неизвестно, известно лишь, что в 1947 году Сталин дал ей ход.

В том году в СССР действовала карточная система. Не хватало хлеба. Люди голодали и даже умирали (по оценочным данным, от голода погибли от 200 000 до 1 000 000 человек). Множество городов и сел лежало в руинах, катастрофически не хватало жилья, больниц, школ, рабочих рук и специалистов, элементарные одежда и обувь распределялись по карточкам. Восстановление экономики и нормальной жизни людей, по-видимому, и было насущной проблемой страны, но стареющий вождь СССР мыслил другими масштабами. Экономика страны была перегружена великими замыслами и стройками вроде Главного Туркменского канала или Сталинского плана преобразования природы. Проектов было много, они требовали колоссальных человеческих и материальных ресурсов.

Возможно, так семидесятилетний человек, обладающий абсолютной властью над покоренным советским народом, пытался продлить свою жизнь в веках. Руками миллионов заключенных копал, прокладывал, возводил, покорял... Ставил памятники своему гению.

Великая Сталинская Магистраль — железнодорожный путь, соединяющий северные области европейской части Советского Союза с Беринговым и Охотским морями. Многие тысячи километров пути за Полярным кругом. Там, где не жила и одна тысячная населения СССР. Можно предположить, что так выглядел замысел в его окончательном завершении.

Первый шаг был скромный — 400–500 километров дороги от Воркуты через Салехард на мыс Каменный, что на побережье Обской губы. Там Секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин предложил построить порт, в котором для защиты страны с севера разместить военно-морской флот. Там же должны были переваливаться грузы с железной дороги на морские суда и уходить по Северному морскому пути.

У большой карты с указкой в руках Сталин сам доложил все на Политбюро. Идея для большинства была неожиданной, возразить никто не посмел, но и сторонников не нашлось. Сталин обратился к начальнику «Главсевморпути» и министру морского флота СССР Афанасьеву, мнение которого ценил.

Афанасьев, человек принципиальный и смелый, начал с простого соображения, что военные корабли будут десять месяцев в году стоять вмерзшими в лед. Кроме того, Обская губа — министр там бывал — мелководна и не подходит для крупнотоннажного судоходства. Афанасьев давно знал Сталина и видел, что вождю не нравятся его соображения, но как специалист считал себя обязанным их высказать. Он закончил тем, что без исследования территорий и потенциальных грузопотоков (в них он тоже сомневался!) такое решение принимать нельзя и что на изучение вопроса нужно не меньше года. Его слова довели Сталина до такой злости, какой Афанасьев никогда у него не видел. Сталин прервал совещание, потребовал создать комиссию Политбюро и за три дня — а не за год! — решить этот вопрос.

За три дня вопрос не решили. Начальник «Главсевморпути» и министр морского флота СССР Александр Александрович Афанасьев оказался английским шпионом. Бывшего капитана дальнего плавания, бывшего начальника Дальневосточного морского пароходства, всю войну руководившего поставками по ленд-лизу из США через Дальний Восток — это половина всей помощи союзников! — имевшего три ордена Ленина, допрашивал лично Абакумов. Допрашивал с «пристрастием», то есть бил, и уже через месяц после того совещания Афанасьев получил двадцать лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58-1 «а» УК РСФСР.

Решение о строительстве принималось, когда Афанасьев в камере ждал своего приговора. На одном из ночных совещаний узкого состава Политбюро, где присутствовали Ворошилов, Жданов, Каганович и Берия, Сталин заслушал доклад начальника Северной экспедиции Татаринцева и, не спрашивая ничего мнения, вынес решение: «Будем строить дорогу!»

Через несколько дней, 22 апреля 1947 года, Совет министров СССР принял постановление, в котором обязал МВД немедленно приступить к строительству морского порта, судоремонтного завода и жилого поселка на мысе Каменный, а также начать строительство железной дороги от Печорской магистрали к порту.

Мыс Каменный в это время был укрыт снегами и закован морозами. Никаких дорог туда не было, а навигация начиналась через три месяца — в середине лета. Но работа закипела.

За 1947–1948 годы в районе будущего порта были построены три больших лагеря. Заключенные соорудили жилье и складские помещения, а для стоянки кораблей пятикилометровый ряжевый<sup>23</sup> пирс из лиственницы. Тянули и железнодорожную трассу. В начале 1949-го «выяснилось» то, о чем говорил Афанасьев, — акватория Обской губы слишком мелководна для больших судов, а характер грунтов в районе уже построенного пирса не позволяет углубить гавань. Возможно, строителям это было понятно и сразу, просто боялись доложить. От строительства порта на мысе Каменный и железной дороги к нему отказались.

Но Сталин не любил быть неправым.

Новым местом для морского порта была назначена заполярная Игарка, и заполярная железная дорога увеличилась на тысячу километров. Теперь она должна была соединить северные отроги Полярного Урала с низовьями Енисея.

Итак, глубоководный морской порт, судоремонтный завод, выход железной дороги на стык морских и речных коммуникаций. В Игарке создавался большой транспортный узел. Зачем — неизвестно! Постановление Совета министров СССР от 29 января 1949 года только ставит задачи и никак не обосновывает грандиозный проект. Ни экономически, ни политически.

В тех краях на тысячи километров вокруг не было ничего, кроме Норильского горно-металлургического комбината. Везти по этой дороге было нечего.

Согласно Постановлению, в IV квартале 1952 года по железной дороге «Салехард — Игарка» должно было быть открыто рабочее движение, а в 1955 году начаться ее полноценная эксплуатация. При Северном управлении лагерей формировались два строительства — Обское № 501, оно строило дорогу от Воркуты на восток к Енисею, и Енисейское № 503, двигавшееся на запад, навстречу Обскому.

## 9

Было четыре утра, «Полярный» ходко шел вниз, в Игарку. Солнце уже высоко поднялось над правым берегом, Енисей почти очистился, лишь изредка виднелись в волнах небольшие льдышки, как называл их главный механик, притонувшие уже, иные, правда, размером с полбуксира. Плыли и живые деревья с корнями и кроной, вывернутые половодьем где-то на таежной речке.

За штурвалом стоял капитан Белов, в новой рабочей тужурке, выбритый, в рубке приятно пахло одеколоном «Шипр». Рядом на высоком стуле в самовязаном сером свитере сидел старый механик Иван Семеныч Грач.

— Все, чисто! Считаю, прошел батюшка-Анисей, — бухтел старик сиплым трескучим голосом с видимым удовольствием. — Пронесло на этот раз, Сан Саныч! Винт целый, руль целый! Считаю, весну пережили... Вон еще льдышка! Эта нам не страшная, мимо...

Грач по привычке всеми пальцами прихватывал то правый, то левый ус, закручивал их концы вверх, сам глядел в сторону недалекого берега. Двигатель работал вполсилы, а летели со скоростью курьерского.

Белов подкручивал штурвал и, тоже довольный, поглядывал на берега, на неразогретое еще, прохладное утреннее небо. Он прямо счастлив был, что вырвались. В Ермаково пришел огромный караван — двадцать с лишним барж, и «Полярный» три дня крутился с маневрами в ермаковской протоке. Эту баржу — туда, эту — сюда, нет, давай дальше, давай, давай... С приездом начальства из Игарки командиров стало слишком много.

— Везут и везут, разгружать уже некуда, — капитан произнес вслух конец своей мысли. — Сгноят половину! Бардак получается, Иван Семенович...

— Ну! — Грач свернул козью ножку, зажег спичку и скопил глаза к переносице, целясь подкурить. — А где у нас не бардак, Сан Саныч? Ээки что за работники?! Игарку вон возьми...

---

<sup>23</sup> Ряж — бревенчатый сруб по типу колодезного, заполненный камнями. Этот пирс состоял более чем из тысячи таких «колодцев», и ставились они в ледяной морской воде.

Иван Семеныч подкурил, газета на конце самокрутки вспыхнула огоньком, он притушил ее пальцами, прикурил еще раз и с наслаждением пыхнул клубами синего дыма из ноздрей. Сразу всю небольшую рубку завесил.

— В Игарке, пока эзков не было, все как на дрожжах росло! Вольные за три года два лесозавода отгрохали, причалы, склады... жилье хорошее. Архитектор из самой Москвы был!

— Как это не было эзков, чего говоришь? — не поверил Белов.

— Не было! — грозно просипел Грач. — Игарку вольные начинали. Акционерное общество «Комсеверопуть» — они нанимали! Люди мешки денег везли отсюда. Ну и работали... не то что эки, ясен хрен. Тут жизнь была мировая!

Грач посидел, покуривая и вспоминая, потом тряхнул головой:

— Ссылные были, это да, а эзков не было. В 1929-м на берегу высадились — тайга глухая, а в 1931-м уже город стал! Вот так! А ты говоришь!

В рубку заглянул Егор Болдырев с горячим чайником. Взгляд у боцмана был такой, будто просто шел мимо. Ушанка на затылке.

— Опять сами за рулевого, Сан Саныч? — не одобрил боцман капитана, которому не положено было стоять за штурвалом.

Белов не ответил. Боцман втиснулся, обходя старика-механика. Снял телогрейку и повесил на крючок. В рубке было тепло от батарей. Егор Болдырев был курсантом все того же Красноярского речного техникума, который заканчивал и Белов. Ему недавно исполнилось шестнадцать, и боцманом он работал первый год.

— Сашкина же вахта... А хотите, я... — Егору хотелось встать к штурвалу, за этим и пришел.

— Сам покручу пока, после завтрака приборочку наведите.

— Корму тоже драить?

— Корму не надо — угля насыпем...

— Балуешь ты их, Сан Саныч, в мои времена матросы и спали со швабрами! Все блестело!

Егор хотел сказать, что у него тоже все блестит, но смолчал. Старый Грач не упускал случая, чтобы маленько поучить Егора, боцману это не нравилось.

— Смотри-смотри! — механик показывал на небо.

В голубом просторе невысоко над кораблем летел большой косяк гусей. Треугольником, ровно шли, как будто бы и не сильно работали крыльями, но летели быстро.

— Юг дует... домой их несет! — Белов вцепился взглядом в вожака. Тот уверенно вел за собой стаю. — Знает дорогу! Никакого сомнения в нем! Всегда удивляюсь!

— Штук сто, не меньше... — восхищенно просипел Иван Семеныч. — Давайте, летите, мы к вам, бог даст, наведемся. Ох, моя старуха гусятину любит!

— Тридцать восемь, — оторвал взгляд от неба Егор.

— Чего тридцать восемь, я тебе говорю под сотню, я их знаешь сколько перебил... — строго нахмурился Грач.

— Я подсчитал! — стоял на своем Егор, выходя из рубки.

Капитан их не слушал, с жадной радостью человека, соскучившегося по работе, глядел на воду, на мощные весенние взмыры<sup>24</sup>, выбивающиеся из глубины. Пароход переваливал к правому берегу. Солнце поднималось все выше, Енисей заголубел, левый берег был завален высокими белыми торосами. Здесь их никогда не снимало водой, они держались до июля, истекая под солнцем. На высокой правой стороне лес стоял еще зимний, серый, снег лежал по лощинкам, березы стройными белыми стволами вертикально штриховали склон до самого хребтика. Елки да кедрюшки выделялись темными пятнами. Все было чуть-чуть скучноватое и по-весеннему грязное, но березы уже покраснели, наливаясь соками, присматривался Сан Саныч... Обернуться не успеешь, уже лето!

— У тебя, Сан Саныч, дети есть? — спросил механик.

— А? Нет...

---

<sup>24</sup> Взмыры — вспучивание воды на поверхности из-за неровного дна и течения. Характерны для Енисея.

— И у меня нет, старуха моя застудилась по молодости и не могла родить. Раз пять брюхатил ее, а не вынашивала.

Грач помолчал, безразлично глядя далеко вперед, туда, где Енисей сходил с небом. Лицо у деда было в глубоких обвисших морщинах, голова седая, с редкими старческими завитушками на затылке и плешью на макушке. Только боевые усы седой проволокой торчали в стороны. Они с Беловым знали друг друга недолго, месяц, пока готовили судно в Красноярске, и вот на реке. Дед был ничего, соображал в железках, уставал только и любил привалиться. У него в машине был уголок, выложенный изношенными телогрейками, где он любил покемарить под шумок негромкого парового двигателя. Утром, правда, всегда вставал рано.

— Моя старуха племянниц-двойняшек вырастила... десять лет с нами жили... — дед смотрел на Белова, но мыслями был где-то далеко. — Они нам родней родных были, а выпустили ихнюю мать — сестру мою, она и забрала. И они ушли! Своя кровь!

Старик изучил погасшую самокрутку, но прикуривать не стал.

— Десять лет по лагерям шаталась... Больная вся вернулась, матерится, курит, как мужик, а они все равно к ней прибились.

Белов слушал внимательно, поворачивал голову от воды и глядел на старика.

— Спросить хочу, Иван Семеныч... ты же всю жизнь флотский...

— Ну так! — дед посмотрел на Белова, как будто не понимал, как еще можно прожить жизнь.

— Все лето на реке, а жена там... Я в прошлом году женился... — Белов замаялся.

— У меня старуха правильная в этом вопросе. А ты что же, сомневаешься в своей?

Белов глядел вдаль, где вскоре должна была появиться Игарка, неопределенно пожал плечами. Ему и хотелось, и не хотелось домой. У него в Игарке было немало приятелей и подружек, которых он не видел с марта, когда улетел в Красноярск принимать «Полярный». Но была и супруга Зинаида. Он женился прошлой осенью по пьяному делу, когда кончилась навигация. Как так получилось, он и сам хорошо не помнил, могли бы просто жить, как многие и жили, но они расписались на другой день — сам же по знакомству все и устроил. Зинаида была на три года старше, красивая... и одевалась так, что выйти с ней было приятно, да и в койке... Даже сейчас, вспоминая жену, Белов почувствовал, как зашумело в мозгах. Он крепко сжал штурвал, вздохнул и прищурился на редкие облака над Енисеем.

Не любит она его — это Белову было понятно. Наряжаться любит, прически модные, туфли... Родилась Зина в Брянске, отца своего не помнила, приехала с матерью по вербовке. Мать такая же — Белов терпеть не мог свою толстую тещу, работавшую в торговле: всегда с наглым или неприятно льстивым лицом, крашеная блондинкой, с темными корнями отросших волос и с темными усиками над верхней губой.

Когда улетал в Красноярск, хотел взять с собой Зинаиду, но она отговорила — мама как раз захворала. Он звонил потом ребятам в Игарку, спрашивал между делом о жене, те рассказывали, что и на танцах ее видят, и еще с одним кентом частенько. Белов и до женитьбы встречал ее с этим длинноносым лейтенантом госбезопасности.

Развестись почему-то не приходило ему в голову. Вот и сейчас при мыслях о Зине у него все путалось. То казалось, что любит ее, то с досадой вспоминалось, как она врала и выкручивалась. Он ей, конечно, тоже врал, случалось.

На палубе появился матрос Санька. Тощий, в штанах, подвернутых до колен и голый по пояс. Он выплеснул за борт грязную воду из ведра, побежал на корму за чистой и вернулся, плеща на палубу и себе на босые ноги. Его колотило от холода. Перед входом в кубрик Санька поскользнулся на своей же воде и со всего маху сел на задницу. Ведро, однако, удержал.

В шесть утра в рубку заглянула Степановна и позвала завтракать. Белов остался один. Солнце широко блестело по волнам, грело сквозь окна, в дверную щель свежо задувало с присвистами. Все было, как и в прошлом году, Белов посматривал на знакомые, почти родные места, и в душе его возникало радостное волнение.

Это было не только утро Енисея, это было и его утро, утро его большой жизни. Вокруг Санькича волновалась, наполненная ветром и солнцем, его любимая стихия. Это была река, но это была

и работа. Он распахнул дверь, вдыхая полные легкие ледяного воздуха. Серьезная работа, Сан Саныч! Так было и так будет! И нет ничего выше этого!

Небольшая льдина чуть ударила в борт, гулом отозвалась по металлическому корпусу, «Полярный» привычно вздрогнул, не особо обращая на нее внимания.

## 10

Жена Горчакова Анна, а по-домашнему Ася, была поздним и единственным ребенком в семье известных музыкантов. Отец пианист, профессор консерватории и Гнесинского училища, мать — тоже пианистка, преподавала и была концертмейстером Вахтанговского театра. В их доме постоянно бывали знаменитые музыканты, литераторы, актеры и художники.

Ася родилась в 1912-м, до десяти лет, все смутные времена, получала домашнее образование, потом закончила Гнесинку, потом консерваторию. Ей прочили блестящую карьеру, но Ася, как и большинство молодых людей ее круга, мечтала о живой и трудовой жизни, мечтала работать на благо новой России, не щадя себя.

С будущим мужем, с Герой, она была знакома всегда — жили в одном подъезде, учились фортепиано у одного педагога — отца Аси. Тогда, совсем юной девочкой, на десять лет младше, она в него и влюбилась.

Но Гера, все из того же благородного порыва служения Родине, бросил музыку и пошел в геологию. Начались долгие отъезды, виделись они редко, только писали письма. В конце сентября 1936-го, когда Георгий вернулся из Норильской экспедиции, Ася, после жутких ссор с родителями, уехала в Ленинград. Вскоре они расписались.

Их семейное счастье длилось три месяца. Георгия арестовали 31 декабря 1936 года. Они вдвоем, почти втроем, Ася была беременна, сидели за новогодним столом. Счастливые друг другом и молодостью, которая распахивала перед ними все дороги. Он в свои тридцать три — доктор геолого-минералогических наук, руководитель больших экспедиций, и она — талантливый музыкант. Когда в их комнату вошли вежливые люди в штатском, Ася с Герой наряжали елку и горячо спорили: она умоляла взять ее на безлюдное заполярное плато Бырранга, а он не просто это запрещал, а требовал, чтобы Ася рожала у родителей в Москве и поступала в аспирантуру консерватории...

Первое утро 1937 года она встретила у окна общежития Арктического института, на Васильевском острове, улица Беринга, 38. Она ждала, что он вернется. Озабоченно щупала свой живот, которого было еще совсем не видно.

О муже ничего не сообщали — ни где он, ни в чем обвиняется. Растерянная и ничего не понимающая, бегала Ася по ленинградским тюрьмам, стояла в страшных, словно чумных очередях среди женщин с такими же лицами. Она ревела по ночам, днем же держалась, улыбалась сослуживцам Геры и сама начинала верить, что это ошибка и его скоро отпустят.

Через неделю ее выселили из общежития и заставили уехать в Москву. Даже купили билет — у нее не было денег — и отвезли на вокзал.

Вскоре пришла и ее очередь. Брала Асю на глазах немолодых родителей. «По решению комиссии УНКВД от 23 января 1937 года, как жена врага народа...» она высылалась административно без указания срока ссылки в город Кустанай Казахской ССР.

Она совсем потерялась (ее окончательно разлучали с мужем!), не понимала, почему, на каком основании ее доброго и гениального Геру, который столько сделал для Родины, называют врагом народа. Она не слушала приказаний, не собиралась, но сама спрашивала тех, кто пришли за ней: разве был суд?! Где он? Он мой муж! Я целый месяц ничего не знаю! Это законно? Если он враг народа, значит и я враг народа!

Молодой лейтенант, возможно ровесник Аси, отмалчивался, пояснял сурово, что во всем разберутся. Молчал и отец, сидел за роялем с таблеткой под языком. Он сосредоточенно хмурился, зачем-то начинал поднимать крышку инструмента, но тут же, будто одумавшись, опускал ее со словами: так-так, значит, Ася... Он словно хотел ей что-то объяснить, но замолкал, вцепившись взглядом в беременную дочь. Только мать, не обращая внимания на военных, трясущимися руками

собирала теплые вещи, давала Асе указания. «Возьми себя в руки, это только ссылка...» — шептала мужу, потом дочери. Но, кажется, она сама в это не верила.

Матери в тот момент было пятьдесят восемь, отцу — почти семьдесят. Их единственную дочь с еще не родившимся внуком увозили, как увезли многих вокруг.

Меньше чем через полгода, совсем немного не дожив до Асиных родов, отец умер. Мать писала, что после ее ареста он почти перестал разговаривать, не принимал лекарства и врачей и ушел из консерватории. Он сидел целыми днями за письменным столом, глядя в одну точку. Иногда перед ним лежали чистые листы бумаги, но он ничего не писал. Он умер солнечным майским утром, от остановки сердца.

Внука, в честь деда, назвали Николаем. Он родился в нормальные сроки 15 июня в маленькой саманной больничке пыльного казахского райцентра. Было очень жарко и голодно, но у нее, несмотря на худобу и небольшую грудь, хватало молока, и мальчик рос хорошо.

После нового 1938 года от матери перестали приходить письма и посылки, а в конце января, как раз был год ее ссылке, пришло письмо от домработницы. Фима писала, что мать сбило машиной и в их квартире уже живут другие.

Ася отбыла почти три года. В ноябре 1939-го ее неожиданно освободили. Даже с правом проживания в Москве. Ее вытащил директор Норильского комбината генерал Перегудов, однокашник Георгия Горчакова по Московской горной академии.

Ася с двухлетним Колей поселилась у Горчаковых. Все в том же седьмом доме в Большом Власьевском переулке, этажом выше, чем жила всю свою жизнь. Квартира была четырехкомнатная с просторной кухней, отец Горчакова Николай Константинович служил заместителем наркома легкой промышленности, у него была огромная зарплата, персональная машина и дача, а сам он неделями работал в командировках. Мать же, Наталья Алексеевна, была занята взрослыми детьми, их было трое: Илья, Лида и Георгий. К тому моменту все они были осуждены на разные сроки и отбывали наказание в разных частях большой страны.

После холода и полуголодного существования в Казахстане, после тесноты, воющего ветра и необходимости раз в две недели ходить отмечаться за двенадцать километров Ася приходила в себя. Съездила к родителям — они лежали на разных кладбищах. Попыталась найти работу, но пока нигде не брали, и она много занималась фортепиано и маленьким Колей.

С возвращением к жизни страшнее становилась тоска по мужу. Она три года не видела его, и к нему можно было уехать. Георгий, благодаря все тому же генералу Перегудову, возглавлявшему одну из самых важных ГУЛАГовскихстроек, был почти вольным, второй год руководил в Норильске всеми геологическими работами. Она рвалась к нему, но Гера опять был против, просил потерпеть, рассчитывая на досрочное освобождение.

Вскоре, однако, жизнь Аси сильно поменялась. В декабре 1939-го отец Геры Николай Константинович Горчаков умер во время операции по удалению аппендицита. Наталья Алексеевна, все знавшая о делах мужа, молчала, но видно было, что она не верит официальному заключению и боится больше обычного. Она всех подозревала в доносах, иногда Ася ясно видела, что и ее тоже.

Это были не все беды, обвалившиеся на семью. После Нового года освободили из заключения умирающего от туберкулеза старшего сына Горчаковых Илью. Он был едва живой, высохший, кашлял кровью и очень не хотел умирать. Принимал лекарства точно по часам. Он умер на руках матери, и Наталья Алексеевна замкнулась. Она почти перестала разговаривать.

Ей было всего шестьдесят три, она была крепка и здорова, но сама жизнь перестала ее интересовать. Пустыми глазами смотрела она на маленького внука, милого и ласкового Колю, как будто не понимала, зачем все это. Зачем такой милый мальчик? Я знаю, что с ним будет, и вы все знаете, тогда зачем?

Летом, ровно через полгода после смерти Николая Константиновича, их лишили персональной пенсии, госдачи и увезли Наталью Алексеевну. Ася с Колей на руках снова оказалась в тюремных очередях и каждую ночь ждала худшего — что придут за ней. Она тихо сидела возле улыбающегося во сне Коли — какие только мысли не приходили в голову. Но вышло иначе — Наталью Алексеевну вскоре выпустили.

Денег не стало. Асю с ее биографией не брали даже уборщицей, она работала дома машинисткой, печатала целыми днями на немецком и французском и немного преподавала фортепиано, благо инструмент стоял у них в квартире. Время от времени продавали дорогие вещи или украшения Натальи Алексеевны.

Так они пережили войну. В июне сорок пятого, на полгода раньше срока, вернулся из заключения Георгий, и Наталья Алексеевна ожила. Хлопотала о приличной одежде, доставала продукты и целыми днями не отходила от него. Просто сидела и смотрела, как он листает книги по геологии или в поисках работы пишет письма бывшим товарищам. И Георгий, и его мать сильно изменились. Они сами как будто не узнавали друг друга.

За три недели, что Георгий пробыл дома, что-то наладилось, осколки когда-то большой семьи стали будто бы срастаться, возникла жизнь, зашевелились тени прошлого, ожило фортепиано, казалось, вот-вот комнаты наполнятся прежними веселыми и бодрыми голосами людей, живших здесь совсем недавно. Наталья Алексеевна улыбалась и от волнения говорила со всеми по-французски. Она не была сумасшедшей, она плохо понимала, что происходит.

Второй раз Георгия забирали ранним утром в конце июня. Солнце только вставало. Их опять было трое, старший — улыбчивый молодой капитан — переговорил с Георгием на кухне. Тот вышел как будто вполне спокойный и стал собирать вещи. Обыска не было — взяли только бумаги Георгия, разложенные на письменном столе. Капитан был любезен, шутил, говорил, что это не арест. Просто необходимо выяснить кое-какие подробности, связанные с прежней работой Георгия Николаевича. Присел к фортепиано и спросил разрешения открыть.

Наталья Алексеевна оживилась на неожиданную просьбу:

— На этом инструменте играли многие известные люди. Шостакович, Прокофьев... — она, может быть, впервые в жизни лебезила перед человеком. — Георгий знаком был... Дружили...

Знаменитыми фамилиями она пыталась объяснить, что ее сын не просто субъект, которого надо отвезти в тюрьму, но живой человек, ценная личность, друг таких известных людей.

— Да вы не волнуйтесь, пожалуйста, это ненадолго, к вечеру вернем обратно... — капитан, стесняясь, взял несколько неуверенных аккордов.

Наталья Алексеевна весь день просидела в прихожей, слушая лифт. Георгий не вернулся.

Следствие вел тот же капитан, что и арестовывал. На первом же допросе он прямо сказал Горчакову: вы опытный, разумный человек, подписывайте все, и мы обещаем легкое следствие и минимальный срок. А возможно, и выбор места. Где бы вы хотели работать? Случаев, когда брали вскоре после освобождения, было множество, Георгий знал о них и к аресту был готов, если к нему вообще можно быть готовым, он все подписал и уже 23 августа 1945 года был осужден ОСО НКВД СССР по тем же статьям, что и в первый раз. Десять лет — это действительно был минимум. За сокрытие полезных ископаемых. Не морочились — переписали из дела в дело, даже с теми же ошибками. К разведке полезных ископаемых последние шесть лет он не имел никакого отношения.

Капитан выполнил и еще одно обещание — перед этапом дали свидание с Асей.

— Если сможешь выйти замуж, выходи. Ты молодая, будут дети, поменяй фамилию, — он почти спокойно смотрел ей в глаза. — Помощи и посылок мне не надо, я там уже все знаю...

— Гера, ты что говоришь?

— Нет! — он остановил ее взглядом. — С моей жизнью все ясно, пусть тебя оставят в покое...

— Как ты можешь! Девять лет, что мы ждали друг друга, — это была не жизнь? Коля уже большой, я могу приехать к тебе... — зашептала Ася, озираясь на охранника.

— Выбрось из головы, это глупость... Ты не представляешь себе, что там!

Вскоре квартиру забрали, а их переселили в старенький двухэтажный дом на Сивцевом Вражке. Это было совсем рядом, место знакомое с детства, и Ася даже рада была, что все как будто прежнее, но здесь ничего не напоминает об аресте. И комната досталась немаленькая — шестнадцать метров, с большим, почти во всю стену окном. Выселяли их быстро, мебель пришлось оставить, только рояль по цене платяного шкафа купили соседи.

Дом был с одним подъездом, скрипучей деревянной лестницей и небольшим зеленым двориком. Каждую весну хозяйки засаживали клочки огородиков: огурцы, картошка, капуста, укроп-петрушка. Их коммуналка была всего на пятерых хозяев, без ванной комнаты, но с водопроводом и туалетом.

В сравнении с тем, как жили многие, все это было неплохо. Ася выгородила шкафом и тяжелой шторой угол для свекрови. Там помещались кровать, кресло и половина окна. У другой половины стоял кухонный стол, за которым обедали, Коля делал уроки, а Ася печатала.

К лету 1949 года произошли еще два события.

В декабре сорок пятого в семье Горчакова Георгия Николаевича родился сын Сева, и теперь он, почти четырехлетний, непонятно в кого темноглазый, ужасно симпатичный и умный, путешествовал по всей коммуналке.

Второе событие было таким — Севкиного отца Горчакова Георгия Николаевича уже в лагере осудили на четверть века исправительно-трудовых лагерей.

Дату их встречи отодвинули на труднообразимый 1973 год, когда Севе исполнилось бы двадцать восемь, Коле тридцать шесть, а их матери шестьдесят один.

На кухне никого не было, Ася поставила на керогаз тяжеленный бак с бельем, замоченным еще с вечера. Она делала все машинально, привычно быстрыми и точными движениями — она все так делала, сама же разговаривала с Горчаковым. Или не разговаривала, но он почти всегда, а может и всегда, находился рядом. Это стало привычкой. Он присутствовал в ее воображении, и она рассказывала ему, что сейчас с ней происходит. Как будто письмо писала.

...Тут с юбилеем Пушкина множество прекрасных мероприятий. Я наметила себе кучу всего... Хочу попасть в Большой на «Бориса Годунова». Поставил Леонид Баратов, в первом составе Марину поет Мария Максакова, а Юродивого — Иван Козловский. Пока не попасть никак, но мне обещали контрамарки... Пойдем с Колей. Жаль, что Наталья Алексеевна не увидит, она очень постарела. — Ася проверила керосин в бачке керогаза, долила из бидончика. — Последнее время Наталья Алексеевна сажает рядом с собой Колю и Севу и рассказывает им о своей молодости, о Николае Константиновиче. Очень интересно, я иногда заслушиваюсь и забываю печатать, ее речь все больше становится той, прежней. Удивительно, что Сева слушает внимательнее Коли, а потом у меня выпрашивает... вчера пришлось изучать энциклопедию — бабушка рассказывала об Орехово-Зуевской мануфактуре Саввы Морозова, которой руководил их дед.

Ася убавила огонь под закипевшим баком, помешала белью палкой.

...Сева удивительный, никогда не говорит глупостей, которые говорят все дети. А иногда мне кажется, что он понимает даже то, о чем я только думаю. Наталья Алексеевна уверяет — он твоя копия, говорит, ты маленький тоже был серьезный и задумчивый. А я боюсь, он такой взрослый, потому что мало общается с детьми.

Ася очнулась от безответного разговора и пошла в комнату. Сева еще спал, она достала из-под кровати большой кусок хозяйственного мыла. Заглянула к свекрови. Наталья Алексеевна сидела в кресле, думая о чем-то, не среагировала на появление невестки.

Ася вышла из комнаты, едва не столкнувшись с соседом. Геннадий Иванович, в голубоватой майке и с полотенцем в руках, входил в свою комнату. Здороваясь, театрально нагнул голову, но посторонился, как будто боялся заразиться. Ася даже улыбнулась внутренне. В коммуналке их комната — бедные родственники врага народа — была самая неблагополучная. Вскоре из комнаты Геннадия Ивановича раздался приятный баритон: «А-а-а-а... А-а-а-а... — Геннадий Иванович прокашлялся тщательно, прополоскал горло, и опять запел: — А-а-а-а...»

Геннадий Иванович преподавал марксистско-ленинскую философию в пединституте, а для души пел русские народные песни и романсы. Он был из провинциальных мещан, без музыкального образования, самородок. Жена аккомпанировала на пианино или аккордеоне. Они выступали по домам культуры, а иногда ездили «с концертами на село». На Асю Геннадий Иванович всегда смотрел сверху вниз, с легким чувством превосходства, она же на него старалась не смотреть совсем — он очень фальшивил, когда пел.

Ася вернулась в кухню и стала строгать липкий коричневый брусок мыла в бак с бельем.

...Ты Колю не узнаешь... — продолжила разговор с Горчаковым, — он очень взрослый. Столько пережил — бомбежки, голод... А как голодно было после твоего второго ареста, в сорок шестом и сорок седьмом! Иногда у нас был только хлеб! Теперь Коле двенадцать, и он самостоятельный. Это, конечно, плохо, у детей должно быть детство, но если бы не он, что бы я делала? Он остается с Натальей Алексеевной, водит ее в туалет, иногда что-то готовит... — Ася очнулась и прислушалась, — недавно сварил французский луковый суп. Представляешь? Наталья Алексеевна перевела ему рецепт... Как жаль, что ты все время молчишь. Я пытаюсь и не могу представить, что ты улыбаешься. Ты все время только слушаешь меня.

В кухню вошел заспанный Сева, на ходу надевая очки. Увидел тихо булькающий бак, забрался на табурет и стал смотреть, держась за плечо матери.

— Сева, пожалуйста, осторожно! — Ася еще помешала и отошла к столу чистить картошку.

— Серый суп из мыла... — Сева потрогал пальцем вздувшиеся пузыри белья. — Хорошо бы добавить лук и морковку... Я «Тёму и Жучку» дочитал.

— Сам?

— Сам и с бабой.

— Ты плакал?

— Нет, я знал, что он ее спасет, — он слез с табурета.

— Знал?

— Конечно. Человек должен спасать друга.

Ася перестала чистить и с интересом посмотрела на сына.

— Тот, кто бросил Жучку в колодец... баба говорит, он скотина...

— Ну да, — согласилась Ася.

— Нет, сначала он был просто человек. Вот когда бросил Жучку, стал скотиной...

— Здорово, соседи! — В кухню шумно, с тяжелой авоськой вошла Ветрякова. Они жили через стенку с двумя девочками-старшеклассницами. У них никто не сидел и не бывал в ссылке. Ветряков работал токарем, а Ветрякова уборщицей в продуктовом, и с харчами у них было лучше всех.

— Здравсьте, Нина Семеновна! — Сева сказал и спрятался за мать.

— От зараза! Знает, что не веляю так, а вот я тебя! — она растопырила ладонь и посунулась к Севе. — Как меня надо звать?

— Баба говорит, тетя Нина нельзя! Надо — Нина Семеновна!

— Из ума твоя баба давно выжила... — Ветрякова вынула хлеб, большой кусок свинины, капусту выкатила на стол. — На-ка хлебца... — отрезала горбушку и подала Севке. Она его любила.

— Спасибо! — Сева крепко взял хлеб и повернулся к матери с вопросом в глазах.

— Водичкой полей да сахаром посыпь! — Нина обрывала верхние капустные листы и все улыбалась Севке. — Ну, сахарком! Вкуснятина будет, за уши не оттбщишь!

Сева протянул хлеб матери. Асю бросило в краску, она выключила керогаз и накрыла булькающий бачок крышкой. Мыльным паром пахло на всю кухню.

— Спасибо, Нин. У нас как раз сахар кончился. Ешь так, Сева!

— Опять без денег сидишь? — Нина ловко обрезала мясо с кости, она с первого дня покровительственно отнеслась к непрактичной интеллигентке-пианистке. — С Клавкой так и не поговорила?

Ася улыбнулась виновато и качнула головой.

— Что, убудет тебя? Она позавчера опять с тем хахалем была! Погоны-то на нем немаленькие! Поговори с ней, она баба неглупая, шепнет в нужный момент! — Нина подмигнула со значением. — Он тебя куда хочешь устроит! А так-то никуда не возьмут, это ясно.

— Да-а... — Асе не хотелось продолжать тему, она присела к Севе, заправила рубашку в трусы.

— Что да-а? На-ка хоть суп свари... — она положила на край стола кость, на которой осталось немного мяса, посмотрела на нее и доложила кусок сала. Зашептала, нагнувшись: — Что, так уж не любишь, этих-то? — Нина поерзала подбородком по плечу, где должны быть погоны.

— Да почему не люблю...

— Мой тоже не любит... — Нина говорила вполголоса, прислушиваясь к тишине коридора. — А чего? Всем жить надо. Будешь у них на машинке стучать, что тут такого?

Ася молчала.

— Нет, ты скажи! Чего волчицей смотришь?

— Не хочу я там работать, — шепнула Ася с нескрываемой досадой.

— Нет, ну одно слово — пианистка! Работа у них такая! Ты не будешь, другая будет!

— Пусть без меня... Иди проверь бабушку... — Ася подтолкнула Севу из кухни.

Нина выглянула в коридор, поставила миску с мясом под кран и открыла воду.

— Мой тоже, как напьется, такое, дурак, порет: видел я их, орет, на фронте! — Нина говорила почти беззвучно, одними губами. — А с Клавкой поговори, она хоть и шалава деревенская, а помочь может. В ресторанах сотни просиживает со своим...

Хлопнула наружная дверь, женщины замолчали, Ася по знакомому пыхтению поняла, что разувается Коля, поблагодарила за мясо и пошла в комнату.

— Mam, можно я к Сашке пойду, ему гитару купили...

— Ты трико порвал! Коля! — Ася повернула его спиной, проверяя с другой стороны.

— Я видел... Тренер сказал, на первенство района меня поставит.

— Снимай, зашью, и не забывай, пожалуйста, у тебя больше ничего спортивного нет.

— Я помню. Где взяла мясо? — Коля понюхал кость.

— Я сегодня печатать иду в театр, ты сможешь там поиграть!

— Mam, я Сашке обещал, он нот не знает... не хочу я на фортепиано...

— Николай! — раздался неожиданно громкий голос из-за ширмы.

— Да, баб! — Коля зашел к ней.

— Твой отец был блестящий пианист! С Обориным, с Шостаковичем играли в четыре руки!

— Баб, ты это говорила! Я просто хочу на гитаре...

— Не перебивай! — Наталья Алексеевна помолчала. — Мать твоя тоже замечательно играла... Ты — внук профессора консерватории, наконец! Я не понимаю, почему тебе не стыдно?! Собирайся и иди с матерью, в Вахтанговском хороший инструмент!

Коля громко и тяжело вздохнул и вышел из-за ширмы.

— И не вздыхай! Музыка — это прекрасно! А от футбола у тебя вылетают мозги! Как это можно, биться головой о мяч! А главное — зачем?!

## 11

В Игарской протоке, у причалов и на рейде стояло немало судов. «Полярный» медленно двигался к пристани Енисейского пароходства, гудками здоровался. Небольшой портовый буксир «Смелый» маневрировал с двумя длинными баржами. Баржи были порожние, высоко стояли над водой, пароходик мелким муравьем суетился возле. Всю прошлую навигацию отработал Белов подменным капитаном в Игарском порту на этом вот «Смелом». Загудел длинно, приветствуя товарища.

Сразу за пристанью пароходства стояла трюмовая баржа «Ермачиха», построенная специально под заключенных. Их как раз и разгружали. Серая река людей лилась из широкого носового люка на берег и, нарушая закон всемирного тяготения, медленно текла в гору.

На рейде стояла родная сестра «Ермачихи», тоже деревянная, почти стометровой длины и широкая, баржа «Фатьяниха». Ее трюм был огромной тюремной камерой — без переборок, вдоль бортов и посередине — сплошные нары в три и четыре яруса — «Фатьяниха» вмещала в свою утробу несколько тысяч человек. Сейчас она была пустая — трюмы распахнуты, бойцы завтракали на палубе возле шкиперского домика, кормили собак.

Белов переделся и направился в город.

Было около восьми, он поднимался широкой лестницей с перилами к красивому зданию речного вокзала. Решил сначала зайти в контору Строительства, не терпелось узнать, куда его направят, опасался, что оставят в Ермаково или здесь, в Игарке, на маневрах. «Полярный», конечно, был не самым мощным буксиром, но по мореходности мог и на Диксон ходить. Белову хотелось простора.

Контору Северного управления МВД СССР начинали строить в начале марта, когда он улетал в Красноярск принимать «Полярный». А еще две улицы нового жилья для офицеров и вольнонаемных. Поговаривали, отсюда будут управлять всеми заполярными стройками, экспортом леса и Северным морским путем. Организация очень богатая, это было понятно по самолетам, которые прибывали и прибывали в город. Привозили начальство и специалистов. Много больших полковников ходили по Игарке, вечером в ресторане места не найти было.

От речного вокзала перекладывали дорогу — снимали сгнившие и поломанные доски и стелили новые. Тротуары уже починили, они пахли свежим деревом, Белов шел и чувствовал под ногами хорошую крепкую работу. Мостки через ручьи и овраги ставили с перилами, под ними еще лежал снег, вытаивал зимний мусор. На каждом шагу попадались привычные таблички: «Не курить!» и «No smoking!» для иностранцев, впервые попавших в город, где все — дороги, тротуары, дома — было деревянное. То тут, то там под охраной стрелков эски тесали топорами опорные бревна, пилили доски, копали ямы под столбы. Неужели освещение поведут? — не верил глазам Белов, вспоминая темные полярные ночи. На месте старого кинотеатра «Октябрь» строилось большое здание с колоннами. Сносились ветхие торговые ларьки, которые в народе звали по-простому — балки<sup>25</sup>, и ставили новые.

Двухэтажное здание Северного управления бросалось в глаза свежим сосновым брусом, но больше — не по-северному огромными, в два человеческих роста, сверкающими на солнце окнами. «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к победе коммунизма!» — красный транспарант был растянут вдоль всего здания между первым и вторым этажами. Белов зашел за угол и нацепил орден, это иногда помогало.

В Управлении кое-что еще доделывали, пахло свежими стружками, вставляли окна в коридоре, но на дверях уже были приколочены таблички. Белов нашел «Отдел водного транспорта» и, постучав, вошел.

Через сорок минут он, довольный, сбегал по широкому крыльцу — его срочно отправляли в низовья. Даже продуктовые деньги выдали на два месяца вперед. Диспетчер оказался толковым интеллигентным дядькой не из местных. Расконвоированный, похоже...

Беловы имели отдельную комнату в длинном бараке. Вход в него был с торца, сразу направо общая кухня. Белов поздоровался с соседкой, стоявшей у плиты.

— Ой, Сан Саныч, ты откуда? — удивилась жена знакомого капитана, выглядывая в коридор. — Моего там не видел?

— Не видел, Катя... Я из Ермаково!

Зинаида спала крепко, не услышала, как он открыл дверь. Приподнялась испуганно и недовольно на локте и, увидев Белова, улыбнулась смятым лицом:

— Александр Александрович! Явились, не запылились! — Зина зевала, улыбалась, раскрывая объятия, и Белов запер дверь на крючок.

— Ой-й, — Зина сладко потянулась и, заголяясь, подвинулась к стенке. Белье на ней было прозрачное. Незнакомое. Ее призабытые запахи кружили голову.

Потом Белов сидел в одних трусах на кровати, гладил гладкое бедро жены и быстро рассказывал, как ему сегодня повезло с начальством и его отправляют в низа́.

— Поедем со мной?! — Белов решительно смотрел на Зинаиду. — Ты знаешь, какой там Енисей! Пятьдесят километров, берегов не видно! А?! Рыбы всякой, зверья... Поедем!

— Ну Са-аня, ну что я там буду делать? Повариху хочешь из меня... — она изогнулась, как кошка, одной рукой ухватилась за спину мужа, другой ловко и бесстыдно залезла в черные семейные трусы Сан Саныча. — Только приехал — и уезжаешь!

Белов ойкнул, схватил ее за руку и глянул на окно, завешенное простыней. Зинаида была ненасытная, и от этого ему еще больше хотелось забрать ее с собой... Она не дала ему говорить.

---

<sup>25</sup> Балок — небольшой жилой домик вроде сарая. На Енисее и сейчас торговые ларьки называют балками.

Потом пили чай, у Зины были московские конфеты и совсем не было еды в доме. Даже сахару не нашлось. Белов оставил ей денег и пошел на берег. Вскоре исчезла и досада на жену. Он широко шагал, представляя, что уже завтра может уйти в просторы Енисейского залива.

Навстречу вели большой этап. Охранники шли по тротуарам, зэки — пятерками по разъезженной за зиму деревянной мостовой. Из нее местами проступала и хлюпала грязь, где-то поломались и задрались доски. В первом ряду, слегка рисуясь, шли козырные. Одеты каждый на свой лад, в хороших сапогах, свитерах или пиджаках. Только у одного под мышкой был небольшой кожаный чемоданчик — «балетка», остальные — с пустыми руками. И все в прическах, крайний справа, ближний к Белову, был с длинной, падающей на глаза челкой. Белова завораживали такие колонны, он отошел в сторону и остановился.

При виде зэков у него всегда возникало безотчетное чувство опасности, он злился на себя, потому что никогда не знал, как себя с ними вести. Особенно с блатными. Зэков много было в крае — в очереди в магазине, на базаре, на пристанях — их было видно по лицам. Отсидевшие и оставленные на поселение, они жили по своим законам. В Игарке и в Дудинке образовались поселки из бывших, куда милиционеры по одному не ходили.

Этап небыстро двигался вдоль длинного забора лесозавода с колючей проволокой поверху. За этим забором им предстояло работать, готовить пиломатериал из ценной ангарской сосны для заграницы. Такие же зэки, а может и кто-то из них, пилили эту сосну всю зиму за тысячи километров отсюда. Миллионы кубометров прошли через их руки.

Этап был из «Ермачихи». Из-за ледохода их почти месяц везли сюда в вонючем, прокуренном, холодном трюме. Две тысячи человек.

В строю почти не разговаривали. «Шире шаг! Подтянись!» — раздалось у Белова над ухом, и он невольно отступил еще. Неровные колонны стриженных и давно небритых людей шли и шли мимо, конца им не видно было. С мешками, узлами, фанерными чемоданами, бушлатами, тулупами и пальто в руках. В обвислых ватных штанах и телогрейках. Один немолодой усатый дядька внутри строя, увидев Белова, вдруг ожил глазами, вскинул руку, но строй уже прошел мимо. Белов глянул ему вслед, и тут же потерял, не отличить было от других. Бритые, седые, белобрысые и темные затылки под ушанками колыхались и колыхались в такт шаркающим шагам.

Молодой чернявый мужик в истрепанном тулупчике отвел с дороги коня с телегой, груженной обрезками досок. Стоял, держа лошадь за морду и угрюмо покуривая. Лошадь тоже недоверчиво косилась на этап из-под его руки и временами вздрагивала всем телом.

Белов остановился возле новенького продуктового балка, американская тушенка была выставлена в витрине. Когда подошла его очередь, нагнулся в маленькое окошко:

— Десять банок, здрасьте... Спирта нет? — спросил на всякий случай.

— Не торгуем! Куда вам?!

Белов составил тушенку в авоську и пошел в столовую, по вечерам она работала как ресторан и там должен был быть спирт. Белов вошел и через гулкий зал с высокими потолками направился к буфету. У него с этой столовой было связано немало веселых историй. Народу было мало, два летчика стояли у стойки. В фуражках с голубыми околышами, собачьих унтах и летных меховых куртках нараспашку.

— Белов! Сашка! — раздалось от большого стола у окна. Это был Брагин, механик с «Новосибирска», однокурсник Белова. С компанией флотских, гогот и дым стояли столбом.

— Подойди, ты что?! — Брагин был уже прилично веселый, махал рукой.

Белов покачал головой, пейте, мол, без меня, и отвернулся. Молоденькая буфетчица Аня Самаркина в белом крахмальном передничке качала спирт из двухсотлитровой бочки в большую стеклянную банку. Туда-сюда двигала металлической ручкой альвеера<sup>26</sup>. Спирт тек ржавый, Аня приподняла банку над собой и глянула на свет. Еще две банки отстаивались на витрине, на дне просвечивал темно-коричневый осадок, спирт в них был почище, но еще желтовато-мутный.

---

<sup>26</sup> Альвеер — ручной насос для жидкостей с рукояткой-рычагом.

— Давай наливай, Анюта, не томи! — просил летчик.  
— Как я вам налью, напиток еще несветлый... — Аня шатнула бочку — там было много. Она деловито дунула на упавшую прядь волос, вытерла руки и встала к прилавку.

— Саня, друг... — Николай Брагин облапил Белова. — Айда с нами садись, у нас полно всего... — он кивнул на стол.

— Здорово, Коль, я ухожу сегодня, народ еще нанять надо...

— Кончай, ты что? Прими стакашку с «Новосибирском», мы ночью зэков две баржи притащили... а утром они шухер подняли — слышал, стреляли?! Ты когда пришел? — Брагин тянул Белова к столу, размахивая свободной рукой.

Чуть не выбил графин из рук летчика. Тот строго, но благодушно посмотрел на Николая:

— Братишка, крылья поломаешь!

— Следующий! — обратилась Аня к Белову.

— Мне две трехлитровых...

— На вынос не продаем! — Аня невозмутимо смотрела на Сан Саныча.

— Анечка, мы уходим сегодня... — Белов застеснялся, они с Аней были знакомы.

— Вам всем на вынос, а меня с работы погонят! Куда тебе?

— А у тебя-то нет банки?

— И банки у него нет... — она нагнулась под прилавок, округляя юбку, выше которой красовался белый бантик от передничка. Белову доводилось его развязывать, и он даже малость покраснел и убрал глаза от знакомых округлостей буфетчицы. — Вот, из-под компота персикового, ее не отмоешь, сладкая будет...

— Давай сладкую, — согласился Белов.

Она еще раз стрельнула в Белова глазами и пошла в подсобку сполоснуть банку. Летчики, ожидавшие своего спирта, перемигнулись весело на краснощекого речного лейтенанта.

Белов вышел из столовой. Одной рукой прижимал к груди тяжелый и ненадежный бумажный мешок с тушенкой, в другой, в авоське колыхалась пятилитровая банка, налитая до краев. В прорези жестяной крышки всхлипывала мутноватая стоградусная жидкость и доносился приятный запах. Белов вспомнил, как буфетчица назвала спирт, и улыбнулся соглашаясь. Важно теперь было донести «напиток» до буксира.

Он аккуратно спускался по длинной лестнице к реке, когда его догнала повариха Нина Степановна с двумя огромными авоськами из грубой крученой нитки. В Игарке с продуктами было намного лучше, чем в Красноярске. Егор с Сашкой несли по мешку на плечах: один с мукой, другой с сахаром, — понял Белов.

— Здравия желаю, — весело поздоровалась повариха с капитаном.

— Здравсьте и вам, чего-то немного? — улыбнулся Белов, пытаясь пошутить.

— Не унесли, сейчас еще сходим... Комбижиру взяла хорошего, — хвасталась довольная кокша.

Белов спускался медленно и даже улыбался так же осторожно, спирт нет-нет, а выплескивался и тек по ребристому боку банки.

Повариха «Полярного» Нина Степановна Трофимова второй год работала с Беловым. Всю войну прошла ротной санитаркой. По передовой ползала, под артобстрелами и бомбежками лежала, и ранена, и контужена была, и в людей стрелять приходилось. Всем на судне, независимо от возраста, даже и Грачу, она была мамой. У кого где чего заболело — все тянулись к ней. Она ни с кем не дружила, да как будто никого особо и не жалела, а люди шли. Готовила хорошо, в отличие от многих поваров, с которыми пришлось работать Белову, ничего не притыривала. Ни семьи, ни родных у нее не было, может поэтому в гарманже<sup>27</sup> в конце навигации всегда оставались продукты. Единственной бедой, которая время от времени случалась с кокшей, были трехдневные запои. Она тихо сидела в углу кухни и ни на кого не реагировала. Пила чистый спирт, запивая холодным чифирем, и курила. И все три дня не спала. Иногда негромко и сокрушенно с кем-то разговаривала, покачивая головой. Она была тихая и спокойная, но отобрать у нее выпивку никто не осмеливался.

---

<sup>27</sup> Гарманжа — склад, где хранилась провизия общего пользования (общекотловая, общий котел). От французского «garde manger». Взявший что-то на складе записывал это в книгу учета.

Еще сверху, подходя к судну, Белов видел кучки людей у парохода. Он отдал спирт Егору, сам вышел на берег. Люди сгрудились вокруг. Светлоголовые прибалты и немцы в основном. Были и другие, немало и раскосых глаз смотрели на капитана Белова. Он глядел в эти глаза и чувствовал себя неловко — ему нужно было всего четверо-пятеро из этой волнующейся толпы.

— Товарищ лейтенант, кочегаром берите... Гражданин начальник, я масленщиком три навигации работал! — тянули руки, ушанками и кепками трясли над головой.

— Так, потише! Радисты есть? — спросил Белов.

Толпа замялась, люди стали озираться друг на друга.

— Радистов нэма, тут одны кочегары!

— Азбуку Морзе кто знает? — уточнил Белов.

— Я знаю, — как будто нехотя ответил голос откуда-то сзади, сквозь толпу протискивался высокий парень.

— Еще кто? — спросил Белов.

Больше радистов не было. Подошел главный механик Грач.

— Выбирай себе моториста, Иван Семенович, — сказал Белов и поманил рукой радиста.

Они отошли к судну. Парень был ровесник Белова, волосы так же зачесаны назад, только светлые. Глядел прямо и независимо.

— Возьмите лучше кочегаром, — попросил неожиданно.

— Почему кочегаром? — не понял Белов.

— У меня справка, — он показал «Удостоверение ссыльного» — потертую бумажечку с печатью, аккуратно сложенную в тонкую книжицу, — особый отдел не разрешит радистом.

— Ты откуда?

— Из Эстонии, учился в мореходке в Таллине, зовут Йохан.

— Бывает, что разрешают... — Сан Саныч внимательно изучал эстонца. — Попробуем.

В кочегары Белов взял двух молодых крепких литовцев. Оставалась матроска. Женщин было немного. Потертую жизнью разбитную краплю с папиросой в щербатом рту Белов отставил сразу, не подходили и пожилые — работы было много и условия тяжелые. Остались говорливая смазливая бабешка в цветастом платке и черном плюшевом пальто и молчаливая, односложно отвечающая немка из Саратовской области. Белов взял немку. Ее звали Берта, она была светлобровая с прыщами на лице. Бабешка в плюшевом пальто страшно возмущалась, хватала Белова за рукав и в запале назвала конкурентку фашисткой, отчего бледные щеки Берты покрылись розовыми пятнами.

Грач выбрал в помощники механика высокого дядьку с умным лицом, боцман привел знакомого мужика в матросы. Мужик был крестьянин, с виноватой открытой улыбкой, крепкий, кривоногий, и сильно окал. Надо было согласовать всех набранных в Управлении. Там не сразу все получилось, не было начальника Третьего отдела, и окончательное оформление отложили на утро. Неутвержденные, опасаясь потерять место, снова пришли на берег. Люди, которых не взяли, тоже сидели на бревнышках у «Полярного», еще больше народу толклось у пристани пароходства, где стоял большой колесный «Новосибирск».

Встали под уголь к барже-углярке. Первый штурман, а по-простому старпом, Сергей Фролович Захаров объявил общий аврал, сам, переодевшись в грязное, распорядился работами. Фролыч был потомственным речником, сыном знаменитого лоцмана с Подкаменной Тунгуски, крупный, слегка толстоватый и очень сильный. Он мог работать сутками. На морозе, жаре, не уставая, улыбался только чему-то внутри себя. Потом столько же спал.

Белов остался в рубке, приводил в порядок бумаги, завел новый вахтенный журнал. Разложил лоцманские карты низовьев Енисея, прикидывая маршрут. За стенами рубки усиливался рабочий шум — гремели сапоги по металлу палубы, уголь посыпался в гулкий пустой бункер. Двое на барже грузили лопатами из кучи, двое катали тачки. Борт «Полярного» был выше баржи, и тачку надо было вкатывать по трапу в горку. Здесь стоял старпом с длинным металлическим крюком — подхватывал тачку за «рыло» и помогал вкатывать.

«Полярный» брал в бункера сорок тонн, и еще тонн пять досыпали прямо на палубу, на корму. Этого хватало на пять дней хорошей работы машины.

На палубе углярки с лопатой в руках появился главный механик Грач. Корабельное начальство никогда не участвовало в погрузке, но Белов промолчал — народу было мало, могло затянуться до утра. Сам пошел переодеваться. Когда он появился на палубе, там уже добавилось народу. Улыбчивый мужичок, подрядившийся матросом, в тельняшке, на которой дырок было больше, чем живого, и первый помощник механика в выцветших брезентовых штанах, явно пошитых своими руками, тоже катали тачки. Белов одобрил про себя мужиков, краем глаза глянул на берег — кочегары сидели на бревне и смотрели за работой. Имеют право, — подумал Сан Саныч, — не устроены еще... Он надел верхонки и встал в пару к матросу Сашке. Четырьмя тачками дело пошло живее. Сашка, чувствуя рядом капитана, черпал с верхом, выгибался всем телом, заносил большую лопату с углем на высокий борт тачки.

— Сашка-шкерт, не бери помногу, — заругался Белов беззлобно.

— Я всегда так! — кряхтел матрос.

Белов жилы не рвал, втягивался помаленьку, к такой работе он был привычен. Не сосчитать, сколько угля в своей курсантско-матросской жизни он перелопатил... Тачечники, вздувая жилы на шее, разгонялись по грязной палубе, вкатывали до середины трапа, старпом подхватывал крючком передок, и они вместе опрокидывали тачку в зев бункера. Мелкий уголь сыпался мягко, крупные куски грохотали в борт.

Верхний мокрый слой угля сняли, полетела пыль, ветер подымал ее, пот тек темными ручейками по лицам.

— Перекур! — объявил Грач и присел прямо на кучу, где только что брал. — Я в сорок шестом на «Победе» работал, вот там были авралы! Двести тонн только в трюма брали! А еще на палубу пятьдесят... Сутки грузили всей командой!

На баржу поднялись кочегары-литовцы.

— Что такое, ребята? — весело спросил Грач.

— Мы можем работать, только одежды нет... — спокойно глядя на Сан Саныча, ответил тот, что был пониже. Он говорил с сильным акцентом. — Меня Повелас зовут, а это Йонас.

— Егор, найди им одежду, — распорядился Белов.

И снова заскрежетали лопаты, полетела пыль и покатались тачки. Большой командой дело пошло живее, и уже через час левый бункер заполнился и буксир дал ощутимый крен, как будто специально нагнулся, подставляя борт работающим людям. Старпом, кликнув матроса, пошел перекаптоваться. Все сели покурить. Егор разлегся прямо на холодной черной куче.

Дело шло к вечеру. Ветер стих, появились первые в этом году комары.

— Ой, вы родимые, — Грач хлопнул себя по щеке, — какие же вы мне знакомые песни поете...

— Весна идет, — поддержал, улыбаясь, пожилой окающий матрос. Фамилия его была Климов. — У нас дома уже озимые по колено. — Он опять виновато улыбнулся, извиняясь за свои мысли.

Нелепо накрененный на один борт «Полярный» коротко гуднул и стал разворачиваться пустым правым бункером к погрузке. Снова кинули трап. Старпом крепким клубком выкатился из рубки, на ходу закручивая на обратную сторону козырек истасканной рабочей фуражки. И снова полетела пыль.

— Па-аберегись! — сипел грозно Грач, больше опасаясь, чтобы его не сбили.

— Дорогу, братцы! — просили одновременно прыщавый матрос Сашка и щербатый Николай Михалыч, неутвержденный первый помощник механика.

— Подходи, православный-и, у меня дешевле! — зазывал вологодский матрос Климов, вгрызаясь лопатой в уголь.

— Сергей Фролыч, лови меня, родимый! — кричал Грач, шагом подкатывая тачку и отдавая ее на крюк старпому. Фролыч перехватывал и, разгрузив, возвращал деду.

— Иди, старый, отдыхай уже! — не раз предлагали ему, но Грач не сдавался.

— Вы без меня тут не управитесь! — дед отъезжал в сторону, прикуривал недокуренную самокрутку и, выждав паузу, продолжал самым серьезным голосом: — Да и скучно в каюте без старухи-то! А?!

Раздавался дружный смех, Грач чувствовал себя в центре событий:

— А вы как хотели, стервецы зеленые?! Думаю, к кому сегодня пойтить — к Степановне али к немке? Пойду к немке, она помоложее вроде...

И опять общий смех и улыбки сквозь черную угольную пыль, хруст и скрежет тачек по металлу. На берегу народ прислушивался, тоже улыбались, хотя ничего не слышно было. Невольно улыбались на радость других. Когда люди работают и смеются, это неплохо!

Вработались и действовали слаженно, силы сами собой распределились: на погрузке стояли мускулистые, привычные к лопате литовцы и матрос Климов. Каждому по силам сыпали — Грачу полтачки, старика и с ней шатало, чуть больше худому и беззубому помощнику главного механика. Фамилия его была Померанцев, он время от времени терял очки, но не сдавался, видно было — и хочет, а не может прибавить шагу. Боцман и капитан возили полные.

— В тачке, Сан Саныч, когда с верхом, два с половиной центнера! — кряхтел притворно недовольно Грач. — Успеешь надорваться!

Белов улыбался, он разохотился и вкалывал с удовольствием, ему нравилась его команда. На реке все зависело от людей. Берта вышла из кормового кубрика, выплеснула из ведра за борт, набрала чистой воды и снова исчезла в трюме. Степановна временами показывалась из камбуза с папиросой, ужин, видно, уже был готов, но молчала, работе не мешала.

Еще часа через два наполнился и второй бункер, и Белов скомандовал: «Шабаш!»

Все закуривали довольные, не расходились, как будто еще хотели побыть друг с другом. Комаров давили, расслабленно посмеивались, куревом угощали, похваливали каждый свое. Закатное солнце не садилось, но, чуть погрузившись в горизонт, оранжевым колесом катило дальше на север, как ему и положено было вести себя белой ночью.

Нина Степановна выглянула из камбуза:

— Пирожков закусите, Сан Саныч... Сюда подать или в кубрик? Больно уж вы черные...

— Давай сюда!

Степановна вынесла большую кастрюлю. Толкнула ногой тачку, повалив ее набок. Поставила кастрюлю. Сашка нес следом ведерный чайник и кружки.

— С чем пирожки? — поинтересовался кто-то.

— С картошкой да с луком... рыбы-то нет еще пútней, одна щука... — ответила повариха.

Из кастрюли хорошо пахло, пирожки были жареные, каждый с добрую мужскую ладонь, горячие еще, не осевшие. Все улыбались поварихе, но никто не брал пока. Курили.

Некурящий Белов взял пирожок, поблагодарил мужиков, новеньким назначил быть к восьми утра и пошел в душ. Сначала отмыл руки и лицо — черно текло, как с трубочиста. Потом встал под сильную лейку. Душ на буксире был добрый, горячей воды залейся. Капитан намыливал мочалку, думал о Зинаиде, до которой было двадцать минут ходу, его охватывала нервная дрожь, и он начинал непроизвольно улыбаться. Он, правда, не сказал ей, будет ли сегодня, но так даже лучше, мечтал Сан Саныч. «Только бы дома была!» — почти пропел он, представляя, как приходит домой и обнимает не ждущую его жену. Он запахнулся полотенцем и пошел к себе.

Комсостав помещался в носовом кубрике. Белов спустился по короткой и гулкой металлической лесенке — направо была его каюта, такая же налево была распахнута — главный механик откинулся на спинку стула и вытянул ноги. Уголек на старом лице осел согласно морщинам, самокрутка дымилась в банке-пепельнице. Даже боевые усы Ивана Семеновича устало пообвисли. Дверь в четырехместную каюту, где жили старпом и боцман, тоже была открыта — эти что-то обсуждали оживленно и громко смеялись. Белов заглянул, два голых мужика ходили по каюте. Егор застеснялся капитана, обтянулся полотенцем.

— Идите мойтесь, там свободно! — улыбнулся Сан Саныч и вернулся в каюту.

— Сан Саныч, — раздался сиплый голос механика.

— Здесь я, Иван Семеныч!

— Надо бы тяпнуть сегодня... вот что скажу! Имею такое намерение!  
— А как же печень, товарищ главный механик?! — раздался голос старпома.  
— Вы ишшо, Сергей Фролыч, стоя какали, когда я ту печень тренировать начал... — отвечал механик. — Выпью сегодня, раз такого дела душа хочет! Очень, скажу я вам, мне первый помощник понравился. Обходительный товарищ! И от тачки не отказался!  
— Выпить можно, — согласился Белов. — Кто ночевать остался?  
— Механик да матрос, кочегары ушли... — ответил Егор.  
— Егор, — окликнул Грач, — завтра мужикам насчет вшей-клопов скажи! Не натащили бы!  
— Уже сказал, Иван Семеныч.

Остальная команда помещалась в кормовом кубрике, он был примерно такой же, что и носовой, но без переборок и поэтому казался больше. Нина Степановна отгородила двумя простынями женский угол, в котором стояли двухъярусная кровать и двухэтажная тумбочка вроде шкафа.

На ужин Степановна отбила трехлитровую кастрюльку золотистой щучьей икры и нажарила котлет. Картохи наварила минусинской. Сели в просторной старпомовской каюте.

— Тебе как лить, Сан Саныч, по-простому или с форсом? — Грач взялся за бутылку, лицо распаренное, щеки прямо свекольные. — Мы теперь на какой же широте?

— На шестидесятой, Семеныч. Ты не иначе и правда с поварихой мылся, — старпом протискивался за стулом механика в свой угол.

— Лей по широте, Семеныч, чего уж думать! — Белов нарезал хлеб.

— Всем по шестидесятой лью! — Грач натренированным глазом расплескал по стаканам чистый спирт, долил воды, чтобы получилось шестьдесят градусов крепости. — Ну, за навигацию!

Выпили. Навалились на котлеты и пирожки. Белов решил, что выпьет и пойдет домой. Так даже лучше. Зинаида точно будет дома. Так он думал, голодный, жуя полным ртом и весело поглядывая на товарищей.

Закурили, разговорились, обсуждали новых людей в команде, предстоящий поход «на низа́» и начинающуюся большую стройку. Сталинскую Магистраль, как писала о ней местная газета. Прикидывали, сколько на самом деле приехало комсомольцев-добровольцев, поспорили, зачем эти комсомольцы вообще здесь нужны, если ссыльными забиты все поселки. Допоздна просидели, и домой Белов не пошел. Утром подскочил, когда Грач громко уронил что-то в своей каюте.

На берегу снова начал собираться безработный народ. Белов ходил с новенькими в Управление, особист согласовал всех, кроме радиста. Сан Саныч отправил людей на судно, сам заспешил домой.

Зины дома не было. Белов искал по карманам ключ, из двери напротив вышла соседка с тазиком выстиранного белья:

— Здорово, капитан, свою ищешь? Не ночевала сегодня! — сказала, почти ни на что не намекая, и пошла к выходу.

Белов открыл дверь, остановился, думая над словами соседки — Зина с ней вечно что-то делила в кухне, — хотел спросить, но не стал. В комнате было прибрано. Он постоял, почесывая пахнущий одеколоном подбородок, посмотрел в завешенное окно. Посидел для приличия пять минут и отправился на «Полярный».

## 12

До Дудинки было десять часов хода. Начинались открытые места, покачивало, боцман стоял за штурвалом, Белов пошел осмотреться. На широком и прямом Никольском плесе раскачало как следует. Задувал Север, «Полярный» крепко долбило в правую скулу, брызги как следует уже залетали на палубу, почти до рубки. Белов пробовал крепежи трубы, мачт, укладку тросов на корме. Проверил задраенные люки и спустился в машину.

Паровая тяга — не дизель, работала мягко, без вибраций, Грач устраивался покемарить в своем углу. Малолетний масленщик, по-речному — маслопуп, Вовка Лупарев, увидев капитана, встал с порожка и подошел к живым механизмам с длинноносой масленкой в руках. Шатуны ходили ритмично,

маховик размером с автомобильное колесо вращался. Вовка привычными движениями капал масло в нужные места. Первый помощник разложил книгу на коленях под лампой, поднял голову навстречу Белову, улыбнулся и встал. Сиди, махнул рукой капитан, подвернул к себе название. Не по-русски было:

— На каком языке?

— На немецком, хочу родной передатчик починить, — улыбнулся Померанцев.

— Он с прошлой осени не работает... — Белов недоверчиво глянул на беззубого инженера.

— Попробую... — помощник механика снова уткнулся в схему.

Таких подчиненных у Белова еще не было. Сан Саныч, не учивший языков, был слегка горд тем, что в команде есть человек, понимающий по-немецки. Ему вообще этот бывший инженер нравился. Померанцев, будто читая его мысли, снова улыбнулся, прикрывая рукой щербатый рот. Без зубов-то некрасиво ему, подумал Белов и заглянул в кочегарку. То ли Йонас, то ли Повелас, Сан Саныч пока не помнил, как кого зовут, сидел в уголке, раздетый до пояса, угольная пыль, смешанная с потом, текла по белому, худому и крепкому телу, лицо замотано тряпкой. Под котлом хорошо гудело в обеих топках. Белов постучал по манометру, проверяя стрелку, одобрительно кивнул и стал подниматься наверх.

К Дудинке подходили в полночь, подсвеченное низким солнцем село на высоком берегу было видно километров за десять. Нестройные улицы расплзлись по холму, уходили за перегиб, куда-то в тундру. Справа границей села была речка Дудинка, за ней улиц уже не было, только мелкие и беспорядочные сарайки да балки, будто высыпанный под угор мусор.

Как и почти все енисейские села, Дудинка строилась хаотично, двухэтажные купеческие дома с балконами и колоннами соседствовали с покосившимися, вросшими в землю халупами. Где-то строения грудились, жались друг к другу, и тут же рядом были незастроенные, а может выгоревшие пустоши. Село было большое, деревянное, темное от старости. Ночное солнце с другой стороны Енисея высвечивало на склоне редкие беленые фасады. Дом культуры, как греческий храм, горел колоннадой и высоким белым фронтоном. Сразу за селом в тундре были выгорожены большие зоны с вышками по периметру. С реки их не видно было. Мужские, женские, усиленного режима, пересыльная... Это были лаготделения гигантского Норильского исправительно-трудового лагеря.

— Вон наша баржонка! — показал Белов на лихтер напротив угольного причала.

— «Норилка», — прищурился Грач, — там Горюнов Нестор Алексеич шкипером.

Лихтер «Норилка» был морской, как и «Полярный», дореволюционной, голландской постройки, ладный, с приподнятой над кормой жилой надстройкой. Трюмы были загружены с избытком, палуба и на метр не поднималась над водой. Трое матросов укладывали щиты на грузовые трюмы и затягивали их брезентом. Ветер мешал, рвал из рук тяжелую влажную ткань. Шкипер с широкой седой бородой ходил среди матросов, проверял клинья, запирающие брезент.

Подали швартовые концы. Металлический лихтер был раза в три длиннее и шире, а главное тяжелее, даже не вздрогнул от касания буксира. «Полярный» покачивало на волне, скрежетало металлом борт о борт. Шкипер поднялся на кормовую надстройку и оперся на фальшборт<sup>28</sup>. Ветер заворачивал его белую бороду на плечо, но старик не обращал на нее внимания.

— Здравствуй, Нестор Алексеич! — поприветствовал товарища Грач, поднимая руку. — Здорово, водоливы! — кивнул матросам.

— Здравствуй и ты, Иван Семеныч, как жив-здоров? — сдержанно улыбался шкипер. — Ты, значит, нас потащишь?

— Доброго здоровья, Нестор Алексеич! — Белов вышел из рубки, застегивал черную форменную шинель. — Готовы?

— Всё. Задраились, — шкипер отвернулся спиной к ветру, раскуривая небольшую трубочку.

Белов мысленно проверял готовность буксира к непростой работе. Вглядывался в холодные дали Енисея, откуда продолжал давить ледяной ветер Заполярья.

— Пойдем, однако...

---

<sup>28</sup> Металлическая обшивка, возвышающаяся над палубой. Собственно то, что обычно называется бортом.

— Пойдем... — тряхнул бородой старый шкипер.

Выбрали якоря, и «Полярный», нещадно копя небо, с натугой развернул тяжелый, будто приросший ко дну углевоз. Потянул вниз по течению. Машину пустили почти на полные обороты, а шли совсем небыстро. Начиналась серьезная работа. Грач ушел вниз, послушать, как «пыхтит», Белов с боцманом и старпомом были в рубке. Несмотря на ранний час, никто не спал, старпом, отстоявший свою вахту, попил чай и время от времени сдерживал зевки. Всем было интересно, как поведет себя буксир под такой нагрузкой. Не без тревоги ждали широкого Леонтьевского плеса.

— Ты, Фролыч, даже в океане ходил, а я никогда ниже Дудинки не спускался! — Егор хмуро, почти грозно глядел вперед, будто не вертикальным форштевнем, а сам, своей грудью резал сейчас мутную енисейскую воду.

— Здесь, на низах, работа тоже не хухры-мухры, — спокойно ответил старпом.

Еще до Леонтьевского встречный Северо-восток разогнал хорошую волну. Тяжелый лихтер, принимая тупым широким носом удары, дергал, временами ощутимо осаживал «Полярный» назад. Буксировочный трос был отпущен уже на двести метров, Белов выходил посмотреть, «Норилка» временами скрывалась из глаз, одни надстройки торчали, волны перекатывали через ее низкую палубу, или так только казалось, издали хорошо не было видно. На лихтере все было спокойно, из трубы кухни срывались белые клочья дыма.

Грач поднялся в рубку, вытирая замасленные руки грязной тряпкой:

— Чего ждешь, Сан Саныч, когда кóрму тебе оторвет? — старый механик смотрел строго.

— Ага, Иван Семеныч, сейчас сделаем... — капитан напряженно слушал, как ведет себя судно. И Грач, и Фролыч считали, что надо еще отпустить буксирный трос, Белов инстинктивно сомневался, ему казалось, на длинном тросу лихтер станет неуправляемым. — Ну давай, Егор, метров пятьдесят еще отпускайте мало-помалу!

Егор надел шапку, схватил телогрейку и исчез за дверью.

Матрос Климов, подняв воротник бушлата, сидел на корме и глядел на серые буруны от винта, на зайчиков-белячков, скачущих по вершинам ледяных волн, и, наверное, вспоминал свои ласковые вологодские озера. Задумался, курево погасло между пальцев. Может, и своих кого вспомнил. Никто не знал, есть ли у матроса близкие люди, только виновато улыбался Климов на такие вопросы.

Вдвоем с Егором стравили трос, лихтер отдалился так, что его совсем стало не видно за волнами, трос провис и весь ушел под воду. В рубке добавили тяги, машина запыхтела, и «Полярный» снова повел в полную силу. Трос поднабился-натянулся, весь из воды так и не вышел, но толкать стало меньше — трос брал рывки на себя. Грач успокоился, раскурил свою сигарку:

— Уже и не помню, когда в первый раз сюда ходил, кажись сто лет назад! — главный механик, разглядывал тундру и хмурое небо сквозь мутное от брызг окно. — Целую флотилию рыбаков брали на гак<sup>29</sup> от самого Енисейска и по заливу развозили. Каждый на свои «пески» направлялся и там ловил... Купцы всем командовали. Осенью мы их обратно собирали... — Грач сделал значительную паузу, покуривая. — Рыбы много тогда ловили... А готовили — и сравнивать нельзя, что теперь! Балыки красивые солили-коптили, по старинным рецептам. Так-то висели на рынке!

— Ты уж расскажешь, Иван Семеныч, — добродушно улыбнулся старпом. — Раньше-то, видно, и девки в два разá толще были?! Пойду посплю мало-мало...

— Про девок не помню, — продолжал свою линию Грач, — а царь-батюшка о людях заботился! Купцы двумя пароходами на пески завозили! И драли втридорога с этих артелей: на низа завезут — плати, обратно — опять плати! А правительство царско возьми и поставь еще два парохода казенных на это дело — враз цены упали! И рыбка на рынке намного дешевле стала! Я хорошо помню! Народ тогда весело жил!

Егор слышал эти истории. Им навстречу приближалась точка какого-то судна, зоркие глаза боцмана давно ее заметили, но Егор стоял за штурвалом и помалкивал. Вскоре увидел и Белов.

---

<sup>29</sup> Гак — буксирный крюк.

— Большой кто-то идет... — бинокля на «Полярном» не было, и Сан Саныч, прикрываясь рукой от солнца, пытался понять, кто же это, силуэт был незнакомый. — Иностранец, должно быть. Первый в этом году!

— А чего один, если иностранец? Они обычно с ледоколом идут. Кучей! — Грач тоже присматривался, но хорошо не видел.

— Теплоход! Корпусом<sup>30</sup> идет! — заключил Белов.

Вскоре судно приблизилось, это был большой морской сухогруз «Темза» под английским флагом. Капитаны гудками поприветствовали друг друга. Нина Степановна открыла дверь рубки:

— Есть думаете? Остыло все! — ветер задрал челку и обнажил некрасивый рваный шрам.

— Идем, идем! — заторопился Иван Семеныч. — Идем, мама, не ругайся!

К обеду ветер стих, Енисей сделался почти гладким. Они шли правым, таймырским берегом. На сколько хватало глаз тянулась чуть всхолмленная, покрытая мхом тундра, только вдоль воды и по болотистым лощинкам росли невысокие густые кустарники ивняка. Берега стали плоскими, неба вокруг сильно добавилось, и природа стала суровее. Временами среди пустынного безлюдья возникало неприкаянное, продуваемое всеми ветрами жильё. Фактории, рыбартели... два домика, три... лодки на берегу, сети.

Наконец из-за поворота показался большой поселок Усть-Порт. Он выглядел, как небольшой городок, и очень отличался от других енисейских селений. В 1916 году его начал строить норвежский предприниматель и друг знаменитого Фригьофа Нансена, директор международного акционерного общества «Сибирская компания» Йонас Лид.

Глубоководный порт, ремонтные мастерские, запасы угля для пароходов... Грузы здесь должны были переваливаться с речных судов на морские. Лид назвал это место Усть-Енисейском, что было логично, но название почему-то не прижилось, а закрепилось другое — Усть-Порт.

Строил норвежец основательно. Так, проект Усть-Енисейского порта выполнил инженер путей сообщения Александр Михайлович Вихман — автор проекта Одесского морского порта. Начальная перевалочная мощность должна была составить 300 000 тонн в год.

Для лучшей окупаемости вместе с портом строился и самый современный по тем временам рыбоконсервный завод. Оборудование для него Йонас Лид покупал в Норвегии, служило оно исправно, здесь выпускалась лучшая продукция по всему Енисею — это знали все капитаны.

В двадцатые годы, с приходом советской власти, завод был национализирован, а строительство порта и перевалочной базы брошено. Усть-Порт стал местом ссылки — сначала вольных рабочих завода заменили трудпереселенцами, то есть раскулаченными крестьянами, а затем спецпоселенцами — депортированными немцами Поволжья, калмыками, прибалтами и другими виноватыми перед советской властью народами.

Подшли. Поставили лихтер к широкому пирсу.

Заводские цеха располагались в нескольких непривычных для этих мест двухэтажных каменных домах под добротными крышами. Просторные деревянные склады, разделочные цеха, транспортировочные механизмы, оборудованные погрузочные площадки — заводские строения занимали треть Усть-Порта. Было и жильё — два больших каменных общежития и с полсотни бедных домиков, построенных позже своими силами.

Если бы не дымящая высокая труба кочегарки, Усть-Порт казался бы заброшенным. Людей на улицах не было, только чумазые и не сильно чесанные ребятишки собирались к пирсу. Кто в телогрейке до земли, кто в галошах сорок пятого размера, они напоминали беспризорников.

— Вон вход в мерзлотник!<sup>31</sup> — кочегар Йонас в поту и грязной робе выбрался из жаркой кочегарки. Вместе с Повеласом они, не отрываясь, рассматривали знакомые места.

— Тут мерзлотник большой, на пятьсот тонн! — со знанием дела объяснял Грач. — Возле завода ссыльные хорошо жили!

<sup>30</sup> Идти корпусом — идти порожним, незагруженным судном.

<sup>31</sup> Мерзлотник — подземное сооружение; здесь, в вечной мерзлоте — для хранения рыбы и мяса.

Йонас с удивлением посмотрел на Грача, глаза загорелись что-то сказать, но он сдержался, посмотрел на поселок и снова спустился в кочегарку. Загремел лопатой.

— Вы что же, отбывали здесь? — спросил Грач Повеласа.

— Мы на другой стороне залива, в Дорофеевском... — У Повеласа было рябоватое, попорченное оспой лицо, борода росла плохо, клочками, но черты лица были приятные.

Ребятишки на пирсе боролись, бегали наперегонки с собаками. По берегу, прямо по песку два оленя тянули легкие санки, в которых сидел сухой маленький эвенк. Не слезая с санок, задрал плоское лицо на мужиков и крикнул слабым голосом:

— Здолово, лебята, ульта есь? — и всплеснул двумя руками, как будто от радости.

— Чего он? — не понял Егор.

— Ульта — спирт по-ихнему... — пояснил Грач. — Тебя как зовут? Петька, Васька?

— Ага-ага, — радостно кивал эвенк и все махал рукой, будто предлагал спуститься. — Васька я! Здолово! Ульта-спилт давай?!

Облезлые, линялые олени, с растущими, покрытыми шерстью рогами<sup>32</sup>, стояли, безразлично и устало замерев. За мужиком в санках лежали два больших дыроватых мешка с рыбой. Головы и хвосты торчали из прорех.

— Лыба есь! — похлопал Васька по мешкам. — Спилт есь?!

— Рыбу-то покажь! — сказал Грач, небрежно отворачиваясь.

— Кто он по национальности? — рассматривал рыбака Егор.

— Да бог их разберет. Тут на Таймыре две национальности — саха и зэка! — Грач добродушно рассмеялся.

Васька тем временем неторопливо слез с нарт, развязал мешок и, взяв за углы, вывалил на песок, потом то же самое проделал с другим мешком.

— Таймесок, омуль есь... тли литла ульта давай, бели все! На заводе нет лыба сяс! Не ловят!

— Три литра спирта ему... — передразнил Грач, поднял голову на поселок, нахмурился солидно. — Пару дней простоим, однако, пойду Степановне скажу...

— Эй! — Васька с небольшим тайменем в руках подсеменил на кривых ногах к самому борту. — Один пугылка давай, всё бели, сёрт такой китлый!

Берта в черной телогрейке и нарядном светленьком платочке спустилась по трапу, встала на развилке, думая, куда идти. Потом матрос Климов подошел к кучке местных мужиков, сидящих на бревнах, поздоровался со всеми за руку, стал закуривать. Мужики были ссыльные, он тоже.

Был уже поздний вечер. Егор с Повеласом сходили в поселок, поужинали свежей жареной рыбой и теперь сидели на корме. Разговаривали. Молчаливый Йонас вышел ненадолго из кубрика, покурил, не участвуя в разговоре, и так же молча ушел. У него было необычное лицо, как у актера иностранного кино, только разбитый и криво сросшийся нос портил дело.

— Сколько ему лет? — спросил Егор, когда Йонас закрыл за собой дверь.

— Двадцать четыре... — ответил Повелас, подумав.

— Угу, — поддакнул Егор, возвращаясь к разговору. — И что? Привезли вас в Дорофеевский...

— Ну да. Август был, тепло, в тундре ягоды полно... домой рыбу не разрешали брать, а на неводе можно было есть, сколько хочешь. Мы обрадовались, до этого почти год в колхозе работали, там очень плохо кормили...

— Ты говоришь, вас много было? И что, все литовцы?

— Нет, почему... латыши, русские, финны... На барже везли, послушаешь, как разговаривают — ничего не понятно, столько разных языков! А между собой — все по-русски. Все научились. Нас почти четыреста человек привезли. — Повелас помолчал, вспоминая, головой качнул, будто не веря самому себе.

— Ну и потом что?

---

<sup>32</sup> Олени-самцы сбрасывают рога каждую зиму. Весной рога начинают расти заново, в это время они неокостеневшие и покрыты шерстью.

— Сначала у костров на ветках спали. Нам обещали палатки и печки, потом стало холодно, палаток не привезли, и нам разрешили отремонтировать бревенчатый барак. В нем и жили. Тесно было, нары сплошные в три яруса, на верхних только лежать можно было.

Он замолчал, достал махорку.

— Это все можно было пережить, но в сентябре встал лед, и нам сказали, что работы больше нет — в колхозе не было зимних сетей. Создали одну бригаду... и все! Триста человек остались без продуктовых карточек, то есть — без хлеба! Нам не к кому было обратиться. Комендант поселка отвечал только за то, чтобы мы оттуда не убежали, бригадир все время ходил пьяный... — Повелас задумался, потом поднял глаза на Егора. — Мы не знали, что такое полярная зима, а она начиналась. Не понимали, что надо будет так жить еще девять месяцев, до весны... Мы просто не верили, что так могут поступить с людьми. Люди начали умирать, а мы все ждали, что про нас вспомнят...

— Почему рыбу не ловили? — недоверчиво спросил Егор.

— Бригада ловила, но мало, и все сдавали... ее солили и отправляли куда-то. Один парень положил за пазуху несколько небольших рыбок для своей семьи, и его арестовали. Приезжал суд, было показательное заседание, нас всех согнали, но судья запретил задавать вопросы. Парня осудили на три года и забрали в лагерь, в Норильск. Его мать и младшие братья очень плакали по нему, а он выжил, потому что в лагере кормили. А они здесь до Нового года не дожили...

Повелас докурив самкрутку и бросил за борт.

— Нас было трое — мать, мой брат Витас и я. Мне — шестнадцать, брату — семнадцать. Мать продала все, что было: платья, сережки и обручальное кольцо. Потом мы только побирались у тех, у кого была работа, и у раскулаченных, которых сослали давно. Они были русские в основном. Кто-то из них помогал, кто-то нет, всем они не могли помочь, нас было слишком много. В бараке умирали каждый день. Сначала дети, потом старики... Люди от голода умирают тихо.

— И что ты делал? — видно было, что Егор с трудом во все это верит.

— Мы с братом и с мамой искали то, что люди выбрасывали, хорошо, если это были головы и кишки или не очень протухшая рыба, мама варила это долго... Перед Новым годом мы с Йонасом нашли муку, в мешке немного было, может два килограмма, пошли в барак, и нас увидел комендант. Мы не воровали, мука была мокрая и замерзшая, мешок лежал на улице, возле пекарни, но опять был показательный суд — нас человек десять набралось таких преступников. Отправили в Норильск, а там сразу положили в лагерную больницу — мы еле ходили. Там нас выкормили...

Повелас отвернулся на тихую гладь Енисея. Солнце мягко скользило и переливалось по поверхности, рыбки всплескивались. Скрипела паровая лебедка, вытягивая уголь из трюма лихтера, на камбузе Нина Степановна разговаривала негромко с Бертой, иногда женщины смеялись.

— Мама умерла первая, вскоре после того как меня увезли, потом, весной уже, брат. — Повелас замолчал, глядя за борт, достал махорку, но закуривать не стал. — Семь лет прошло, а все не могу поверить. Кажется, что они где-то живы, не могут же люди просто так погибнуть... просто так... — Он еще помолчал. — Мой брат превратился в скелет, никого не узнавал и ел прямо на помойке, не варил ничего... В мае поменялось начальство, новый комендант разрешил кормить в долг, стали выдавать по триста граммов хлеба, баланду варили из соленой белухи. Но народу к весне мало осталось... Там были хорошие люди... — Повелас поднял глаза на Егора. — Ты Йонаса не спрашивай об этом... У него мама по дороге, на барже еще умерла, он старший остался в семье, он всех кормил, но когда нас с ним увезли в Норильск, — Повелас заговорил совсем тихо, — у него бабушка, дед и сестренки-близняшки остались... Они все там, на фактории, похоронены. Пятилетние девочки были, Гедре и Агне, их все очень любили... — Повелас замер на последней фразе, глядя себе под ноги, потом поднялся и, не оборачиваясь на Егора, пошел на берег.

Егор еще долго сидел и смотрел вниз по реке, туда, где почти у самого Карского моря точкой на карте существовал поселок Дорофеевский. Он никогда там не был, но всегда мечтал — об этих местах рассказывали как о райских для рыбалки и охоты... Он хорошо знал, что такое несытая жизнь, видывал и бессердечных людей, но представить себе, что люди не помогали друг другу... старикам и маленьким девочкам... не мог. Он не верил Повеласу. Люди так не могут... Егор очнулся, встал и пошел в кубрик, откуда звучало радио и слышались голоса.

Выгружались двое суток. Потом снова зацепили лихтер и пошли вниз. Вскоре, на первой же бригаде из трех ветхих балков, увидели мужика. Он стоял у лодки и двумя руками приподнимал за хвост здорового осетра. Поднять его целиком он не мог.

— Ну как я к тебе подойду, милый ты мой, — причитал Грач, высовываясь в окно, — килограмм сорок в зверюге, не меньше! Начались места, Егор, самая рыба здесь!

Фактории и рыбацкие бригады следовали через каждые пять-десять километров, иногда попадались поселки побольше.

— Здесь прибалты в основном, — объяснял Грач Егору, стоявшему за штурвалом, — совхоз «Родина». Тут у них один дед сумасшедший жил, ходит и всем правду-матку хлещет! И начальству, и энкавэдэшникам прямо в глаза: ироды! людоеды! Бога на них призывал к Страшному суду! А что сделаешь — псих! Седой, волосы длинные, борода... босой до самых морозов ходил... А говорил складно, вроде как и не сумасшедший. Да и глаза, нет-нет да и посмотрит так, хитро... Я его видел!

— Литовцы? — Егор вспоминал свой разговор с Повеласом.

— Да кто их знает, прибалты, да и все!

— У них даже язык разный! — не согласился Егор.

— Ну и хрен с ними! Забрали этого деда сумасшедшего, увезли...

— А за что их сослали?

Грач прихлебнул чай, сделал было умный вид, чтобы ответить, но потом расслабился и равнодушно произнес:

— Было, значит, за что. Сам подумай! За просто так разве потащат в такую даль?

— Так их вон сколько! Старухи, дети... Они тоже что-то сделали? — Егор глядел ершисто.

— Ты, Егор, докалякаешься! Больно башковитый, я смотрю! Тебе они что — рулить мешают?! То дело советской власти, пусть думают, куда этих прибалтов и чего они там натворили.

Егор молчал.

— Это тебе наши кочегары мозги засрали?

— Ничего не засрали! — возмутился боцман. — Вас, Иван Семеныч, как что-нибудь серьезное спросишь, вы сразу...

— Что сразу? — нахмурился Грач.

— Да ничего! Я вас спросил, что сделали маленькие дети советской власти.

— Ну это надо! — возмутился старый механик. — Я откуда знаю? Я тебе что, райком?! Ты что пристал?!

— А если вас... вот так же... ни за что выселят? Мне тоже нельзя будет спросить? Вдруг мне захочется за вас заступиться?

— Я старый, куда меня выселят? — Грач замолчал, глядя на Енисей. — Ты, Егор, тут аккуратнее... пески впереди, скоро надо будет налево перебивать, а потом уже направо к поселку... Пойду старпома разбужу, скоро его вахта!

— Да я сам, Иван Семеныч, знаки же береговые стоят... — попросил Егор.

Но механик, нахлобучив ушанку, уже вышел из рубки. Егор включил радио. Померанцев починил и рацию, и радио. Повертел ручку настройки, иностранные станции зашипели, заголосили, потом «Маяк» заговорил по-русски:

«Израиль подписал временное перемирие с Сирией... Началось строительство киевского метро, пройдены первые метры проходки, состоялся митинг... На Украине готовятся к сбору озимой пшеницы...»

Огромная страна, думал боцман, разглядывая грязную снежную пробку небольшой тундровой речки, по которой бегал грязный же, еще белый песок, гуси летали, утки, солнце не заходило. Боцман улыбался чему-то, чему и сам не знал, но приятному — жизнь перед ним открывалась громадная и интересная, такая же, какой громадной была его прекрасная Родина. Года через два-три денег подкоплю и поеду в отпуск в Москву, на метро покатаюсь...

Началась небыстрая, не зависящая от команды «Полярного» работа. Подводили лихтер к поселку, ставили на разгрузку, иногда сами выгружали, за что шла доплата к окладу, но чаще отсыпались, ходили в магазин, если он был, в пекарню... Везде было полно девчат. Белокурых в основном. Потом шли к другому поселку или колхозу. И опять ставили лихтер под разгрузку.

Погода баловала, было ветрено, солнечно и тепло. Только пару раз поштормило несильно. Наступало лето, рыбы везде было много, и стоила она копейки. За рубкой «Полярного», обернутые марлей от мух, вялились большие куски осетров, десяток метровых стерлядей истекали жиром. Нина Степановна котлеты вертела, жарила-парила. Отъедались вволю.

К середине июля пришли в Сопочную Каргу. Это был последний пункт. Лихтер остался разгружаться, а «Полярный», прихватив на гак тупорылую баржонку с полусотней тонн угля и две большие местные лодки, отправился к речке Тундровая, на другую сторону мелкого и просторного для штормов Енисейского залива.

Шли ходко, вода была чище, чем в Енисее, светло-зеленая, бурун за кормой — белый. Вокруг вполне морские уже пространства волновались. Воздух был плотный и по-заполярному холодный. Дул несильный северо-восток, как раз вбок буксиру, покачивало изрядно, волны и на палубу доставали. Небольшие льдины и бревна болтались по всей акватории.

— Хорошо бежим! — Белов даже обернулся, чтобы убедиться, что сзади нет лихтера. — Сейчас еще лодки сбросим... А-а?! Семеныч?! Хорош у нас буксирчик!

— Да как не хорош?! Машина ровненько, легко поет. Прямо барышня с пальчиками... — Грачу самому понравилось свое сравнение, повернулся к капитану. — У немцев в Дорофеевском рыбы хорошей возьмем! Там совхоз Карла Маркса, а мы с Гюнтером кунаки! Немцы лучше всех рыбу солят! Я раньше думал, они, мол, с Волги, и поэтому с рыбой так. А как-то разговорились с Гюнтером, а он смеется: мы, говорит, в заволжских степях жили — самые лапотные крестьяне, у нас даже плавать не все умеют.

Белов внимательно присматривался к чему-то впереди. Руку на машинный телеграф положил, как будто раздумывал — потянуть-нет, но вот перекинул сначала на малый и тут же на стоп. И, подумав секунду, — на задний ход. Сам быстро выкручивал штурвал.

— Что такое? — Иван Семеныч сполз с высокого стула и, щурясь, сунулся к самому окну.

— Мель или торос такой? — капитан напряженно глядел вперед.

Грач вышел из рубки, рукой прикрылся от солнца:

— Льдина, Сан Саныч, морская. Не дай бог в такую влететь...

К речке Тундровая добрались без приключений. Подходили на самом малом, на носу и по правому борту работал с лотом матрос Климов. Резко забрасывал гирьку вперед по ходу судна. Тонкий, размеченный саженьями и полсаженьями линь быстро уходил в глубину.

— Четыре! — кричал Климов, обернувшись к рубке.

Это означало, что под корпусом восемь метров — старпом вел буксир по едва заметной струе, которую давала втекающая в залив Тундровая. Когда до берега осталось метров триста, Климов выкрикнул: «Три!» Белов застопорил машину и вышел из рубки.

— Отдавай правый! — махнул боцману.

Загремела цепь. Подработали, растянулись, чтоб не гоняло, на якорях. Стали спускать шлюпку. Белов, не вмешиваясь, наблюдал за работой команды. Когда стали разворачивать шлюпбалки за борт, одну заело. Егор пытался свернуть силой, но Климов с неожиданной ловкостью для его широкой и словно костяной спины, нырнул под шлюпку, что-то там освободил и легко повернул балку. Егор с Сашкой травил помаленьку. Шлюпка медленно опускалась с невысокого борта.

Грач пришел с потертой кирзовой сумкой, в которой что-то лежало, и с пустыми мешками под мышкой. Сели в шлюпку. Она была еще родная, морская, с длинными, хорошо сбалансированными веслами. Уверенно держалась на волне. Климов легко наваливался на свое весло, улыбался. Егор сидел на соседнем, поглядывал на приближающийся берег.

Жилье было вырыто в береговом откосе. Рядом низкий длинный стол и лавки кое-как устроены из плавниковых бревен. В костре дымились головешки. Два босоногих мужика подошли по воде, прихватили шлюпку и потащили на берег, проваливаясь в илистый песок. Один был высокий, другой — наоборот, маленький и щуплый, как подросток.

— Ну что, враги народа, чем богаты? — выбирался из шлюпки Грач, протягивая мужикам руку.

— У нас врагов нет... все малосрочники, — высокий и большерукий дядька с небольшим пузцом улыбался напряженно и растерянно, будто не знал, можно ли ему улыбаться.

— Да я чай вижу! Это я шутю, — присел Грач к костру. — Вас тут двое, что ль?

— На рыбалке люди, — поспешно пояснил мужик. — Давай, Ваня, поставь кипятку!

Высокий был в пиджаке, давно потерявшем форму и цвет, и в улатанных, закатанных до колен штанах. Грязные босые ноги, стеснительно косолапя, чавкали по грязи. Маленький мужичонка с плоским раскосым лицом присел к костру, подкинул дров, схватил чайник и мелким шажком побежал натоптанной тропинкой к речке.

— Можно посмотреть? — показал Егор на вход в зимовье.

— А чего там смотреть, смотри дак... — кивнул мужик и опять осторожно улыбнулся.

— Вы старший? — Белов не без брезгливости разглядывал грязный босяцкий стан.

— Я бригадир буду. Алексеев. По указу «четыре шестых»<sup>33</sup>, семь лет. Мы тут на командировке. Рыбачим, получается. — Мужик все продолжал оправдываться перед кем-то.

Егор заглянул в землянку. Она оказалась неожиданно большой, запах немытой одежды стоял, горелого рыбьего жира... Было тепло и влажно — у самого входа шаяла<sup>34</sup> печка-бочка с щелястой, из подручного железа скрученной трубой. Труба выходила не через крышу, а торчала вбок тут же, у входа. Егор никогда такого не видел. Если бы не нары, было бы похоже на берлогу.

Под ногами хлюпала грязь, прикрытая мелкими ветками. Небольшое окошко на залив было без стекла, видно зимой вставляли льдину, а теперь она растаяла. Вокруг печки сушились сношенные до дыр портянки. На столе недоеденная яичница из больших ярко-оранжевых яиц. Копченые куски осетра, грязные миски, кружки.

Егор вышел, морщась от вони и убогости.

Все сидели на бревнах вокруг стола. На нем — два кирпича хлеба, привезенные Грачом. Бригадир, выпросив, кто они и зачем приехали, оживился, веселее отвечал на вопросы, иногда брал хлеб в руки... видно было, что хочет понюхать, но сдерживается.

— Так вы всю зиму здесь? — с недоверием спрашивал Грач.

— Ну, — кивнул лохматой головой бригадир, — с декабря муки не видели.

Грач достал кисет и, приготовив клочок газеты, полез за махоркой. Бригадир, не отрываясь, смотрел на табак. Грач протянул кисет:

— Закуривай.

— Да отвыкли уже... Можно? — бригадир потянулся к кисету, но вдруг спохватился и повернулся к мужичку.

— Ваня, ты на стол неси чего-нибудь, рыбу из коптилки достань, икры... Икру будете? Щучья, свежая... И осетровая есть, кто любит. Может, Ваньку за яйцами послать?

— Много гусей? — спросил Белов.

— Полно!

— Это у тебя кто же, калмычонок, что ли? — кивнул Иван Семеныч на молчаливого то ли мужичка, то ли паренька.

— Китаец он. Ваней его зовем, он Ван-Тан-Бан какой-то. По-русски не может, а все понимает. — Бригадир прикурил от самокрутки Грача. — Дневальным у нас шурует, огонь бережет, спичек-то нет... Жратву варит.

— Та он тоже, что ли... в заключении?

— А как же... Мы все, — улыбался бригадир ядренному куреву.

<sup>33</sup> Указ от 04.06.1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества», от 5 до 25 лет лишения свободы.

<sup>34</sup> Шаять — тлеть, медленно гореть.

Белов с Егором на углу стола собирались на охоту. Патроны и оружие делили. Белов пересматривал, какой дробью снаряжены патроны, Егор смиренно сидел рядом и молил бога, чтобы Сан Саныч себе взял ружье, а ему дал мелкашку<sup>35</sup>. Он отлично из нее стрелял.

— В октябре, говоришь, сюда завезли? — пытал Грач бригадира.

— Ну да, лед уже стоял... — кивал бригадир. — Мы из Сопкарги пришли. Наш старшой бутор<sup>36</sup> на собаках вез, а мы пешком... Посылали нас сюда: изба, мол, там хорошая, мерзлотник выкопан, почините, что надо, и работайте. Сеток дали немного да ниток сетных, чтоб сами вязали. У нас тут рыбаки почти все подобрались — с Волги, с Архангельска, я с Вологодской области, с Кубенского озера, не слышали?

— Пешком? — с недоверием посмотрел Грач на другую сторону залива. — Что же тут за рыбалка такая?

— Нам не объясняли, отправили и все. Снег уже глубокий был, целую неделю добирались. С нами бригадир был вольный, он эти места знал... Приходим на речку, а дом-то, значит, сгоревший! Хорошо, палатка была. Мы ее снегом засыпали, потом сверху водой, так и застыло...

Китаец поставил на стол чайник с кипятком и чистые кружки.

— Вы чаю наливайте, мы вот с травками пьем, если не побрезгаете, Ваня собирает. Да закусывайте, чем бог послал. Ваня, наливай!

— Ну-ну, и как же вы? — пытал Грач.

— А как? Тринадцать человек в палатке да печка в середине. Сидя спали. Ни сварить толком ничего... Мы бригадиру — Петрович, надо обратно идти! Не получится тут работы, собаки вон голодные орут! Мы же думали на рыбзавод ездить, рыбу сдавать, ну и продукты получать... еды немного взяли. Он ни в какую! Мол, если обратно придем, его за саботаж посадят. За срыв производственного задания! Ну, тут он прав, чего уж! Поди докажи, что ты не сам избушку спалил. Мы эки, нам веры нет... с него весь спрос. — Самокрутка у рассказчика погасла. Он положил ее перед собой и бережно прикрыл рукой. — Уехал Петрович от нас. Мы сети ставили, а он всех собак собрал, весь инструмент, гвозди и уехал! Мы возвращаемся, а тут никого! У нас один топор да пешни. Даже ножовку не оставил.

— И как же управились? — Грач с недоверием осматривал их немалое хозяйство.

— А куда деваться? Стали сети вязать, землянки долбили в берегу...

— Зимой? — удивился Егор.

— Кострами грели да копали, — бригадир, перелопативший за свою лагерную жизнь не один кубометр мерзлой земли, посмотрел на Егора с еще большим удивлением. — В берегу-то несложно грунт брать.

— Зачем здесь копали? — Белов тоже смотрел с недоверием. — Избушек много по берегу...

— Мы и так кумекали... — сморщился виновато бригадир. — А как уйдешь? Приедут за нами, а нас нет. Совсем другое дело!

— Это точно! Ваш Петрович знаешь чего оперу наплел, когда вас бросил? — заговорил молчавший до того Климов. — Сказал, что вы от него в бега подались! И все, ничего не докажете, а объявитесь — на Каларгон<sup>37</sup> отправят за побег!

— Ну-ну! Так! — бригадир согласно закивал головой и приложил большую ладонь к груди. — Мы поэтому отсюда никуда.

— Это прямо моя история, — Климов спокойно тянул свою махорку. — Нас в Ухте на деляне<sup>38</sup> бросили зимой, через две недели приезжают, а мы живые! Ну нам по пятерке и довели сходу, будто мы в тайгу убежали, а потом сами вернулись!

— Так мы работаем, сетей навязали, рыбы тонн двадцать уже наморозили!

— От людей зависит... — улыбался Климов. — Если опер нормальный, может и замнет.

<sup>35</sup> Мелкашка — нарезное оружие мелкого калибра (5,6 мм).

<sup>36</sup> Бутор — вещи, снаряжение, пожитки.

<sup>37</sup> Каларгон — расстрельный штрафной изолятор в Норильске.

<sup>38</sup> Деляна, или делянка, — место, отведенное для заготовки леса.

— Опер-то у нас зверь! А мы — тринадцатый лагпункт! Никуда не уходили, работали... Тринадцатый! Ну?! — волновался бригадир. — Как же еще? Мне полгода всего осталось...

— Чего-то вы придумываете, ребята! — Белов встал, надевая ружье на плечо. — Нас же к вам отправили! Значит, помнят о вас, просто так, что ли, лодки вам посылали?!

— Вот и я подумал... — обрадовался бригадир. — И рыбу заберете?

— Про рыбу разговора не было.

— Значит, рыбы-то тонн двадцать всего... Я бригадир, вишь ты, липовый, — суетился бригадир, — мужики сами назначили...

— Рыбу не повезу! — Белову не хотелось делать крик в Сопочную Каргу. — Схóдите сами, лодки парусные...

Капитан с боцманом шли по плотному песку вдоль залива, мутный серый прибой накатывался на ровный берег. Сапоги нет-нет проваливались сквозь песок в вязкий черный ил.

— Сан Саныч, а что значит указ «четыре шестых»?

— Не знаю, Егор... воровство на предприятии, кажется, или опоздания на работу.

— У нас соседа, дядь Колю, у него с войны одного глаза нет и руки, посадили на восемь лет, — Егор покосился на капитана. — Он ночным сторожем в детском саду работал и унес оттуда кастрюлю с картошкой. Пьяный был. Они с мужиками выпивали...

— Ну и что?

— Жалко. Дядь Коля хороший мужик был...

— А чего жалко?! — Белов остановился. — Украл? Вот и пусть сидит! Столько ворья развелось!

— Дядь Коля не вор, он последнее отдаст, — не согласился боцман. — Он в суде на них матом орал, он фронтовик, у него нервы и руки нет, а детей трое маленьких...

Пошли молча. Большая стая уток, низко и совсем не обращая внимания на охотников, пронеслась мимо. Белов поглядывал на небо — птицы летало много, и он соображал, сколько тут можно простоять, — хотелось поохотиться на озерах.

Свернули от Енисея, продрались через прибрежный кустарник и перед ними открылась тундра. Во все стороны уходили за горизонт чуть всхолмленные просторы: высокое небо, большие и крошечные озера, болота с высохшим тростником. Зеленые, рыжие, седые мхи... И все это пространство было наполнено птицами. Егор снял с плеча мелкашку — он уже не раз охотился и в соревнованиях по стрельбе участвовал. Попасть хоть в гуся, хоть в утку ему ничего не стоило.

— На тот бугор пойдем...

Белов не договорил, присел, согнулся и Егор. Совсем рядом с ними, помогая себе большими крыльями, неловко, по кустикам карликовой березки побежал гусь. Охотники от неожиданности даже не подняли оружие, птица взлетела невысоко и тяжело. Белов снял с плеча ружье, Егор, волнуясь и спотыкаясь о кочки, двинулся следом, представлял себе, как надо быстро вскидываться и стрелять. Второго гуся они тоже проворонили, он взлетел сзади, они уже прошли его. На бугорке было большое гнездо, высланное травой и серым пухом. Семь крупных желтовато-палевых яиц лежали. Белов взял одно, посмотрел на свет, потряс возле уха.

— Возьмем? — спросил Егор.

— Не знаю, насиженные уже... Давай разойдемся, надо влет стрелять!

Двинулись порознь. Белов шел осторожно, держал наготове ружье. Егор тоже глядел во все глаза, но двигался быстрее, нетерпеливыми зигзагами. Вскоре поднялись сразу два, Белов выстрелил и промазал, а Егор опять не успел. Стоял, озираясь в досаде. Со стороны капитана раздался выстрел. Белов стрелял в затаившуюся гусыню, она так и осталась на гнезде, по аккуратной серой шее стекала темная кровь.

— На обратном пути заберем, — Сан Саныч перевернул тяжелую птицу и расправил ей крылья, чтобы издали было видно...

Гнездовья стали попадаться чаще, по несколько гнезд рядом. Гуси подпускали хорошо. Егор убил одного, долго его рассматривал, пытаясь понять, гусь это или гусыня, и больше стрелять не стал. Обратно шли тяжело. Птицы оттягивали руки. Вспугивали других, они отлетали и садились на

ближних буграх. Егор уже и пожалел, что не стал больше стрелять, гусей и правда было очень много. Он представлял, как будет рассказывать осенью в техникуме.

Белов, шедший впереди, неожиданно присел и обернулся на Егора. С десятков оленей шли в их сторону. Охотники распластались на мху, Сан Саныч пулями заряжал двустволку, а Егор наблюдал через кусты. Олени светлыми пятнами выделялись на фоне тундры, некоторые были с рогами.

— Из мелкашки нельзя? — зашептал Егор.

— Лучше из ружья... — Сан Саныч замер, глядя на своего боцмана. — Стрельнуть хочешь?

— Угу, — чувствуя, как бухает внутри, кивнул Егор.

— Держи! — Белов протянул свое ружье. — В сердце целься! Я к тому болотцу переползу, если что, толкну их на тебя.

Капитан «Полярного» уполз, смешно виляя задом. Олени шли, нагнув головы, паслись на ходу, но приближались быстро. Егор выставил вперед ружье, локти и колени, утонувшие во мху, давно уже промокли. Волновался, каждую секунду приподнимал голову и смотрел на оленей. И думал с радостью, какая богатая тундра. Сколько здесь всего. Воображал себя в этих краях, как будто живет тут один, добывает мясо и складывает его в мерзлотник на долгую зиму... Два гуся прилетели и сели на соседний бугор. Замерли. Не шевелился и Егор. Гусыня пошвырялась клювом в гнезде и стала устраиваться на яйцах. Егор перевел глаза на оленей — их не было! Он высунулся, заозирался — не было нигде! Увидел Белова, стоящего на коленях и машущего руками. Егор обернулся — олени были у него за спиной! Он вскочил на ноги, прицелился, но было очень далеко! Егор горел со стыда, не смея смотреть в сторону Сан Саныча. Это был позор, такой позор!

— Ты что?! — подбежал капитан. — Чего не стрелял?

— На гусей загляделся! — виновато отвернулся Егор.

— Хо! — Белов опять брякнулся на землю. — Бегут! Кто-то спугнул...

Егор уже лежал за кочкой, прижимаясь к земле. Олени быстро возвращались своим следом.

— Не торопись, подпусти ближе... — шептал Белов.

Егор крепко упер приклад в плечо и, выцелив переднего, нажал на курок. Олень продолжал бежать, Егор выстрелил еще раз. Животное остановилось и глядело на охотников, на светлом боку расплывалось кровавое пятно. Остальные смешались и кучей кинулись в сторону.

Сначала вынесли на берег битых гусей, потом, взявшись за рога, стали тащить оленя.

— Оленуха. Жирная! — пыхтя от натуги, возбужденно радовался Белов. — Ну что, ты рад?!

Остановились, передыхая. С берега поднимался Грач с целой командой босых мужиков. Дичь разобрали и двинулись к землянкам. Белов шел, сосредоточенно посматривая на небо. Север нехорошо темнел. Ветер дул так же ровно, как и утром. Пока они ходили, к берегу подогнало несколько больших льдин.

— Может, еще сходить, им стрельнуть? — показал Егор на мужиков, несущих дичь.

— Уходить надо, — Сан Саныч кивнул на темный горизонт.

— А точно, Сан Саныч, давай оставим им оленуху, — поддержал Егора Грач. — И муки бы дать... Как думаешь?

— Хотите, оставим... — Белов вдруг остановился недовольно. — Вы мне бросьте эту жалость, сирот нашли! Может, они убийцы, вы что про них знаете?! Этот бригадир темнит что-то...

— Ну ладно, Сан Саныч! Их тут бросили, а они работают! С собаками так обходиться негоже...

— Ты меня не агитируй, Иван Семеныч! Продуктов дадим, но и в Сопкаргу про них сообщим... Чего это ты эков так полюбил? По мне, лучше бы их тут вообще не было!

— Ты капитан, тебе и решать, — не сдавался Грач, — но с людьми так нельзя! Давай возьмем их рыбу, невелик крюк...

— Куда возьмем? На палубу? А если шторм прихватит и все разморозится, кто отвечать будет? — разозлился Белов на упрямство механика. — Лодка у них теперь есть, сами отвезут...

Когда готовились отплывать, подтверждая подозрения Белова, подошел бригадир и заговорил негромко:

— Гражданин капитан, извините, мы хотели сказать... у нас тут три покойника! — бригадир смотрел тревожно.

— Где? — насторожился Белов.

— В мерзлотнике... В декабре еще от голода ослабели и всё кашляли, а потом померли. Двое. А один поссать вышел и замерз...

Белов смотрел строго и недоверчиво.

— В мерзлотнике они — кожа да кости, ни драк, ничего не было! Вы бы их глянули, может акт какой составили, а мы бы их схоронили... Нам-то никто не поверит!

— Не пойду я никуда, — недовольно буркнул Белов и направился к шлюпке.

Провозились с лодками, оставили заключенным половину оленя, муки и три пары кирзовых сапог. Егор отдал китайцу свою старую крепкую тельняшку и втихую от Белова отрезал двадцать пять метров веревки из боцманских заначек.

Вышли в восьмом часу вечера. Ужинали поздно, Егор в носовом кубрике рассказывал про охоту, как олени сами набежали на выстрел. Матрос Сашка простыл, лежал с температурой. Климов слушал внимательно, покурявая в иллюминатор. Йонас спал перед вахтой.

В рубке на штурвале стоял старпом, капитан поглядывал на компас, на серенькое небо, небольшой снежок налетал временами. Погода портилась, волна шла с левого борта, и «Полярный» прилично покачивало. Еще баржонка сзади дергала.

— Чего их нагнали?! — Белов рассказывал Захарову о рыбаках и об их покойниках в мерзлотнике. — Тут — бытовики, там — враги народа! Нормальных людей не осталось... Этот Климов, матрос-то новый, такой вроде толковый мужик, а две ходки сделал! Тринадцать лет за что-то сидел. Не просто же так? Я думал, он просто раскулаченный.

Буксир ударило снизу, слышно было, как что-то тяжелое скользит вдоль дна. Белов сбросил телеграф, внизу стопорнули машину, под кормой что-то загремело нехорошо. «Полярный» продолжал двигаться по инерции.

— Балан<sup>39</sup> поймали? — предположил Белов.

— Зевнул малость, — старпом виновато смотрел за корму, ожидая увидеть, что там гремело, но ничего не всплывало. — Похоже, в насадку<sup>40</sup> поймали? Егор! — старпом высунулся из рубки. — Поглядите там!

Без хода буксир раскачало, северо-восток усиливался, гнал волны через огромный залив. С севера шли снежные тучи. Егор, уцепившись за фальшборт, заглядывал под корму буксира. Замахал руками в сторону рубки. Белов, застегивая телогрейку, пошел к нему. Низкая корма «Полярного» то опускалась до самой воды, то обнажала металлическое ограждение винта с застрявшей в нем сосной. Дерево было свежее, с толстыми корнями, ими и заклинило.

— Командуй, Егор! Веревки, топоры! — приказал Белов и ухватился за буксирную скобу, пароход резко и высоко подбросило волной.

Климов принес инструменты и стал привязывать веревку к ручке ножовки. Морщинистое лицо с птичьим носиком было невозмутимо. Буксир лег боком к волне, временами его валко перекадывало с боку на бок. Небо наливалось мраком, темная седина закрыла далекий правый берег, над левым из-под туч холодно светило низкое солнце. Налетел снежный заряд, ударил по палубе, закружил хлестко по глазам. На мгновение не стало видно рубку.

Белов вернулся к штурвалу, злясь, что задержались с рыбаками. С северо-востока надвигался шторм. Опять налетел снег, воздух наполнился острой колючей сечкой. До ближайшего мыса, где можно было отстояться, было миль двадцать. По такой волне — часа два-три, прикидывал капитан.

На корме командовал старпом. Попытались выдернуть или хотя бы повернуть веревками застрявшее дерево, но расклинило крепко, руль не поворачивался, не шевелился вообще. Нина Степановна вышла на палубу с папиросой, смотрела спокойно на работу мужиков, встала к борту по привычке, но не устояла и присела на ступеньку камбуза, держась за ручку. Высокая волна взлетела над кормой, окатила мужиков и достала до кокши.

— Я спущусь, — Климов застегивал телогрейку на верхнюю пуговицу.

— Давайте я! Я ловчее, слышь, Климов! — лез Егор, распутывая веревку.

<sup>39</sup> Балан — бревно.

<sup>40</sup> Металлическое ограждение вокруг винта.

Климов, не обращая внимания на начальника, обвязывался вокруг пояса. Бросили шторм-трап<sup>41</sup>, матрос, оскальзываясь кирзовыми ботинками, полез под корму. Вскоре послышались уверенные удары топора, то глухие, с хлюпаньем, в воду, то звонкие. Держась за фальшборт, подошел молчаливый кочегар Йонас. Белов из рубки наблюдал за работой, волны взлетали и взлетали над кормой, трясли и заливали беспомощный «Полярный» и мужиков.

Ветер давил все крепче, дыбил и рвал волны, небо окончательно затянуло и ничего уже не было видно. Колючий снег стегал окна рубки, набивался серыми наметами по углам. Белов нервно грыз ногти. В рубку, едва не разбив лицо, влетел Грач, матюкнулся, ухватившись за ручку:

— Плохо нас несет, Сан Саныч!

— Знаю, — Белов глянул в сторону приближающегося берега.

— Якорь не хочешь отдать?

— Да вроде заканчивают уже...

— Сразу надо было отдать, гляди там чего! — Грач кивнул на высокие серо-коричневые гряды, идущие на буксир. — Еще пару кабельтовых<sup>42</sup>, и разобьет о грунт! Как горшок лопнем!

Механик зыркнул на капитана и не договорил, в этот момент судно поднялось на высокой волне и резко пошло вниз. Оба почувствовали несильный толчок о дно и замерли, прислушиваясь. Ветер усиливался, волны налетали на корму, на правый борт, брызги и водяная пыль летели через буксир, фальшборт, дуги, окно... все покрывалось льдом. Народ на корме обливало, никто уже не обращал на это внимания, работали, цеплялись. Еще коснулись грунта. Белов высунулся, засвистел пронзительно и замахал боцману.

— Отдавай якоря, Егор, сначала левый!

Егор кинулся к брашпилю<sup>43</sup>. Отдали якоря, судно развернуло носом к ветру. Белов внимательно слушал — до грунта не доставали. На корме Климова вытягивали из-за борта. Он уже плохо гнулся, старпом с Йонасом втянули его на руках. Брючина порвалась по всей длине, оттуда торчала красно-синяя нога. Климов тряхнул окоченевшей рукой, ножовка вместе с верхонкой упала на палубу. Винт был свободен. Белов нагнулся к переговорной трубе:

— Давай самый малый, Иван Семеныч...

Машина заработала, «Полярный» пробовал винт... Дверь в рубку распахнулась:

— Человек за бортом!

— Кто?! — Белов выскочил наружу и увидел, как, вцепившись в спасательный круг, подлетая на волнах, удаляется от борта его боцман Егор Болдырев. Мужики бросали концы, но они не долетали. Егора захлестнуло волной, он исчез, вынырнул уже без шапки и снова вцепился в круг.

— Шлюпка! — заорал Белов, вцепившись в борт, Егора за метелью уже не различить было.

Шлюпку уже спускали.

— Фролыч, Климова возьми... и кочегара! — командовал Белов. — Если далеко унесет, на берег выбрасывайтесь!

Мужики отцепились, пихались от борта, шлюпку жестко взяла вода, придавила, потом резко потянула вниз по волне. Вставили весла, налегли и стали удаляться в бушующие волны. Старпом, раскорячившись, расперевшись коленями, стоял на руле и высматривал Егора.

Пурга добавила, снег пошел гуще, мокрым холодом залеплял лицо. Шлюпка и люди в ней исчезли из вида. Белов, цепляясь окоченевшими руками, пошел в рубку, судно все уже было белым, снег лип даже к тонким растяжкам трубы и мачты. Капитан, хмуро вглядываясь в осатаневшую пургу, представлял, как мужики ищут Егора... если пройдут мимо... и как Егор? Собственной шкурой ощущал беспомощность своего боцмана. Вдруг ему показалось, что совсем недалеко за кормой возникла лодка... Он выскочил наружу, ища ее в снегу и волнах — никого не было. На корме и по борту, облепленные снегом, тревожно ждала вся команда. Белов глянул на часы: шлюпка отошла шесть минут назад, она не могла вернуться так быстро. Оскальзываясь, вернулся в рубку. Дал короткий гудок, потом еще один — длинный, сам все вглядывался в снежные вихри. Померанцев обстукивал такелаж и

<sup>41</sup> Вереvoчная лестница.

<sup>42</sup> Кабельтов — около 200 метров.

<sup>43</sup> Брашпиль — лебедка (на «Полярном» — паровая) для поднятия и опускания якорей и натяжения тросов.

шлюпбалки ото льда, остальные стояли, вглядываясь в пургу. Буксир качало вдоль, корму временами обнажало до винта, потом бросало вниз, взрывая мутную воду. Люди хватались кто за что мог, озирались на рубку, будто ждали оттуда помощи.

В дверь втиснулся облепленный снегом Грач:

— Сан Саныч, давай на пару смычек<sup>44</sup> отпустимся.

Белов нервно посмотрел на механика, взялся было за шапку, но положил на место.

— Что даст? Полста метров?! — он и сам думал так сделать, но это было глупо. — Не будем суетиться, Иван Семеныч, заходи, посохни.

— Ты чего какой спокойный, Сан Саныч? — Грач зло тряхнул снег с усов.

Белов отвернулся от старика в окно. Все были на нервах... Егор не сдастся, это было понятно, если мужики проскочат мимо... Фролыч опытный... Он еще проревел несколько раз подряд и опять высунулся наружу — ничего не видно было.

Прошло пятнадцать, потом двадцать минут. Пора бы уже, понимал Белов... если нашли... в таком снегу могли пройти мимо буксира... Нахлобучив шапку, гуднул еще и выскочил наружу. Чуть не сбил Нину Степановну, она стояла, замотанная платком и залепленная снегом.

— Вон они! — закричал Повелас, показывая по левому борту, совсем не туда, откуда ждали все.

Мелькнуло яркое пятно в пелене снега, шлюпка взлетала так, что обнажались дно, крашенное алым суриком. Потом в вихрях снега проявились весла и люди. На руле сидел кочегар Йонас, на веслах упирались две широкие спины, старпома и Климова, Егор со спасательным кругом на поясе стоял на коленях и держался за борт. Все столпились у кормы, махали руками, что-то кричали. Грач приткнулся в затишке позади всех и посматривал сердито.

— Семеныч, живо готовьте машину! — у Белова и злость была на что-то, и все пело внутри.

Старик кивнул капитану, решительно двинулся вдоль борта, но тут палуба ушла у него из-под ног, и дед боком полетел на кнехт. Белов кинулся к нему.

— В порядке, Сан Саныч, — корчился от боли старик, — все в строю! — Встать он не мог.

Буксир подкидывало ударами волн, палуба была обледеневшая, Белов пытался взять его под мышки, но старик встал на карачки и покачал головой, чтобы Белов не трогал. Сан Саныч отпустил старика, высунулся за борт. Шлюпка была уже под шлюпталями, развернутыми над водой. Ее поднимало, подбрасывало выше «Полярного», оттаскивало от борта, мужики снова наваливались на весла. С буксира полетели концы. Белов поднял старого механика на ноги и повел в каюту. Дед кряхтел, матерился от боли и тряс головой. Спустились.

— Что ты со мной, как с дитем, Сан Саныч?! Иди давай! Сам я, ох, ептыть! — скорчился дед.

Белов метнулся вверх. Авралом заправлял Померанцев. Люди уже были на борту, шлюпку подняли из воды и теперь заводили на пароход. Старпом с Климовым, мокрые насквозь, сидели на палубе и устало улыбались, Фролыч кому-то показывал «покурить», Нина Степановна, скалясь от напряжения и посверкивая металлическими фиксами, стаскивала с Егора спасательный круг, тот будто прирос к разбухшей одежде. Егор виновато, как нашкодивший щенок, посматривал вокруг и на Сан Саныча. Его колотило. Платок сполз с головы кокши, она решительно стянула с боцмана круг вместе с телогрейкой и, обняв за пояс, потянула в сторону тепла.

Шлюпка встала на место.

— Шабаш! — раздался спокойный голос Померанцева.

— Фролыч, ты как? — на голове старпома не было шапки, Белов надел на него свою.

— В порядке! — кивнул старпом, оберегая дымящуюся папиросу. — Слава богу!

Белов направился в рубку. Все были на борту. Все было в порядке. «Полярный» ждал, когда его снимут с якорей. Сан Саныч проехался пятерней по мокрым волосам, сбивая с них снег, двинул вперед ручку телеграфа и нагнулся к переговорному:

— Самый малый давай!

И вскоре почувствовал, как ожила машина. «Полярный» снова был полон сил.

— Ну, с богом! — скомандовал сам себе Белов и высунулся из рубки. — Выбирай!

---

<sup>44</sup> Смычка — якорная цепь длиной 25 метров. Длину цепи считают смычками.

Вскоре буксир встал на курс, принимая волну левой скулой. Качать стало меньше, лишь временами какая-то шальная волна врезалась, сотрясая весь корпус и окатывая судно до самой рубки и дальше. Белову было весело, он потянулся, включил радиоприемник. Передавали последние известия... «Ткачихи Ивановской фабрики...» Он снова выключил. Не хотелось никаких ткачих. У него на буксире... у них тут все было в порядке. Он слушал рваный злобный вой побежденного шторма и чувствовал гордость за свою команду. В ботинках хлюпало, под ногами растекалась лужа. В рубку сунулся Померанцев:

— Товарищ капитан, разрешите вас подменить? — он уже был в сухой одежде. Как будто стеснялся чего-то. — Меня Иван Семеныч послал.

Белов застыл на секунду, ткнул пальцем в курс и уступил штурвал.

В большой каюте под тремя одеялами сидел на кровати боцман. Его так трясло, что казалось, из-за него трясется весь «Полярный».

— Спирту примешь? — улыбался Белов.

Егор, один нос которого торчал из одеял, затряс головой — не понять было, надо ему спирта или, наоборот, не хочет.

— Выпьешь?

— Нет! — выдохнул Егор и спрятался совсем, одни глаза остались. Пробубнил что-то виноватое.

— Чего ты? — не понял Сан Саныч.

— Ду-думал, все уже. Потону! — во взгляде боцмана до сих пор жил страх.

Фролыч стягивал с себя мокрое, шлепал на пол. Зевал неудержимо, разморенный теплом.

— Кочегар этот, Йонас, ничего мужик... ну и Климов... Не видно же ни хрена, как Егора разглядели?

Капитан изучал малиновую рожу старпома и завидовал, сам бы сходил на шлюпке в такой шторм. Он ушел в каюту и стал раздеваться. На часах было половина двенадцатого ночи. В каюте тепло, сухо, если бы не качало, не било в борт да не выло зверем наверху... хоть спать ложись!

Матрос Климов неслышно возник в проеме двери, снял мокрую ушанку:

— Заплата течет, Сан Саныч!

— Сильно?

— Двумя ручьями! По колено уже набежало!

— На то она и заплатка, чтобы течь, — улыбался старпом, выходя из своей каюты. — Сейчас качнем, Игнат Кирьяныч!

## 14

В полтретьего ночи добрались до Ошмаринской бухты. Высокая пологая волна, слабея, докатывалась сюда с Енисея. Встали в устье речки, в глубокой курье<sup>45</sup>. Здесь было тихо, птички щебетали на утреннем солнышке. «Полярный», как броненосец, был покрыт ледяным панцирем. Народ хоть и наломался, а не спал. Из кормового кубрика команды доносились взрывы смеха. Степановна жарила любимую всеми картошку с луком и на сале.

В командирском кубрике тоже было оживленно. Собрались в каюте пострадавшего Грача. Продубевшие на ледяном ветру лица раскраснелись в тепле. Руки у всех свекольные. Грач сидел в одних трусах у себя на койке, обложенный подушками; вокруг длинной кровавистой полосы на боку начинало помаленьку синеть.

— Опасаюсь, ребро бы не сломал, — сипел Иван Семенович, аккуратно нарезая почищенного уже, текущего жиром омуля и раскладывая закуску. — Егорка, сынок, сбегай на палубу, отщипни осетришку... О! — механик вытаращил испуганные глаза. — А где у нас рыба? Что-то я ее не видел!

— Степановна убрала... как вся эта канитель началась, снесла на камбуз, — улыбался старпом.

— Егорка, бежи сбегай, отрежь бочок!

---

<sup>45</sup> Курья — залив.

Егор, одетый в ватные штаны и два свитера, с ножом в руках пошел на палубу, вместо него явился Белов, розовый, из горячего душа, с бутылкой разведенного спирта и большой банкой американской тушенки. Сел на койку к Семенычу:

— Ну что, старый, дал нам сегодня батюшка-Анисей просрать? Болит бок?

— Вон! — задрал руку Грач, поворачиваясь и показывая уши, — прямо на угол налетел, ты же видал! Как салага, ей-богу!

Егор принес бок осетра, сковородку жареной картохи и три утиных яйца. Все были голодные. Старпом почистил яйца, развалил пополам оранжевыми желтками.

Белов разливал.

— Слышь, Сан Саныч, давай мужикам бутылку отнесу, — предложил старпом.

— Не положено! — Белов не отвлекался, отмерял дозы по кружкам.

— Вкалывали все... Давай уважим! У меня есть заначка.

Белов поставил бутылку и посмотрел на Фролыча:

— Что мне, жалко? Или я не видел, как они работали? Там полкубрика новых людей!

— Надо бы налить ребятам! — поддержал Грач, как будто не слыша капитана, — этот Померанец мой, щербатый... толковый дядька! Хочешь, я сам снесу! Скажу, от меня!

— Вы что, дети малые? — Белов поднял свою кружку. — Меня в Дудинке с буксира снимут!

Все потянулись, разобрали посуду. Многообещающий запах спирта плыл по каюте.

— Хорошо сработали! За это и выпьем! — Белов опрокинул обжигающую жидкость в горло.

Выдыхали, морщились, потянулись к еде. Грач крикнул, занюхал кусочком хлеба и отер усы:

— Егорка сегодня второй раз родился... Ты как же свалился-то?

— Да я говорил уже, — недовольно посмотрел на Грача Егор. — Шторм-трап зацепился, я перегнулся, а тут волной как даст, я и сам не понял. Борт рядом вроде, а не дотянусь!

— Ну-ну, — как будто одобрил Грач. — Сала, что ли, отнести ребятам...

— Степановна отнесла им уже, я видел... — Егор наваливался на жареную картошку.

— От зараза кокша у нас! — одобрил Грач, со значением, косясь на капитана.

— Ага! Не то что некоторые! — усмехнулся Белов. — Повариха-то молодец, а капитан — говно!

— Я это не говорил! — не согласился Грач.

— А если заложат? — Белов снова взялся за бутылку.

— Да кто заложит?! — сорвалось с языка у захмелевшего Егора.

Белов с удивлением и строго посмотрел на своего малолетнего боцмана, но сдержался.

— Хотите?! Отнесу!

— Не надо, — согласился старпом, с которого все и началось. — Может, и правда кого-то подсунули?

Налили еще по одной, ели неторопливо, Грач достал махорку.

— Вот говорят, водка вредная, мне один врач настрого ее запретил, а я думаю... — он ловко оторвал ровную полоску газеты, — не вредная она! Русским без нее никак! Иной раз жизнь так придавит, а выпьешь — и ничего, полегче делается!

Грач послунявил, подклеил свою «кривую сигаретку», осмотрел ее:

— И правительство наше это дело хорошо понимает! — старый механик грозно-весело погрозил козьей ножкой в низкий потолок каюты.

Егор пьяно хмыкнул и радостно качнул головой. Он не любил водки, но с мужиками выпивать очень любил.

— Ты, Егорка, слушай, сынок! Сталин это понимает в тонкостях! Я в машинах так не шуруплю, как он в этом деле! Русской водки и английская королева иной раз спросит!

Выпили спирта за русскую водку.

Разговорились о частой непогоде в северных широтах, о штормах в открытом море.

— Мне и орден за плохую погоду дали, — улыбнулся капитан, вытирая руки от жирной рыбы.

— А как получилось-то, Сан Саныч? Я думал «Красную Звезду» только за боевые дают. Тебе сколько же лет было?

— В сорок шестом... сколько? Восемнадцать... — Сан Саныч замолчал, но все затихли с интересом. — Да известно же — суда гнали из Германии... я вторым помощником шел, а в Архангельске перед выходом старпом заболел, я сразу и стал первым.

— Ну-ну, рассказывай порядком! — настаивал Грач.

Сан Саныч взял у старпома папиросу, прикурил неторопливо, как будто вспоминал:

— Двенадцать судов вышли из Архангельска, мы на сухогрузе «Хабаровск», у немцев он «Бремен» назывался. Сначала в кильватер по Двине, потом по-походному «стайкой» — все друг друга видим, погода хорошая, Белое море прошли спокойно. В Баренце заштормило — я первый раз в море, такой волны не видывал, иногда думал, разломится сухогруз — длинный же! Но ничего, морское судно, а был и танкерок речной, так его полностью волной накрывало! Ну вот... Неделю шли до острова Вайгач. Там долго стояли, бункеровались, чинились... А у меня капитаном был Самойлов Иван Демьяныч, заслуженный капитан, войну прошел в самом пекле — на Северном флоте! А до этого дела, — Белов кивнул на бутылку, — несдержанный был... Сам мне рассказывал, как они пили в войну. Говорил, нельзя без этого было, нервы не выдерживали. Короче, день мой капитан из каюты не показывается, другой... Вызывает на совещание начальник экспедиции Воронин, покойник уже, царствие небесное, человек был властный... Раз, другой вызывает... а мой пьяный — вокруг себя ничего не видит. Что я сделаю?! Пацан против него, я и подойти не смею! Короче, прибывают к нам на «Хабаровск» начальник экспедиции с начальником морской проводки и с помощником по политической части. Мой мрачный, только похмелился с утра, ну и — слово за слово, хреном по столу! Мужик здоровый был, сгреб помполита за китель, чуть за борт его не выбросил, еле отняли. Утром по экспедиции морпроводок приказ — списали моего капитана, дело на него завели... а нам выходить через два часа. Иван Демьяныч протрезвел, пошел к Воронину и говорит: оставляй Белова капитаном, — Сан Саныч помолчал строго. — Некого было больше. Так и очутился я в Карском море капитаном сухогруза. Только вышли — туманы начались, и такие поганые — глаза трешь, кажется, что ослеп...

— Туманов и у нас хватает... — заметил Грач.

— Не-ет, там совсем другое дело! Как в молоке идешь, носа судна не видно! Слава богу, навигация исключительная у немцев была... у нас и сейчас такой нет! Так и шли сутками — туман и туман кругом, а мы как-то идем! У меня ноги тряслись, лучше бы уж шторм! Идем группой, обстановка все время меняется, льды, туман этот... Из двенадцати судов семь на мели залетели — кто-то пробился, один сухогруз на камни выбросило, а меня пронесло!

— Ох-ох-ох, дело наше флотское... Давайте, сынки, — Грач взял кружку. — Заслуженный мужик был Иван Демьяныч... А в войну, ребятушки, не приведи господи... в командах старики, да пацаны-малолетки... И ничего — работал флот! Все для фронта, все для победы, чего и говорить! — Грач замолчал, погружаясь в те времена. — А над этими стариками энкавэдэшные рожи со своими пистолетами стояли. Столько несправедливости было! Половина капитанов в эту мясорубку ушли!

Все молчали. Ветер шумел через открытый иллюминатор, туда же уплывал тяжелый табачный дым.

— Как мы эту войну пережили?! — Грач сокрушенно качал головой. — Не понять нам этого никогда! Оно никому уже и не интересно, герои, и все! А как... что было?

В поселок Дорофеевский пришли на другой день к вечеру. Встали на рейде. Совхоз имени Карла Маркса отстроился на краю небольшого старого поселка. Жилые бараки, аккуратные длинные склады у берега. Погрузочный тельфер, широкие мостки вели к рыборазделке, сети и невода аккуратно развешены. Два больших деревянных мотобота покачивались на якорях, а у берега стояли с десяток разных лодок.

Спустили шлюпку. Грач, Белов, на руле боцман, на веслах Повелас и Йонас. Старпом остался на буксире. На пирсе прогуливался молодой мужчина в начищенных сапогах, галифе и фуражке офицера госбезопасности, но обычной, белой рубашке:

— Лейтенант Габуня! Комендант этой крепости! — лейтенант улыбался открыто, никак не стесняясь своего наряда. Черные, не по уставу длинные волнистые волосы, на которых еле держалась

заломленная назад форменная фуражка, озорные глаза, тонкие усы и выразительные вороновы крылья бровей. Белов, перешагивая через борт шлюпки и подавая руку, невольно улыбнулся ему навстречу, отчего лейтенант улыбнулся еще шире, обнажая белые зубы.

Вечером поплыли неводить. В мотобот сели молодые женщины и девушки и белокурый парнишка лет семнадцати. Сзади тянулись на буксире две большие лодки с неводом. Всем распорядился пожилой, однорукий и молчаливый бригадир. Он стоял на руле, рядом устроились Белов и Габуня.

Отплыли километров пять, причалили к пескам, и началась привычная работа. Все делалось молча, изредка бригадир подавал голос да девчонки переговаривались и негромко хихикали. Лодка с неводом пошла на глубину, сеть падала с кормы, расправлялась неровной линией деревянных поплавков и подхватывалась течением. Девушки с голыми ногами и подоткнутыми юбками впряглись в береговой конец и потянули, взмучивая мелкий песок. Оживление вносил Габуня, он был в «рабочем» — старом полевом галифе и гимнастерке, шутил с девушками, те отзывались улыбками и шутками.

Было тепло, даже жарко, Белов с Егором разделись было до тельняшек, но вскоре снова надели тужурки, спасаясь от комаров.

— После шторма их, считай, нет совсем! — Габуня протянул баночку с мазью. — Деготь берестяной с вазелином! Наше, дорофеевское изобретение!

— Да ну, — не согласился Грач, — этому изобретению сто лет!

Габуня не стал спорить, только улыбался, он был очень рад гостям. Ушли вперед, поджидая невод, и развели огонь на старом кострище. Рядом были устроены столик и лавки.

— Что значит немецкая аккуратность! — похлопал Иван Семеныч по отструганной столешнице. — Наши ни за что не стали бы! На песке бы закусывали!

Габуня поставил на стол сумку и посмотрел внимательно на Грача:

— Почему немцы? Это я просил сделать! — грузин театрально развел руки и стал доставать еду. — Что тут нам положили? Муксун копченый — люблю, стерлядку не люблю, картошка в мундире... это тоже люблю!

Несколько девушек шли с неводом, остальные сидели дружной стайкой у своего костра, отмахивались от комаров, и весело выпрашивали о чем-то Егора. Загорелые, с косами и косичками, головы прикрыты платками с подшитыми сетками от комаров, сейчас они их откинули, открыв милые молодые лица. Все босоногие. Только бригадир был в высоких резиновых сапогах и сером пиджаке с пустым рукавом, заложенным в боковой карман. Бригадир не отрываясь следил, как заводят невод, потом встал и подошел к воде. Прикурил, чиркнув спичку одной рукой.

Габуня с Беловым и Грачом выпили. Закусывали. Лейтенант госбезопасности, соскучившись по людям «с воли», не умолкал:

— В совхозе в основном немцы... Скажем честно, — он с веселой улыбкой поднял палец вверх, — в основном немки! План выполняют, живут хорошо, все есть — пекарня, рыба, олени... даже свиней завели! В этой бригаде половина немки, половина — латышки, бригадир — эстонец. Зовут Айно...

— Что у него с рукой? — спросил Грач.

— На лесозаготовках раздавило... Давайте еще по маленькой, сейчас потянут!

Лодка с дальним крылом невода, описав круг, причаливала к берегу. Вся бригада зашла в ледяную воду кто по щиколотку, а кто и по колени. Вскоре все уже впряглись и потянули на песок тяжелую снасть. По поверхности тащились, играли дощечки-поплавки, временами в пространстве, захваченном сетью, начинала метаться большая рыба.

Чайки, крачки и пара орланов, возбужденные ожиданием, летали над дальним концом, падали в невод, выхватывали рыбу, кричали и дрались. Нерпы, как поплавки торчали любопытными темными головами. Всем было весело. Габуня забрался в гущу девчонок — они не особо его стеснялись — шутил свои шутки, специально усиливая акцент, кричал громко, если видел рыбу. Названия рыб он знал по-грузински, по-русски, по-немецки, на латышском и эстонском. Белов был в высоких сапогах, он

зашел в глубину, тянул верхний урез, выбирая из него коряги и палки, захваченные снастью. Егор разулся, подвернул штаны и опасно забежал в ледяную воду. Впрягся возле симпатичной беленькой Анны. Анна весело ему улыбалась. Перебирая веревку, они касались друг друга мокрыми локтями.

— Я боцман, — сказал он вдруг Анне с неожиданной для самого себя смелостью. Ему просто хотелось что-нибудь ей сказать. — С «Полярного»!

— О-о-о! — кокетливо улыбнулась девушка и состроила глазки. Пуговка на ее рубашке как раз расстегнулась от напряжения, открывая щелочку меж пухлых грудей, Анна скосилась на нее весело, руки все равно были заняты, чтоб застегиваться, и она еще смелее улыбнулась Егору, будто разрешая и ему глядеть, куда он хочет.

Крачки, отчаянно крича, трепетали над самыми головами, падали возле рыбаков, выхватывали селедку-ряпушку, торчащую в ячее. К счастливце кидались другие крачки и чайки, возникал галдеж, «воздушный бой!» — кричал, показывал пальцем Ваню. Бои возникали то там, то тут, не прекращались, драчливый базар, отчаянно вереща, висел над рыбаками и рыбой. Нерп вокруг невода становилось все больше.

— Подтягивай! Низа подбирай! — распоряжался бригадир с неторопливым и аккуратным эстонским акцентом.

— Полно рыбы, Айно! — кричал Габуня. Он вдруг бросил тянуть, нагнулся и, схватив под жабры, волоком потащил на берег огромного осетра, тот зло бился, обдавая всех грязными брызгами песка. — Николь! Мария! Бэрэгис! Два пуда ташу!

Однорукий бригадир следом вытаскивал еще одного. Рядом с Беловым возилась большая стерлядь, он выпутал ее острый нос из сети и не знал, что с ней делать — идти на берег было не с руки. И тут одна из девушек, высоко подбирая подол юбки и мелькая узкими коленками, подошла к нему, ловко ухватила стерлядь за жабру и потащила на берег. Белов кивнул благодарно, девушка была с короткой стрижкой, с острыми, будто хрупкими чертами лица. Взглянула на него, словно они были давно знакомы... и даже как будто... Сан Саныч застыл столбом и замороженно смотрел ей вслед. Нездешней красоты тонкие щиколотки мелькали в грязной воде.

Девушка перевалила рыбину через борт и снова вернулась в невод. И опять посмотрела прямо на него и улыбнулась. Молнии ударили в голову и одеревеневшие ноги Сан Саныча. Невод все тянулся, цеплял поплавками сапоги, рыба прыгала, обдавая грязью, люди смеялись довольные... Белов никогда не видел таких глаз, сердце замирало, что девушка сейчас исчезнет, уйдет куда-то, откуда она явилась, и все. Ему хотелось взять ее за руку.

Но девушка, так ни на кого не похожая, снова встала на свое место. Подбирала тонкой рукой грубую просмоленную тетиву, привычно выдергивала из ячее запутавшуюся селедку. Белов, робея, как школьник, не мог оторваться от нее, — никогда никто не смотрел так на Сан Саныча!

— Разрешите! — Белов мешал, его отстранял плечом однорукий бригадир. — Разрешите, я отвяжу! — бригадир одним движением распустил узел на толстой мокрой веревке.

Выбрали осетров и стерлядей, еще подтянули, сколько смогли. Невод лежал огромной авоськой, набитой рыбой, тут и там торчали наружу узкие серебряные тела ряпушки — туруханской селедки, больше всего ее и попало, и еще омулей зацепили косячок! В мутном, взбитом песке кипела рыба, ближе к берегу растекалась уставшим уже живым серебром.

— Петер, давай сак! — чувствовалось, что и бригадир возбужден. Рыбы было много.

Белов встал на сак с белокурым Петером, и они стали черпать бьющуюся рыбу. Вваливали на борт лодки, выгружали, рыба наполняла рундуки: серебряные сиги, омули и селедка, жирные чиры, похожие на молочных поросят. Несколько больших щук попались, бригадир цеплял их багориком и оттягивал на берег. Он попытался поднять самую большую за огромную челюсть, не осилил, ручка багра, скользкая от рыбы, выскочила из единственной руки. Подскочил Ваню и перебросил пятнистых хищниц в отдельный рундук лодки, там же, как в карцере, ворочались темные налимы.

— Штормом к нам рыбу поддало! — бригадир Айно, довольный, кивал на водный простор.

Принесли еще один сак, две девушки взялись было, но бригадир зашумел:

— Куда?! Успеете надорваться! Как говорил наш нарядчик, не лызь попереж батька в пэкло! Все там будэмо!

Вано отнял у девушек сак и, взяв в напарники Егора, стал нагружать рыбу. Первое, что вывернулось ему под руку, была большая нельма.

— Эй, кто-нибудь! — радостно заорал Вано... — Смотри, какая!

— Анна, вон Анна! Иди сюда! — позвал Егор.

Серебряная хищная красавица лежала на песке, изогнув мощную темную спину. Анна двумя руками не без труда потянула ее под жабры, хвост волочился по песку.

Все рундуки в лодке были загружены до краев, рыба уже начала выскакивать, подогнали и стали грузить вторую лодку. Габуния с Беловым отошли за свой столик, Грача не оторвать было от рыбы, Егора от веселой Анны. Вано налил по маленькой, он вообще наливал не по-русски — в маленькие металлические стаканчики с чеканкой.

Девушку звали Николь.

— Двадцать четыре года, француженка, очень хорошая, но приставать бесполезно! Ничего не действует! — улыбался Вано. — Поверь мне, брат Саша! Крепость грузинскую в кино видел? Одинокую, на скале?! Вот — это она!

Вано от вина делался еще веселее. Белову он нравился, он не мог не нравиться, иногда, правда, Сан Саныч вспоминал, что Вано лейтенант госбезопасности, на мгновение задумывался об этом и снова улыбался славному грузину. Вот, думал Белов, вспоминая свои споры с Фролычем, который не любил сотрудников органов, — вот чекист, и какой человек!

— А ты к ней причаливал, значит?! — ревниво спросил Белов, когда они стали сворачивать закуску. Ему хотелось еще поговорить о Николь, он все искал ее глазами среди девушек, работающих у лодок. Ему почему-то не нравилось, что она «француженка», казалось, что она особенная не поэтому, а потому что она сама такая особенная!

— Говорю тебе... Я тут с прошлой осени, до меня комендантом был лейтенант Лазаренко. Пьяница и скотина, каких поискать! Он с ней чего только не делал... без работы держал — считай, голодом морил! Ни в какую! Среди них есть такие! — Вано неопределенно развел руки, то ли восхищаясь, то ли не понимая. — Некоторые девчонки ее недолюбливают... ну, понимаешь — белая ворона. — Габуния закусил ус и перестал улыбаться, думая о чем-то, потом вздохнул и сказал негромко: — Тут им всем плохо, Саша, — он повернулся и посмотрел на берег, на девчонок, сающихся в лодки. — Немки, латышки, русские... какая разница. Если бы со мной так сделали, я бы камень себе на шею привязал!

Все уже погрузились, ждали только их.

— Да ты сам все знаешь! Во время войны, когда их только привезли... Этот Лазаренко так и говорил: за буханку хлеба — хочешь мамашу, хочешь дочку... — Вано выразительно посмотрел на Белова. — Вот так!

— Врал он, гад! — Белов недовольно тряхнул головой. — Я тут работал в то время...

— Гаремы заводили, Саша! — Габуния поднял черные глаза на Белова. — От голода женщины на все шли. Семьи спасали!

— И как же... — не уступал Белов. — Разве вам это можно?!

— Нельзя, конечно — связь со ссыльными! Кого-то и сажали... Но кто устоит?! Ты один в этой пустыне, женщин сколько хочешь, и все они в твоей власти! Жизнь их детей в твоих руках! Сами приходили! Много такого, Саша! Очень много!

Белов и верил, и не верил. Ему казалось, что лейтенант, как и все грузины, преувеличивает. Они забрались в мотобот.

Всю недолгую дорогу до поселка Белов смотрел на Николь. Она должна была чувствовать его взгляд, но не посмотрела ни разу. Улыбаясь, слушала Грача, который раздухарился в окружении девчат. Память у старого механика на давние события была исключительная:

— В 1908 году работали мы на рыбопромышленную компанию. Две тысячи человек нанимали тогда на рыбную ловлю! — Грач со значением всех осмотрел. — И мы эти бригады с самых верхов сюда на пески доставляли: лодки, снасти, соль... Бочки для засолки рыбы по дороге брали — в Енисейске их из листовницы клепали, а в Костином или в Бахте из кедра. Кедровые намного лучше, а обручá из тальника или из черемухи делали. Ой, мастера работали! А бочки были, скажу я вам деточки, и по

двадцать, и по двадцать пять пудов! Эвон, какие! — Грач распахнул руки и сделал суровое лицо. — Тогда тут порядку много было! Всё строго по правилам ловилось! И засолку контролировали, и чистоту, даже из Астрахани привозили спецов, те в тузлуке<sup>46</sup> солили или всухую... по-разному. Я почему знаю, с нами однажды, не соврать, году в десятом или двенадцатом, губернатор Енисейской губернии ходил и сам все осматривал. Такое от царя указание вышло, чтобы рыбы было больше в продаже и чтобы она хорошо засолена была. Тогда, кстати, на все снасти разрешали ловить — и на самоловы, и неводами. По триста, четыреста и пятьсот пудов брали на невод! Это в среднем!

Белов невольно слушал старика, и ему слегка досадно было, что тот раскудахтался про свою рыбу. А может быть, и от чего-то другого досадно. Он все изучал аккуратную голову Николь. Белый платочек, охватывающий загорелую шею, трепетал под встречным ветром, и Сан Санычу нервно становилось, что он сейчас расстанется с ней, даже не познакомившись.

Он стиснул зубы и, матеря себя за непонятно откуда взявшуюся робость, отвернулся обреченно, стал смотреть в тундру, над которой в чистом шатре неба висело ночное солнце — на часах было полпервого.

Тундра не помогала. Ему досадно становилось за невероятную девушку, которая почему-то должна была жить здесь. Он пытался представить ее во Франции и совершенно не мог, только путался... но здесь, рядом с лодками и неводом... такая красивая. Он вздохнул хмуро, повернулся к Вану, тот что-то шептал своей грудастой и симпатичной Герте.

— Слушай, Вану, могу я забрать ее на «Полярный»? — спросил первое, что пришло в голову.

— Кого? — не понял Вану.

— Ну ее, — кивнул в сторону Николь.

Вану повернулся к Белову. Улыбнулся хитро:

— Почему нельзя, дорогой! Ты что, уже влюбился? — грузин понимающе обнял Белова.

— погоди, я серьезно, у нас зарплаты очень хорошие!

— Оформить можно... — подумав, сказал Вану. — А она захочет?

— Не знаю, — Белов хмуро глянул на Николь. — Мне как раз матроска нужна...

— У нее никого тут нет, может и захочет! Сейчас компанию соберем, песни петь будем! Ты сам и поговори с ней... — Вану легкомысленно подмигнул Белову и снова повернулся к подружке.

Николь не слушала Грача, глядела на безбрежные воды залива, по ним скользили теплые вечерние лучи. Небо на горизонте было нежно-желтым, а выше голубело. Она спокойно повернулась и внимательно посмотрела на Белова. И было в ее взгляде что-то... может, просьба... а может, и ответ на тревожные, немые вопросы Сан Саныча.

Бывают такие взгляды в жизни, которые решают все. Даже если ты еще не понял, что уже все решилось, оно решилось. Но это потом, по прошествии лет становится ясно... Белов же видел это теперь. Эта необычная, ни на кого не похожая девушка — его судьба!

Бот причалил к поселку, возникла веселая суета, бригадир пошел заводить движок и запускать механизированную погрузку. Вытащили на берег весла, паруса, длинный и тяжелый невод развесили сушиться. Габуния показал Белову крайний дом на берегу и ушел со своей Гертой. За плечи ее обнимал.

Белов глядел ему вслед и не понимал, почему Габуния выбрал именно эту, милую, но очень обычную девушку. Егор не отходил от хохочущей и, кажется, счастливой Анны. Он совершенно забыл, что он боцман, и тоже был босой, с подвернутыми штанами, хвастаясь силой, хватал самое тяжелое, вытягивал лодки. И всякий момент, когда это можно было, держал ее за руку. Белов и Анну рассмотрел внимательно — ничего особенного, крепкая деревенская девчонка с двумя тугими косичками, лет восемнадцать... Она выглядела взрослее Егора, била на нем комаров и без стеснения прижималась пухлой грудью к его тельняшке. Белов понимал их, но ему не хотелось, чтобы Николь вела себя так же... С Николь так нельзя было.

Он переобувался, чистил запачкавшуюся одежду и все пытался представить себе, как предлагает ей работу на буксире... У него не получалось — только видел ее удивленный взгляд и чувствовал, как жжет стыд. Должность матроски на «Полярном» была занята.

---

<sup>46</sup> Тузлук — крепкий соляной раствор.

Директор совхоза ссыльный немец Гюнтер Манн пришел с кочегарами Йонасом и Повеласом, осмотрел рыбу, пошутил что-то по-немецки с девушками, потом улыбнулся Грачу:

— Вы, Иван Семеныч, опять нам фарт привезли!

Николь ушла вместе со всеми, ни разу не обернувшись. Белов сидел на бревне и не знал, что делать, — идти в гости к лейтенанту расхотелось. Хмель проходил, Белов подумал, не вернуться ли на судно... Егор с Анной о чем-то тихо говорили в стороне. Потом Егор подошел и, отводя глаза, попросился в увольнение на всю ночь. Белов разрешил.

На судно уплывал Грач, нагруженный мешками с рыбой. Кочегары, довольные, что повидали знакомых и побывали на кладбище, сидели на веслах, ожидая Белова.

— Ну что, Сан Саныч, поплыли? — спросил Грач.

— Ладно, давайте без меня... На берег посматривайте — костерок запалю, пришлите шлюпку.

Изба лейтенанта Габунии была новая — пятистенок, с просторными сенями, заваленными всяким хозяйством. Пахло керосином, рыбой, дымом от печки и одеколоном. Белов слышал хохот внутри, но в полутьме сеней и от стеснения не мог отыскать ручку двери.

Николь была здесь, среди девчонок, приодетых в нарядное, лейтенант как раз говорил тост. Печь трещала.

— О-о! Саша! Заходи, генацвали! Тост за нашего капитана — покорителя страшных бурь! Ура!

Все подняли стаканы, Николь тоже хорошо отпила, заметил Белов и махнул свой. Не почувствовав обжигающего вкуса спирта, с удивлением понюхал из стакана.

— Вино пьем, Саша, не для пьянства, для радости! Песни будем петь! — смеялся Ваню.

— Черничное! — весело поддержала пухленькая Гертта. — Это Ваню придумал наливку.

В горнице был полумрак, подсвеченный низким ночным солнцем. Девушки накрывали на стол, в центре стояли бутылка коньяка, миска с конфетами, печеньем и шоколадом, сухая копченая колбаса, нарезанная кружочками, — все это богатство явно было из продуктового набора лейтенанта госбезопасности. Местными были только куски отварной оленины, сливочное масло и миска белой икры. Девушки в кухне пекли блинчики на двух керосинках. Все сновали туда-сюда.

— Так! Кто лучше всех печет блины, тот сидит рядом с капитаном! — Габуния осторожно обнял одну: — Мария? — потом другую: — Николь?

Николь была в бордовой кофте с аккуратно залатанными локтями, длинной темной юбке и босиком. У нее были тонкие ступни.

Ваню усадил ее рядом с Беловым. Она была не против, спокойно ему улыбнулась. И Белов, не понимая, как хватило смелости, нашел ее пальцы под столом. Она посмотрела на Белова пристально и доверчиво... и руку не убрала.

Было уже полтретьего ночи, в восемь утра начинался новый рабочий день, но все веселились. Выпивали, закусывали, Николь говорила без акцента, совершенно как русская. Ваню поднимал тосты и требовал, чтобы их говорили все. Белов сказал что-то совсем глупое про суровый Енисей. Все это время он сидел молча, иногда напряжено улыбался и мало что соображал. Только чувствовал возле себя Николь, ее тонкую ладонь и пытался думать, как предложить ей уплыть с ним, но его отвлекали, и он брал свою рюмку или блин...

Выпив, он снова находил под столом ее ладонь, и ему казалось, что она ждала его руку и даже чуть пожимала, отвечая на его пожатие, он, впрочем, не уверен был. Косился на Николь и не понимал, что происходит, — ему и хотелось остаться с ней наедине, и совсем не хотелось, чтобы получилось что-то такое. Он окончательно запутался и просто сидел, растерянно перебирая ее тонкие пальцы. И думал, как все это глупо — куда он увезет ее?

Девушки запели латышскую песню, Николь тоже поддержала, видно было, что не первый раз поют вместе. Потом затеяли шуточную немецкую, в припеве все хлопали в ладоши и топали ногами. Хлопал и Белов, он слегка захмелел и ему временами становилось весело.

— Давайте русскую! — предложил Ваню.

— Нет, — закричали девчонки, — грузинскую! Ваню, пожалуйста!

— Сколько вам говорить, — Ваню притворно сводил брови над горбатым носом, — грузинскую хотя бы трое должны петь! Я один — как могу?! Перед человеком меня позорите!

Но они упросили, и он запел. Хриловатый и негромкий голос Ваню в песне непривычно чисто и красиво звучал. Белов представлял себе высокие горы, вспоминал стихи: «Кавказ подо мною, один в вышине...» Даже подумал прочитать, но не помнил ни слов, ни кто это написал...

Он пошел ее провожать. Было полпятого, на улице не ранее уже утро, накрапывал мелкий, непонятно откуда взявшийся слепой дождичек, люди копошились по хозяйству, солнце стояло над заливом, освещая бескрайнюю тундру, среди которой и притулился поселок. У воды из огромного ствола был устроен дымарь для лошадей. Поутру мошки было мало, но один конь привычно понуро стоял в дыму, помахивая хвостом. Древний старик с белой бородой, широкий и уже негнувшийся, тащил, натужившись, с двумя белобрысыми недоростками балан от реки. Бревно было длинное, сил у них не хватало, но не бросали, дед что-то говорил негромко на незнакомом языке. Увидев Белова с Николь, старик остановился, кивнул в ответ, стоял и смотрел внимательно. Белов тоже привычно кивнул пожилому человеку.

Они шли рядом и молчали. Он знал, что она не позовет его к себе в дом, но если бы и позвала, он, наверное, не пошел бы. Он это понял и успокоился. В колбе песчаных часов оставались последние песчинки. Когда подошли к калитке, преодолевая тяжелое волнение, спросил:

— Пойдешь ко мне на буксир? Уборщицей... Зарплата хорошая. — В висках стучало, боялся глядеть ей в глаза.

— Меня не отпустят отсюда, даже письма писать не разрешают. А вам правда нужна уборщица?

— Нужна! — Белову не важно было, что он врал, он хотел понять... хочет она с ним? Что-то было не так, он это видел. — Почему ты сказала «вы»?

— Мы с вами даже не познакомились... — глаза Николь были серьезные.

— Да?! — Белов ничего не соображал, он боялся, что она уйдет — всего несколько шагов и исчезнет за дверью.

Николь и не собиралась уходить, серьезно и ласково на него глядела, как будто любовалась им, Белов это видел, но не верил. Все это было так странно, так не похоже на поведение женщин и девчат, которых знал капитан «Полярного». Он блуждал в мыслях и чувствах, она все спутала в его душе.

— Так мы будем вместе! — Белов выпустил все свои мысли на волю.

— Вам нужна не уборщица... любовница?

— Мне? — глупо спросил Белов и почувствовал, что начинает краснеть.

— Ну да... Ваню сказал, что вы женаты.

Белов нахмурился, он не понимал, при чем здесь его жена. Не хотелось вспоминать о ней.

— Саша, хотите, я все про себя скажу? — она опять очень просто улыбнулась, безо всякой игры или какой-то еще мысли.

Белов напрягся, он ждал, что сейчас его пошлют куда подальше. Стряхнул с себя робость:

— Скажите! — тоже перешел на вы. Нечаянно вышло, но он сам почувствовал, что так стало лучше. Она сделалась еще желаннее.

— Хорошо, — Николь глянула по пустой улице, — давайте на лавочку...

И опять она сама села так близко, что он почувствовал ее. И даже взяла его под руку и прижалась, заглядывая в глаза:

— Саша, ничего, что я называю вас Саша? — она озорно улыбнулась. — Сан Саныч мне тоже нравится! Почему вас так зовут?!

Белов слушал ее, и смотрел на нее... и ему было плохо. Она прижималась, и эта ее приветливая улыбка, как будто они знакомы сто лет... Он боялся, что она сейчас начнет успокаивать его. Если бы он мог, он не стал бы ее слушать.

— Саша, вы мне очень нравитесь! — она наклонила голову, будто положила ее на плечу.

Белов замер хмурый.

— Вы мне так понравились, что я не могла на вас смотреть, но подождите, я собьюсь. — Белов слышал, как она волнуется, как стучит ее сердце и слегка дрожит голос, он взял ее маленькую руку, и она нервно и крепко ответила на пожатие. — Я почти не стесняюсь вас... потому что знаю, что мы скоро расстанемся? Да? Но это не главное... Я здесь все время одна, думаю о разном... о любви людей друг к другу... Если вам будет неинтересно, скажите мне! — Она замолчала, теребя пуговицу кофты. Глянула

на Белова быстро и внимательно: — Сегодня увидела вас и весь день думаю о своей любви... В сорок третьем, когда нас везли сюда на барже, мы всю дорогу разговаривали с одним немцем. Его звали Людвиг, он был красивый и очень худой — еды ни у кого не было. Мне его было жалко, но знаете... я им любовалась! Я не могла не смотреть на него — прекрасные, грустные голубые глаза на таком красивом лице. Он был очень слабым, но помогал другим. Я тогда плохо говорила по-русски, а он хорошо — он был с Волги. Их выгрузили в Сопкарге, и он умер в тот же год, очень скоро. Я потом узнала и так плакала... Знаете, о чем я жалела? Что не сказала ему ничего, не сказала, что я влюбилась. А я правда влюбилась, так бывает, не важно, что всего одна неделя вместе и в трюме... Я не сказала, а ему это было нужно. Он умер, не зная о моей любви... — она подняла глаза на залив, на далекое солнце в дымке утреннего тумана. — У нас нет никакой другой возможности напомнить Господу, что мы есть. Любовь — единственное, с чем Он считается...

Сан Саныч совсем запутался. Он не ожидал ничего такого. А может, как раз и ждал — эта необычная девушка и должна была быть такой. Он сидел тихо, глядя под ноги. Она была очень одинока, а он не смел забрать ее с собой.

Николь посмотрела на него, кивнула молча, рука расслабилась в руке Белова. Она медленно и вдумчиво заговорила:

— Я все время думаю о таких вещах, смотрю на этот залив и думаю. Залив меня понимает без слов. Вчера вечером, когда увидела вас, я сказала себе: какой он красивый! Люби его! У тебя есть только сегодня, чтобы его любить, глядеть на него, сколько хочешь! Не стесняйся никого! Вот! Почти так я и сделала... У меня никогда такого не было, и я очень вам благодарна!

Она опять замолчала, смело посмотрела на Сан Саныча и улыбнулась:

— Вы думаете, я ненормальная? Ну пусть! Я буду вас вспоминать... буду думать о вас, разговаривать, сидеть с вами на этой лавочке и держать вашу руку. У вас большая и сильная рука.

Она смотрела очень просто, в ее глазах все было настоящим, они были ясными, как свежее утро, окружавшее их. Белов тряхнул головой, запустил руку в волосы:

— Николь, — Сан Саныч первый раз произнес ее имя вслух и сам удивился, как крепко оно звучит, — я не знаю, что хочу сказать...

— Ну и не говорите ничего! — она осторожно прижала ладошку к его губам. — Не надо никакой матроски — от этого будет только плохо! Я весь вечер обманывала себя, я сказала себе, что свободна! Такая глупая ложь не может жить больше, чем один вечер. Нельзя любить несвободной — так говорил мой отец, его расстреляли немцы...

— Да? — машинально удивился Сан Саныч.

Он не то чтобы не понимал ее... он никогда ни о чем таком не думал. Ему ясно было, что их бессонная ночь прошла, и от этой мысли навалилась усталость. В наступающем дне почему-то не было радости и почти не осталось очарования. Как будто сама жизнь вдруг встала между ними.

— Я пойду! Не обращайтесь на меня внимания, я сама не все понимаю... Вы капитан — красивый и вольный, вы не можете быть несчастливы!

Она открыла калитку. Белов обреченно смотрел ей вслед. Она обернулась на крыльце:

— Спасибо вам за все! Сан Саныч!

На рейде у совхоза простояли сутки, брали на борт соленую рыбу, погрузкой командовал боцман, закончили только к ночи, и Егор снова попросился на берег. Белов был выпивший — они с лейтенантом Габунией с обеда сидели в капитанской каюте, — ему самому то очень хотелось на берег, то отчего-то становилось стыдно и не хотелось совсем. Он хмуро посмотрел на своего боцмана и, хотя должны были выходить вечером, отпустил до двух утра. Грач уплыл с Егором отблагодарить Гюнтера.

Белов с Ваню вышли подышать, смотрели, как удаляется шлюпка. Работы стихли, команда ужинала в кормовом кубрике, матрос Климов заканчивал сращивать металлический трос, гремел негромко по палубе. И в природе все успокаивалось и затихало: не горланили чайки, не так громко плескалась рыба — белая ночь, она все равно ночь.

Ваню соскучился по свежему человеку, да и возрастом они были близки, говорил и говорил. Про счастливое детство у бабушки в деревне, про прекрасный Тбилиси, читал на грузинском стихи Нико

Бараташвили, рассказывал, что Нико, как и Лермонтов, прожил всего двадцать семь лет и что он, Ваню Габуня, проживет столько же! Они вернулись в каюту, Сан Саныч не мог уже пить, но перед гостем было неудобно, и он достал еще бутылку.

Ваню тосковал по Грузии и очень открыто рассказывал о себе. Отец его умер рано, воспитывал дядя, большой чин в НКВД. Ваню пошел по тому же ведомству, на годичные курсы младших лейтенантов — это был сорок второй год, ему было восемнадцать лет. Он уже видел себя на фронте, но дядя оставил его в Москве и сделал своим помощником. Ваню протестовал, дядя перевел племянника в Красноярское краевое управление НКВД, к своему товарищу. Ваню писал рапорты об отправке на фронт, об увольнении из органов, писал гневные письма дяде и тогда его отправили еще дальше, сначала в Дудинку, а потом в Дорофеевский. Комендантом нескольких ссыльных поселков.

— Я написал ему все, что думаю, но он за мной все равно следит! — Ваню прикурил и открыл иллюминатор. Он был не пьян, но очень возбужден. — Что тут происходит, Саша — никто уже не поймет! Они сами там, наверху, ничего не понимают!

— А ты... не хочешь служить в органах?

— Я не знаю... — Ваню посмотрел сквозь Белова. — Я же никогда не был настоящим чекистом, и в Красноярске, и в Дудинке я за штатом состоял! Ни одного дела не вел, и везде знали, чей я племянник. Но может и хорошо, что здесь оказался...

Белов смотрел, не очень понимая.

— Я тут могу людям помочь... — Ваню замолчал, заглянул в пустую кружку. — Налей, что ли?

— Не хочу больше, — признался Сан Саныч.

— Я тоже не буду... В сорок четвертом я был с комиссией в Усть-Хантайке и Потапово. Слышал, наверное, там за три года из двух тысяч ссыльнопоселенцев двести человек в живых остались! — Ваню замолчал, думая о чем-то.

— И что? — спросил Белов.

— Ничего. Коменданта посадили на три года за халатность. Я не застал самых тяжелых сорок второго — сорок третьего, но в сорок четвертом уже был здесь, и у меня от голода не умирали! От людей очень много зависит, Саша!

Габуня налил себе, посмотрел на Сан Саныча, тот покачал головой. Ваню выпил и, прикрыв иллюминатор, заговорил вполголоса:

— Знаешь, сколько ссыльных в крае? Две тысячи таких комендатур, как моя. Вот так! И коменданты везде разные...

— Ты есть не хочешь? — Сан Саныч давно уже хотел есть.

— Не хочу! Я выпью еще, надоед тебе? Ты уйдешь, я опять тут один останусь...

— А что ты думаешь о Сталине?

— Что я могу думать? — Ваню пристально посмотрел на Белова, как будто что-то хотел сказать, но молчал. Отвернулся, головой покачал, все думая о чем-то. Потом усмехнулся и расслабленно откинулся на спинку стула. — Сталин в Москве сидит, никуда не ездит... только на юг.

— Вот и я думаю, — поддержал Белов. — Он не может все контролировать, мы сами должны... нужна сознательность.

— Это точно... — Габуня внимательно прищурился на Сан Саныча. — Никогда люди не докричатся до него отсюда.

— До Сталина? — не понял Белов.

— До него... — Ваню встал, открыл дверь каюты, выглянул, прислушиваясь. Из соседней каюты доносился храп старпома. Ваню вернулся и снова сел напротив. — Например, Николь Вернье...

— Как ее фамилия?

— Вернье.

— А ее за что сослали? — напрягся Сан Саныч.

— Говорит, сбежала от немцев из Франции без документов, была в Латвии у подруги, ну и загребли вместе с семьей подруги. Кого только не брали! И домработниц, и любовниц...

— И что же, нельзя ей помочь? — Белов не понимал, как это все могло быть.

— Она по документам латышкой числится. Как ей доказать, что она француженка?! — Ваню в смущении потрогал усы. — Наши никогда не признаются, что французскую гражданку просто так за Полярный круг загнали. Пишут отказы на ее заявления, и все. Причину не обязаны объяснять.

— А ты не можешь ей помочь?

Ваню посмотрел на Белова, изучая его, заговорил, словно нехотя:

— Я пробовал, но... — он виновато развел руки. — Тут в ссылке иностранцев много, и выпускать их отсюда не будут. Это я точно знаю.

Сан Саныч проводил Габунию. Попрощались тепло, долго не разжимали рукопожатие, глядя друг на друга, обещали видеться.

Белов сидел в своей каюте и, хотя страшно хотел спать, не ложился. Николь была рядом, он представлял ее крыльцо, как он заходит к ней, застаёт ее сонную и обнимает. И они стоят, обнявшись. Что-то большое произошло меж ними вчера ночью, кровь волной бросалась к сердцу Сан Саныча, он хватал себя за голову, стискивал челюсти — он чувствовал, что не увидит ее больше никогда. Он застывал, хмуро уставившись в стол с высохшими закусками. Какая-то непонятная, но правильная сила останавливала его, он ни за что не поплыл бы сейчас к ней.

Было уже четыре утра, остроконечные тени деревьев с высокого правого берега достигали середины неширокой протоки. Соскучившийся по работе «Полярный» весело резал носом вершины этих теней. На вахте за компанию с боцманом сидел на своем стуле плохо спящий по ночам, а тут еще и подпивший Грач. Он вернулся с берега вместе с Егором, не уснул, а плеснув сто грамм на старые дрожжи, поднялся в рубку. Степановна что-то готовила, выходила на палубу, выливая из ведра за борт. Временами в приоткрытую дверь рубки залетали вкусные запахи.

Залив кончился, вошли в систему Бреховских островов, протоки были узкие, но глубокие, Егор, широко зевая, поглядывал на близкие берега.

После двух ночей с Анной он был зверски голодный и так хотел спать, что если бы не болтовня Грача, то и уснул бы за штурвалом. Что-то пылало в мозгу. Он думал, что теперь должен жениться на ней, и от этой мысли в голове только добавлялось копоти. Он и не против был, но ему совсем недавно исполнилось шестнадцать... мать, конечно, ругалась бы... а еще не хотелось менять вольную флотскую жизнь, которая только начиналась. Анна ничего и не говорила, спросила только, весело улыбаясь: «А если будет ребеночек?» Егор не нашелся, покраснел, как рак в кастрюле. Если не считать пары нечаянных, неуклюжих случаев, это была первая в его жизни женщина.

— Нинка печет что-то? А? — кивнул старый механик в сторону камбуза.

— Пирожки с рыбой, — ответил Егор и крепко зевнул. — Сходили бы, Иван Семеныч, она вам даст пару пирожков.

— Так тебе и по ночной вахте положено доппитание!

— Я уже съел... чай с сахаром да горбушку! Пирожка бы! Оленя-то моего сожрали уже!

— И то! Я Гюнтера с тридцать первого года знаю. Посидели с ним, молодость вспомнили...

Егор устало посмотрел на старика и начал подкручивать штурвал на перевальный знак. Солнце слепило глаза. Егор прикрывался рукой, просматривая курс, и зевал неудержимо. Грач за пирожками не пошел, Егор открыл дверцу шкафчика, пошарил там — ни хлебца, ни кусочка сахара не было. Он уже шарил. Снова прищурился на реку.

— Ой-я-а-а! — Егор сунул руку вперед и машинально сбросил ход.

— Чего? — выставился в окно хмельной Грач.

— Лоси! Через протоку перебивают! — Егор сдвинул телеграф на самый малый. — Чего делаем? Ружье у Сан Саныча!

— Лосиха! С сохатенком! Здоровый уже! — спокойно рассуждал Грач.

— Иван Семеныч! Шлюпку будем спускать? Мы в прошлом году веревку прямо с борта накинули и стреляли! Вы постойте, я за Сан Санычем сбегаяю! — Егор кинулся в кубрик.

Грач встал за штурвал. Животные плыли наперерез, забирали чуть вверх по течению, оказавшись перед буксиром, разделились, лосиха пересекла уже курс и была слева от «Полярного», лосенок испугался и повернул было обратно, потом снова развернулся и теперь плыл у самого правого

борта, рукой можно было достать. Он вытягивал морду вдоль воды и то пугливо прикладывал, то выставлял вперед лопухи ушей. Время от времени мыкал негромко. «Полярный» шел совсем медленно.

Из кубрика выбрался непроснувшийся Сан Саныч в тельняшке, фуражке и трусах. В руках ружье. Увидел лосиху, она плыла уже у самого носа судна, крутила головой и время от времени выбрасывала вперед большое острое копыто.

— Унести может! — крикнул Егору. — Надо веревку! И багор!

Егор полетел в свою каютерку, капитан стоял с ружьем наготове. Переломил двустволку, проверил патроны. Лосенок опять замычал, вытянув губастую морду, его хорошо было слышно. Лосиха ответила. Прибежал Егор.

— Лосиху стрелять хотите? — взволнованно суетился боцман.

Сан Саныч шагнул к самому борту, встал твердо и поднял ружье, целясь в шею лосихи, она была в пяти метрах. Сзади из рубки раздался сильный крик Грача:

— Лосенка стреляй, Сан Саныч, ты что?! — он совсем остановил машину.

Крик сбил капитана с толку, он обернулся на Грача, и тут лосиха оплыла наконец нос и, громко замычав, понеслась по течению навстречу лопухому лосенку, они врезались, спутались на мгновение, но потом бок о бок развернулись от «Полярного».

Белов нахмурился и, переломив ружье, вытащил пули.

— Не будете стрелять?! — услышал сзади голос Егора. Вцепившись в фальшборт, он глядел в сторону быстро удаляющихся зверей. Потом поднялся в рубку и встал за штурвал.

— Чего не стреляли-то? — спросил Грач.

Белов не ответил, направился к себе в каюту.

— Я бы тоже не стал, — Егор все глядел вслед сохатым. — Видели, как она к нему кинулась?!

— Кто? — не понял Грач.

— Да лосиха.

— Ну понятно... — философски равнодушно согласился хмельной механик.

Старпом Фролыч открыл дверь. Умывшийся, свежий:

— Иди поспи, я постою... — кивнул боцману.

— Мне еще два часа.

— Иди-иди, жених, на тебе лица нет, весь в свисток ушел! Я полсуток шконку давил, больше не могу, — добродушно выпроваживал боцмана Фролыч.

Белов пришел, обсудили лосиху с лосенком. Согласились, что живые они лучше мертвых. В рубке затихло. Подстукивал цепью штурвал в сильных руках старпома. Прошли остров, Енисей стал шире, Белов смотрел на играющие под чистым небом синие летние волны. Думал рассеянно о хорошем теплом человеке Габунии, о загадочной и прекрасной девушке, от которой он, капитан «Полярного» Сан Саныч Белов, уходил сейчас вверх по Енисею. Все становилось на свои места, как будто ничего и не было. От этих мыслей делалось немного грустно, но чувствовалась и радость. Как будто сама жизнь решила слишком сложную для людей задачу.

— Все, сухой закон! — сказал Белов негромко и твердо. — Устал от пьянки...

Старпом покосился на него снисходительно.

— Кочегары на каждой стоянке крутятся на берегу... — Грач со значением глянул на капитана.

— Ну? — не понял Белов.

— Может, чего затевают лесные братья<sup>47</sup>? Тебе бы доложить в Управление... если что... мы, мол, предупреждали!

Белов только поморщился на похмельного старика, глядел вдаль и думал о своем.

— А что ты знаешь о лесных братьях, Иван Семеныч? — спросил Фролыч.

— А мне и знать не надо! — Грач с тупой гордостью уставился на старпома.

Фролыч только головой крутнул:

— У тебя, Иван Семеныч, семь пятниц на неделе. То ты горюешь, что капитанов невинных сажают, то в стукачишки записываешься.

---

<sup>47</sup> «Лесными братьями» называли партизан, действовавших против советской власти (для них — власти оккупантов) на территории прибалтийских республик.

Грач нахмурился, хотел что-то сказать, но нашелся не сразу:

— Я старый человек, сказал то, что сказал, и не тебе меня учить! Обезопаситься надо... я... — Он слез со стула, глянул гневно: — Не ждал от тебя такого, Сергей Фролыч! От кого хошь ждал, но не от тебя! — и, аккуратно переступив порог и придерживаясь двумя руками, вышел вон.

— Иван Семеныч! — крикнул вслед старпом. — Я не хотел, чего ты...

— Что уж ты, правда, Фролыч, дед с похмелья всегда туповатый, они вчера с Гюнтером... — Белов с усмешкой качнул головой. — Я не знал, что Гюнтер пьет.

Старпом помолчал, обдумывая. Посмотрел на капитана, потом снова повернулся на реку. Заговорил спокойно:

— Что мы за люди? У нас и так хорошо, и так пойдет! Чего мы такие недоделанные? Он же старый, повидавший... Сколько его друзей угробили! Все своими глазами видел, а сейчас несчастные литовцы ему подозрительны! У них в этих местах все родные остались. Как не понять?!

— Здесь и не поймешь ничего, мозги пухнут... — отмахнулся недовольно Белов, вспоминая разговоры с Ваню.

— Тут не в мозгах дело, Сан Саныч. Похоже, у нас совести не осталось...

Белов промолчал. Ему не хотелось ни о чем думать. То ли в душе, то ли в затылке застряла Николь. Он не понимал, зачем все это с ним произошло.

## 15

В конце августа неожиданно наступила жара, какой не было ни разу за все лето. На Енисее вторую неделю стоял штиль, вода сделалась теплой, ребятишки переплывали на пески ермаковского острова, разводили дымари у самого берега и целыми днями плескались. Других загорающих не было — из-за жары вылетела несметная мошка. Ее уже прибило было ночными морозцами, и люди решили, что она прошла, но она вылетела так, что даже в поселке, где гнуса всегда было меньше, разговаривать было невозможно — в рот и в глаза лез, а небо из голубого сделалось серым.

Горчаков с Белозерцевым шли таежной тропой. В вещмешке Георгия Николаевича погромыхивали стерилизатор с инструментами, три толстые склянки с медицинским спиртом, пузырьки перекиси и йода, еще кое-какая необходимая мелочь. Вещмешок Белозерцева был в два раза больше, там кроме медикаментов для шестого лаготделения были еще полкирпича хлеба в тряпочке и кое-какая еда. Сверху телогрейка приторочена.

Голову Шуры закрывал накомарник из грязного тюля, а руки были в черных меховых перчатках. Выходя, он основательно намазался дегтем, но теперь все уже смыло потом, и мошка лезла кругом — за пазуху, под резинки на поясе и на руках. Он обмахивался зеленым венником из ольховых веток, но и это было бесполезно — гудящий рой догонял тут же, окружал и принимался за дело с двойным остервенением. Шура завидовал, а правду сказать, не очень понимал Горчакова, который мазался немного и не обмахивался, а шел спокойно, покуривал с поднятой над лицом сеткой настоящего накомарника — их выдавали пока только начальству.

Время от времени Горчаков останавливался, снимал очки и тер глаз к переносице, выдавливая мошку. Георгию Николаевичу, работавшему в таймырской тундре в июле, вот уж когда действительно из-за гнуса неба бывало не видно, сейчас было приятно идти. Улыбался про себя. Их отправили за десять километров в шестое лаготделение — это был первый его вольный выход в тайгу за все лето. Они должны были прийти к вечеру, так им и командировки выписали, но Горчаков не торопился.

Это была радость, пусть и иллюзорная, но он улыбался внутренне так широко, что даже и наружу просачивалось. Как будто никогда в жизни не видел, останавливался и, покуривая, рассматривал вековой кедр с изломанными вершинами. Или растирал в руке и задумчиво нюхал остро пахнущий пихтовый стланик... и опять улыбался каким-то своим мыслям.

Он был рад Белозерцеву, который, чувствуя особенное состояние своего товарища-начальника, шел молча. Обычно с санитарями у Горчакова не было никаких отношений — подай-принеси, истопи печку, полы вымой — так было и с Шурой, но за полгода они неплохо сработались, понимали друг друга

с полуслова. Горчаков иногда с сожалением думал о том, когда их разведут. Это все равно бы произошло, за колючкой мало что зависело от людских привязанностей.

Он смотрел и смотрел на знакомые цветы и травы, переросшие и побуревшие уже к осени. Тропа была хорошо набита, Горчаков и на нее улыбался, на тихую хвою под ногами. Конечно, вся эта радость была ворованной и ни в какое сравнение не шла с тем, как ходил он один, с куском хлеба, котелком и геологическим молотком. С пустым рюкзаком утром и неподъемным вечером, где каменно отвисали пробы, ожидая своего часа. Горчаков шел бодро, иногда подмигивал особо толстым кедром, все-таки это было странно, что они такие тут растут — совсем недалеко начинались заболоченные тундровые пространства, тянущиеся на сотни километров на север и запад.

Его отправили в шестой лагпункт на подмену прооперированному начальнику санчасти. Можно было уплыть и на катере, который собирался на другой день, но Горчаков уговорил замначальника лагеря, с которым были хорошие отношения, чтобы пойти пешком и вечером уже быть в лагере. Иванов, начальник особого отдела, как ни странно, не стал возражать, и Горчакова отпустили, и даже дали носильщиком санитаря Белозерцева.

Часа через два тропа вывела на взгорок, продуваемый от мошки. Шура ушел за водой, а Горчаков разжег костерок под старым кедром и уселся спиной к дереву. Закурил. Достал пачку Асиных писем. Все они были распечатаны цензурой и проштампованы, но, похоже, не читаны. Ничего не было вымарано. С рейсовым пароходом пришла большая, накопившаяся где-то почта, и цензоры не справлялись. Выбрал по штемпелю последнее, посмотрел на него, задумчиво отвернулся в сторону садящегося солнца. Письма лежали в кармане второй день. Он открыл конверт. Столько лет знакомый почерк, мелкий, не всегда ровный, он зависел у Аси от настроения, тетрадный листок для его ответа. Он давно уже не отвечал, но она упрямо вкладывала двойной чистый листок. Георгий Николаевич отложил письмо и неторопливо протер очки.

«Здравствуй, дорогой Гера!

Буду краткой. Сегодня 30 июля. У нас все в порядке. Все здоровы. Наталье Алексеевне назначили новое лекарство от глаукомы, пытаюсь найти, от предыдущих таблеток у нее поднималось давление. В целом она чувствует себя неплохо — за лето ни разу не вызывали скорую. Она все больше погружается в себя, в какую-то дрему — лежит с закрытыми глазами, но не спит, а о чем-то думает, или просто сидит у окна. Про тебя спрашивает редко, как будто все знает. Я вру, что ты здоров и у тебя все неплохо, она все равно слушает невнимательно, у нее что-то собственное в голове. Недавно, глядя мне в глаза, спокойно рассудила, что у тебя, возможно, есть другая женщина, что молодые мужчины не могут так долго быть одни. Похоже, она меня считает виновной в твоём аресте. Я как-то попыталась с ней поговорить, это было, когда ты перестал нам писать, возможно, мне хотелось ее совета, но она не стала разговаривать. Молчала, строго глядя мне в глаза, и я не стала ничего говорить».

Горчаков, морщась от дыма, отодвинул разгоревшийся костер, машинально смахнул мошек, ползающих по лицу. Попытался представить себе Асю, что она сейчас делает... она выходила неправдоподобно молодой. Снова взял письмо.

«Коля пятый класс закончил с тремя четверками — по пению, ботанике и английскому (у него проблемы с молодой учительницей, она совсем плохо знает язык, и он ее поправляет — не знаю, что ему посоветовать?). Отработал летнюю практику в колхозе — их возили в Тамбовскую область — пололи картошку, собирали вишню и клубнику. Вернулся загорелый, окрепший, но не отъелся нисколько, а я, признаюсь, рассчитывала. Сейчас у них идет первенство района по футболу. Ты же помнишь, что он вратарь. Мы с Севой ходили смотреть. Это так странно, он, как обезьяна прыгает за мячом, сдирает локти и коленки, кричит на других игроков, а при этом такой же нежный, каким и был всегда, как девочка, особенно этот его спокойный, открытый взгляд и мягкие волосы... в нем совсем нет агрессии. Он, кстати, очень хорош с Севой. Я иногда смотрю на них и думаю — неужели они так могут любить друг друга?! Может, это от того, что у них нет тебя? Он инстинктивно пытается заменить Севе отца? Не могу этого объяснить... Может быть, мне самой так хочется... Они, конечно, мальчишки, иногда цепляются, но больше Сева проявляет характер.

Что у тебя со зрением, и не нужны ли тебе новые очки? Я познакомилась с одной прекрасной женщиной-офтальмологом. (У нее та же беда, что и у меня! Что и у нас с тобой! Муж такой же, как и ты...) Она может помочь с хорошими очками. Бесплатно.

Я все это писала тебе и в прошлом письме от 10 июля, но ты его мог не получить... Я же ничего не знаю, скоро осень, а я опять отвечаю на твое письмо от ноября прошлого года. Это так все трудно — почему от тебя ничего нет? Ты можешь быть на полевых работах, куда не доходят письма, или тебя лишили переписки... В совсем плохое я не верю. Я точно знаю, что ты жив.

Но может быть и такое, что ты выполняешь свое желание прекратить нашу переписку. (Я в это не верю. Ты можешь отменить свои письма, но как отменишь мои? Не будешь их читать?)

Все время думаю об этом и все время путаюсь: ведь может быть и самое простое — письма опять потерялись или где-то застряли. В 1938-м, когда тебя переводили с Колымы в Норильск, писем не было полгода, а потом под Новый год я получила сразу три. Такое счастье было. Я их перечитываю. Ты тогда был очень бодрый, заканчивал “Описание Норильского промышленного района”. Тебе так хотелось работать, что я ревновала, как дура, а ты тогда очень много сделал! Если бы я не была трусихой, я бы приехала к тебе, и мы были бы вместе. Хотя бы те три норильских года».

Горчаков перестал читать. Цензор явно не смотрел письма. Норильск, Колыма — все это обязательно вымарывалось, как «разглашение государственной тайны». Ася так и не научилась ловчить и почти не помнила о цензорах, а они иногда выбрасывали письма, где было много «лишнего».

«Я по-прежнему пишу долго, растягиваю письмо на целую неделю. Получается очень хорошее время — ты как будто рядом, мы что-то обсуждаем, вопрос наш сложный, который никак не решить быстро, поэтому у нас с тобой целая неделя, или даже больше, и мы каждый вечер садимся и разговариваем. Сейчас все спят и я наконец сижу под лампой, которую отгородила газетами. И вот... так странно, сижу в маленьком круге света, улыбаюсь, как идиотка, и мне нечего тебе сказать. То есть я все время так с тобой разговариваю, а сказать нечего.

На самом деле есть главная мысль, а скорее мечта — чрезвычайно глупая, но она во мне болезненно жива все эти годы: мне хочется вернуть ту новогоднюю ночь, когда за тобой пришли. Оказаться в том времени всего на пятнадцать или даже на пять минут раньше тех людей и убежать! Без ничего, не одетыми выскочить на улицу и исчезнуть. Зная, как все потом сложится, мы, конечно, что-то придумали бы, уехали, исчезли, жили бы где-нибудь тихо и просто растили наших детей...

Я накапала тут. Прости. Я становлюсь слезомойкой, наверное старею.

Перечитала и подумала, что писала идиотка. Сумбур и бессвязность... просто бред. Может, я и правда уже идиотка? Такое может быть, когда пишешь в пустоту! Я ничего про тебя не знаю, а у меня двое детей и свекровь, которым я должна рассказывать о тебе!

В твоём последнем (если не было других?!) письме ты просишь или даже велишь не писать тебе. Гера, зачем ты это придумал? У меня никого нет ближе тебя. Даже если тебя не станет, я не перестану любить тебя. И не думай, что это ненормально, я знаю немало женщин, которые ждут.

Пожалуйста... не надо так со мной! В конце концов, как мне жить — это мой вопрос! Я сейчас и реву, и злюсь на тебя! Больше злюсь, а реву от бессилия! Так не надо — это очень нечестно!»

Горчаков не дочитал и полез в карман за папиросой, но увидел, что во рту торчит погасшая, потянулся к костру за угольком. Белозерцев с чулком-накомарником на голове, как привидение, возник из леса. В руках — котелок с водой и несколько рыжеголовых подосиновиков. Положил возле костра и тоже достал недокурок махорки. Разгреб перед собой тучу вьющейся мошки.

— Как там на воле? — Шура подкурил и прилег с другой стороны костра.

Горчаков глядел в огонь, пожал плечами. Во внутреннем кармане лежали еще два письма.

— Так и не отвечаете? — Шура знал про эти письма и категорически был на стороне Аси.

Горчаков молчал.

— А я радуюсь, когда письмо. В прошлый раз мои пацаны рисунки нарисовали цветными карандашами... для меня. Я как письмо получу — давай сразу дни считать!

— Что я ей отвечу? Чтобы ждала? — Горчаков сидел все в той же позе, будто сам с собой разговаривал.

Шура понимающе качал головой, пошевеливал палкой в костре. Он лез не в свое дело, да и сказать было нечего, но ему ужас как жалко было Асю.

— Я когда про вашу жену думаю, она мне кажется такой... знаете... — Шура задрал голову к небу. — Всем бы таких, короче, да где их взять!

— Она всю жизнь меня ждет. В тринадцать лет влюбилась... — заговорил Горчаков спокойно, как о чем-то обыденном. — Всегда была смелая до безрассудства и крепкая... очень крепкая. Лучше жены для бродяги-геолога не придумать было...

Откуда-то из леса донесся далекий лай собаки, оба повернулись в ту сторону, прислушались, Горчаков снова опустил взгляд под ноги, на обгоревшую от костра траву. Улыбнулся неожиданно и продолжил так же спокойно:

— Середина октября была. Я только вернулся с Анабарского щита, это сразу за плато Путорана, недалеко отсюда — дичайшее место, геологически очень интересное. Мы большие исследования там намечали. Вернулся в Ленинград, а на другой день Ася ночным поездом из Москвы приехала — все тогда сошлось, и работа удачная, и Ася. Даже пообещал ее в ближайшую экспедицию взять. Мы тогда щедро жили: выпускницу консерватории — поварихой!

— Убежала из дома?

— Убежала.

— И свадьбу без родителей гуляли?

— Ну какая свадьба? В мой обеденный перерыв расписались. 17 октября 1936 года. Вышли из загса на Васильевском острове. Небо чистое, денек тихий, листочек не шелохнется, и Нева гладко блестит под солнцем. Я обнял ее и говорю:

— Вот так бы всю жизнь! Возвращаться, зная, что ты здесь, ждешь меня! Как накаркал!

Шура застыл с горькой миной на лице.

— А она наоборот — веселая была: «Я только что вышла замуж за доктора геолого-минералогических наук! Пойдем, ты опоздаешь на работу! Такие люди очень ценны для нашей Родины!» Взяла меня за руку и потянула в институт.

Горчаков замолчал, его лицо мало что выражало. Мошки ползали и ползали, по лбу, щекам, очкам, в бровях путались... Он посмотрел на пустую уже папиросу и бросил в костер.

— Мы прожили с ней два с половиной месяца.

Опять где-то далеко послышалась собака. Шура встревоженно поднял голову.

— Это не овчарка, на лайку похоже, — успокоил Горчаков. — В прошлом году, после суда уже, сижу в Игарской пересылке, и даже бывалые урки с уважением смотрят — мужик двенадцать отмотал, а ему еще четвертак подвесили. И стало мне очень ясно — не выбраться мне отсюда никогда! Написал Асе письмо...

Горчаков взял котелок, аккуратно отпил через край, подумал о чем-то, еще глоток сделал.

— У нас на Колыме один человек был, Смирнов Саша, он, когда ему так же вот довели, написал жене, чтобы не ждала, чтобы отказалась и выходила замуж — у них было трое детей. И все! Все ее письма, не читая, вложит в конверт и обратно! Жизнь подтвердила, что он был прав.

— Она отказалась?

— Про нее не знаю, а он замерз в первую же зиму, их везли... ну замерз, короче.

— Это понятно.

— Дело даже не в этом... Как можно обречь человека на двадцатилетнее ожидание? Это как в тюрьму его посадить! Ей сейчас тридцать семь... у нее еще может быть жизнь.

Замолчали. Ветер шумел в вершине кедра. Горчаков начал подниматься.

— И чаю не вскипятили, — Шура выплеснул воду в потухший костер, завязал вещмешок. — Дегтем не помажетесь?

Горчаков покачал головой и двинулся по тропе. Солнце садилось впереди, золотило легкие тучки над лесом. Они спустились в низину, казенные ботинки зачавкали по болотцу, и вскоре впереди зашумела таежная речка. Горчаков остановился, посмотрел на часы:

— А что, Шура Степаныч, тормознем тут. Хариус наверняка есть!

— Сегодня прибыть должны... Не хватились бы искать.

— Скажем, заблудились. У костра поночуем! — Горчаков улыбнулся и свернул с тропы. — Ты рыбачить будешь?

— Нет, я тут, на хозяйстве... — Шура озадаченно следил за Горчаковым. — Точно отговоримся, Николаич?! Пропуска не изымут? А то бы и к ужину успели!

Горчаков не ответил, он уже доставал леску с мушками из нагрудного кармана. Вскоре он ушел. Белозерцев сходил к тропе, откуда они свернули, постоял послушал — не слышно ли где лагеря или каких-нибудь работ. На фронте он так же слушал фашистов. Тут свои, но страшнее... Вокруг было тихо, птички переговаривались да теплый ветерок пробегал вершинами речного ольховника. Шура суеверно перекрестился трижды и стал собирать сучья для костра.

Через час, солнце как раз село за деревья, из кустов выбрался Горчаков. В руках тяжелый кукан<sup>48</sup> хариусов. Посмеиваясь довольно, уселся на бревнышко, притащенное Белозерцевым к костру, и полез за куравом:

— Осенью хариус из ручьев в речку скатывается... Полный омут набилось!

— Вы, Георгий Николаич, с этой рыбалкой как дите становитесь!

— Ну что, уху? — Горчаков стряс рыбу с кукана.

— Так ни картошки, ни лука...

— Зато рыбы полный котел. В тайге картошка редко бывает... — Георгий Николаевич чистил хариуса маленьким самодельным ножичком.

— Давайте я почищу?

— Ничего, я сам. Водички зачерпни.

— Я еще подумал: зачем вы котелок с собой прячете? Не стремно? — Шура повесил воду над огнем.

Горчаков дочистил рыбу, выполоскал в холодной тихо струящейся воде. Улыбаясь чему-то, присел к костру. Наверху еще разливались остатки заката, но в лесу уже стемнело, костер запылал ярче. Мошка с темнотой ушла, только комары дружно пели над ухом. Шура обмахивался веткой.

— Вы, Георгий Николаич, от леса другим человеком делаетесь. Когда про жену рассказывали — прямо старик, ничего вам не интересно... А сейчас, как живой воды попили... Чего вы улыбаетесь?

— Да так... — Горчаков повернулся к Шуре. — Я, когда совсем худо делается, начинаю мечтать, как достаю оружие и уйду! Куда-нибудь подальше от цивилизации — на плато Путорана... или на Анабарское. Сколько бы смог, столько бы и прожил! Это мой валидол! Очень подробно об этом думаю — с чего начинать и куда двигаться...

— А как же собаки? Догнали бы! — Шура смотрел с любопытством.

— Ну, догнали бы, значит догнали. Но если идти не по Енисею, как все, а вверх по притоку, через водораздел, а там на плотике сплавиться — в ту сторону искать не станут.

— И потом что? — Шура смотрел так, будто Горчаков и правда собрался уйти.

— Ничего, зажил бы дикарем на берегу такой вот речки. Избушку построил бы.

— А печка?

— Печку я однажды делал... — Горчаков достал папиросу, пересчитал оставшиеся в пачке и, подумав, прикурил. — Это на севере Иркутской области было, мы больше месяца самолета ждали. Избушки там не было, мы хороший балаган из жердей да лапника соорудили, но все равно холодно было. И тогда я вспомнил, как древние люди печку изобрели, ну и повторил.

— И как?

— Да просто все — берешь несколько сухих чурбачков размером с печку, толсто обмазываешь их глиной с камнями и поджигаешь! Чурбаки выгорают внутри глины! Обмазываешь снова, трещины заделываешь — несколько дней провозился и сделал. Для дымохода трубу из ствола сообразили и вывели наружу — дымила, конечно, но жить можно было.

Белозерцев внимательно, даже заворуженно слушал.

— Вот удивительно, Георгий Николаич, вы городской по всему, а лесную жизнь так любите. Я в деревне вырос, а ушел в город, и как отрезало! Я на заводе, на своем станке все умел! Ох-ох, вы бы

---

<sup>48</sup> Кукан — веревка или ветка, на которую надевают рыбу жабрами.

посмотрели... У нас, в токарном деле, детали очень сложные бывают, так я чертежи таких деталей лучше главного инженера читал!

Белозерцев вздохнул судорожно, но вдруг уперся нервным взглядом в Горчакова:

— Вот какого хера я тут делаю?! Четвертый год уже, да еще три! Санитар, бляха-муха! Сколько я сделал бы за это время! Вы знаете, какие сложные штуки я изготавливал! Вот, я вижу, вы не понимаете, а это же... оч-чень интересно! По несколько суток из цеха не выходил! Бывало, спал рядом со станком! И делал!

Сняли уху, достали каждый свою ложку. Рыба разварилась, не уследили за разговором, хлебали густую рыбную кашу, так не похожую на лагерную баланду. Молча скребли ложками по котелку. Тайга затихла, костер потрескивал да речка тихо шептала и шептала что-то в темноте, будто с костром разговаривала.

Шура положил на угли пару толстых бревешек, поправил постель из лапника и стал укладываться:

- Эх, чуёт жопа старого зэка хорошую дубину!
- Спокойной ночи, Шура. За такую уху можно и пострадать.
- Пропуска бы не отняли, вот что...
- Это вряд ли, лекарей не хватает.
- Когда их это останавливало, Георгий Николаевич?

Едва рассвело, они уже подходили к широким воротам лагеря.

Зона была свежая — топорами да пилами выгрызен в тайге прямоугольник четыреста на пятьсот метров. Основательные вышки торчали по углам, столбы с освещением по всему периметру, четырехметровая колючка. Все было сделано добротно. Внутри по неровной таежной поверхности — лагерь был устроен в неглубокой ложине между двумя гривами — стояло такое же, как и в Ермаково, временное жильё: ряды брезентовых палаток — двадцать один метр в длину, семь в ширину. Ближе к вахте строились бараки из дерева, входы с торцов с высокими крылечками... По уму ставят, каждая бригада — себе, понимал Белозерцев, который до санитаров работал в строительной бригаде.

Деревянные стены обтягивались дранкой, некоторые уже были оштукатурены глиной, но еще не побелены. Крыш пока нигде не было, и опытному взгляду Белозерцева было ясно — в этом году не поставят и половины жилья и будут зимовать в палатках.

Горчаков с Белозерцевым как раз подошли к воротам, когда на весь лагерь противно и часто загремел рельс. Горчаков постучал в окошко вахты.

- Кто такие? — вертухай-ефрейтор мельком глянул на них и выдвинул ящичек для пропусков.
- В санчасть, из Ермаково... — Горчаков положил оба пропуска.
- Саня, иди сюда! Пришли! — Ефрейтор посмотрел пропуска и дернул засов калитки.

Горчаков с Белозерцевым прошли через вахту. Из домика вышел старший смены:

— Мешки сюда, сами там стойте, — кивнул на выгородку из колючей проволоки. — Где вас черти носили всю ночь?

— Заблудились, гражданин сержант... — начал было Белозерцев, но сержант не стал слушать, вернулся на вахту. — Попали, похоже, Николаич? — во взгляде Шуры была досада. — Надо было испачкаться как следует в болоте...

— Погоди пока, — Горчаков прислушивался к тому, что происходит в домике. — Давай, как договорились, я — старший, сбился с пути, ты просто за мной шел. Обходили болото и заблудились.

— Пришьют ночевку в неустановленном месте, как пить дать!

Зона зашевелилась, палатки закашлялись, засинели махорочным дымом, к длинным десяти- и двадцатидырым туалетам, стоявшим спиной к колючке, потянулись лагерники. Кто в трусах, вприпрыжку на утреннем холодке, другие уже оделись. Загремели ряды рукомойников, заключенные помолже бежали с ведрами от небольшого озера, расплескивая воду.

За зоной у солдатских домиков тоже возникла жизнь, чуть повеселее, радио передавало бодрую музыку. Взвод солдат, дружно грохоча сапогами, голые по пояс, бежали неровным строем на утреннюю зарядку.

— Чего же они тут строят? — шурился недовольно Шура.

— Пристань на Барабанихе и ветку к ней... — Горчаков тоже изучал новую зону.

Заключенные потянулись к столовой. Радио у солдатской казармы передавало новости, уже полседьмого было. Горчаков с Белозерцевым, так и не дождавшись никого с вахты, уселись на землю. Через проходную в ту и в другую сторону тянулись лагерные придурки<sup>49</sup> — нарядчики, десятники, учетчики, лагерный парикмахер со своим чемоданчиком шел брить офицеров.

Начались разводы на работы. Нарядчик выкрикивал бригады, они подходили, большие и маленькие, уже в пятерках, их запускали в первые ворота, трое надзирателей шмонали для проформы — чего зэк из зоны понесет? Потом считали и выпускали бригаду через внешние ворота. Белозерцев стоя смотрел, как обыскивают. За четыре года он прошел четыре лагеря, поработал в семи разных бригадах — все было одинаково, а все равно волновало — шмон есть шмон!

— Руки вверх, в стороны, не спи, скотина!

— Следующая пятерка!

— Следующая! Что это? — надзиратель нашел что-то. — Отошел в сторону! Следующая!

Шура так и не понял, что же нашли, но, судя по голосу вертухая, что-то несерьезное, может, просто кто-то нужен был сортир у них вычистить.

За воротами бригады ждал конвой. Снова считали. Сытые овчарки от нечего делать начинали лаять на серых зэков и тут же виляли хвостами зеленым солдатам. Для них это были разные люди. Шура все подмечал. Ему было ясно, что зона неплохая, доходяг не было совсем, мужики были сыты, шутили меж собой.

Вышли две последние бригады, конвой разделил их, выстроил. Молодой младший лейтенант — начальник конвоя заблажил скороговоркой лагерную «молитву»:

«Бригада переходит в распоряжение конвоя! Все требования выполнять неукоснительно, шаг вправо, шаг влево — считается побег! Первая шеренга руки назад, остальным взяться под руки, шагом марш! В строю не разговаривать! Не отставать!»

Белозерцев неодобрительно провожал глазами неопытного начальника. То, что он заставил мужиков взяться под руки, была ненужная строгость — бригады, ушедшие раньше, шли нормально. Шура не любил, когда людей унижали просто так.

В самой зоне на объектах уже работали. Громко молотил какой-то двигатель, кто-то со скрежетом выдирает гвозди, ножовки торопились суетливо. К домику вахты пришел щуплый мужичонка с ведром и тряпкой. Проходя мимо, остановился:

— Шо, хлопци, нияк втеклы?<sup>50</sup>

Горчаков только один глаз на него открыл, а Шура встал к проволоке:

— Слышь, браток, ты вахту мыть?

— Ну?!

— Ты спроси там, чего они нас тут маринуют? Пусть до лазарета отпустят, мы пока медикаменты разложим. Мы же медики — у нас в мешках лекарства! Скажи им, ладно?!

— Кажу, мени шо? У вас покурыты немає?

— У меня махра, браток! — Шура вытащил узкую пачечку, взял щепоть на одну закурку и всыпал в ладонь мужика.

— На дви дай?

— На две не дам, сами без курева, — начал было Белозерцев, но согласился: — Бери, бродяга, что с тобой сделаешь!

Мыл он долго, минут сорок. Вышел, докуривая чью-то сигаретку, выплеснул тут же у вахты ведро.

---

<sup>49</sup> Придурак (*жарг.*) — заключенный на административной должности (нарядчики, писари, бухгалтеры, старшие бараков), а также лагерная обслуга — хлеборезы, повара, кладовщики, заведующий ларьком, баней, пекарней, посылочной, врачи и фельдшеры.

<sup>50</sup> Что, ребята, никак убежали? (*укр.*)

— Воны якогось кума чекають з особливого виддиду. Кажуть, що вы швидки!<sup>51</sup> — Он забрал ведро и, погромыхая им, направился к палаткам.

— Какого кума? Браток?! Они не сказали? Из Ермаково или откуда? — Шура повернулся к Горчакову, но тот сидел все такой же равнодушный. Зевал крепко время от времени, морщась и прикрывая рукой рот.

Прошло еще около часа, из домика вышел ефрейтор:

— Кто фельдшер, иди сюда!

В вахтовой избушке в комнате особиста сидел лейтенант Иванов. Как всегда чисто выбритый и в хорошем настроении. Только сапоги изрядно испачканы грязью. Уже подсохли. Писал какие-то бумаги. Рапорт, понял Горчаков. Вещмешки открыты и обысканы. Отдельно стояли три склянки со спиртом, закопченный котелок и банка консервов.

— Дознание будем устраивать, зэка Горчаков? Или сам все расскажешь? — бесцветные глаза особиста небрежно, нарочито лениво скользнули по фельдшеру.

— Так получилось, гражданин начальник, с дороги сбились, ночь у костра пришлось сидеть.

Иванов перестал писать.

— И ведь не наврал нигде! Уважаю рецидивистов! Как оформлять прикажете? Как беглых?! Консервы, спиртом запаслись, ножичек хитро заныканный! Но главное — котелок! Зэка Белозерцева как «корову»<sup>52</sup> брали или вы не из таких?

Горчаков молчал, смотрел в пол. Этот лейтенант мог придумывать, что ему нравилось, з/к Горчакову с его сроком терять было нечего. Кроме того, Георгий Николаевич знал Иванова, лейтенант любил такие беседы:

— Что, надоело за колючкой? Рыбки половить захотелось? А отдать Родине то, что вы ей должны?! — в голосе лейтенанта зазвучало железо, он и сам сейчас верил в то, что говорил.

А Горчаков вдруг увидел, что у Иванова есть усы. Редкие, светлые, как и брови, они совсем ему не шли. Сам же подумал: умный ты, лейтенант — про рыбалку все правильно вычислил, но, вообще говоря, мурак... Горчаков его не боялся. Иванов это видел, и это его бесило.

Лейтенант Иванов был из бедной рабочей семьи. В 1934 году его отца, работавшего грузчиком, как сознательного комсомольца взяли в охрану тюрьмы, и в доме он стал считаться чекистом. Через какое-то время отец начал «работать» в расстрельной команде, им дали маленькую, но отдельную квартиру. Отец рос в званиях, стал старшиной, получил должность заместителя коменданта и был награжден орденом и именован оружием. Маленький Володька очень им гордился и твердо решил идти в чекисты.

В 1937-м отец стал крепко попивать, уезжал в долгие командировки, несколько раз лежал в психушке. В начале 1938-го его расстреляли. Семье было объявлено, что отец геройски погиб при выполнении ответственного задания партии. Иванов-младший, может, и усомнился бы, ему уже было тринадцать лет, и родителя он видел в основном пьяным, но отца посмертно наградили орденом, а им дали большую пенсию по потере кормильца. Орден шестикласснику Иванову-младшему вручали при всей школе.

Он перестал ругаться матом и стал учиться на одни четверки и пятерки. Это было непросто, мать была не помощницей, он оставался после уроков, не спал ночами, но троек у него больше не было никогда. К окончанию школы у него был первый спортивный разряд по лыжам и спортивному ориентированию. Он понял, что человек может многое.

В 1943-м он подал документы на трехмесячные курсы НКВД, но его не пустила анкета. Он поступил на годовичные курсы офицеров связи, которые закончил без единой четверки. Вместо фронта его, как отличника, общественника и спортсмена, отправили в Саратовскую школу пограничной и внутренней охраны НКВД. И ее он окончил на «отлично».

---

<sup>51</sup> Они какого-то кума ждуть с особого отдела. Говорят, вы беглые! (укр.)

<sup>52</sup> Уходя в бега, особо циничные рецидивисты брали с собой одного «лишнего». Когда кончались продукты, его убивали и ели. На жаргоне это называлось «Уходиться с коровой».

Война к тому времени закончилась, и молодого лейтенанта распределили в Главное управление по охране объектов особой государственной важности. Иванов не был карьеристом, он их ненавидел. Он попросился в самые суровые условия и так оказался в Заполярье.

Про отца он все выяснил еще во время учебы. Нашел его товарищей по работе в комендатуре. Он понял, что его отец был редким человеком, настоящим героем, взявшимся выполнять самую тяжелую работу. Единственным, что Иванов-младший не мог простить отцу, были пьянство и малограмотность. Это он исправлял своей жизнью.

Он видел свою миссию в том, чтобы давать окружающим его людям пример совершенного человека. Ему неважно, кто это был — сослуживцы или ээки. Тренированный, всегда трезвый, много читающий и всегда вежливый... или почти всегда вежливый... Беда была в том, что временами презрение и ненависть во взгляде делали его похожим на маньяка-убийцу. Он сам это знал про себя.

Лейтенант мстил Горчакову. Еще весной, когда людей в Ермаково было совсем мало, Иванов несколько раз заходил в медпункт, садился поговорить, но фельдшер по многолетней привычке «включал дурака» с особистом: так точно, гражданин начальник, не знаю, гражданин начальник... Что еще должен был делать старый ээк, если к нему вдруг явился кум с беседой? Иванову же был интересен этот доктор наук, работавший с самим генералом Перегудовым, который теперь был заместителем Берии. Досье у Горчакова было — зачитаешься. Но Горчаков делал скучное лицо — Гоголя читал в школе и не помнил, Гегеля не читал совсем, а о прежней работе своей ничего интересного рассказать не мог. Иванов понял, что ему отказывают в общении. Терпеть такое от ээка было непросто.

Теперь же, когда Иванов стал начальником особого отдела горчаковского лагеря — самого большого лагеря в Ермаково, он мог делать с ним все, что угодно. Но лейтенант не нарушал закон, он был честный офицер — он как раз и служил здесь, чтобы закон не нарушали.

Лейтенант внимательно, с легким презрением смотрел на Горчакова:

— Понятно, куда ты вчера рвался! Тут и доктором наук не надо быть... Спирт пили?!

— Нет, вот же он, нераспечатанный.

— Ну-ка дыхни! Сержант! — позвал Иванов через дверь. — Понюхай его!

Сержант вошел и с любопытством, внимательно принялся:

— Кажись, не пахнет, товарищ лейтенант.

— Кажись? Или не пахнет?! — лейтенанта смотрел с нескрываемой досадой.

Сержант понюхал старательнее прежнего.

— Не-е, не пахнет, куревом пахнет!

Иванов кивнул сержанту, чтоб вышел. Помолчал, постукивая карандашом по столу, свои начищенные сапоги осмотрел, высохшую болотную жижу на них... Он встал сегодня ни свет ни заря, сделал марш-бросок по ночной тайге с бойцами и собакой, но не успел. Лейтенант все равно был доволен — он еще вчера вечером вычислил этого «умника», жаль не застал его у костра.

— Так что же, гражданин Горчаков, не хотим на Родину работать? Сначала геологом не захотел, а теперь и фельдшером...

Горчаков молчал, наклонив голову. Не о себе думал — Шуре могли и срок добавить...

— Десять суток штрафного изолятора! Обоим! Без вывода!

— Гражданин начальник, санитар тут не виноват, я же вел!

Иванов как будто не слышал, дописал что-то в бумагу, расписался и встал:

— Вызовите надзирателя, сержант. Вещмешки в лазарет, под замок! — Иванов, не глядя на задержанных, вышел за зону.

Сержант сам повел штрафников. Он оказался веселым, хвастливо рассказывал дорогой про свой скорый дембель. Про девчонок с гладкими коленками и домашнее сало с картошкой, которое он будет есть целую неделю, не вставая из-за стола! И запивать горилкой!

Штрафной изолятор находился внутри зоны, на краю ее, под вышкой с часовым. Он был обнесен колючкой и еще высоким сплошным забором. На входе стоял часовой. Железная дверь в само здание тоже была на запоре, их рассмотрели в глазок и впустили.

Веселый сержант, подмигнув Горчакову, определил их в одну камеру и ушел. Надзирателям сказал, что так велел лейтенант. Их еще раз обыскали, изъяли курево и ремни. У Горчакова в нагрудном кармане нащупали и забрали леску с крючком.

Внутри изолятор еще пах свежей побелкой. Камера не маленькая, нары от стены до стены. Небольшое окно почти под потолком забрано решеткой. В соседней камере кто-то кашлял время от времени. Шура обошел камеру, ощупал все:

— Ничего, не сырая... жить можно... пол деревянный. Мужики рассказывали, зимой на бетонном полу ночевали. Я первый раз в ШИЗО<sup>53</sup>.

Горчаков пристроился в угол на нары и закрыл глаза. Шура присел рядом:

— Значит, он нас по следам вычислил. Вот сука, делать нечего! Сейчас еще придет проверит, власть показать.

— Не придет, — покачал головой Горчаков.

— Почему?

— Не опустится до нас.

— А чего он тогда среди ночи за нами подорвал? Может, стрельнуть хотел? Им за это звездочки вешают!

— Это может быть, — согласился Горчаков.

— Терпеть не могу его рожу — ни рыба ни мясо, у нас в батальоне был один такой же слизняк, все раненых немцев добивал... — Шура снова прошелся по камере, мел на стене мазнул. — Плохо, что без вывода на работу, на объекте подхарчились бы.

В двери загремел ключ, вошел надзиратель-ефрейтор размером со шкаф, всю дверь собой закрыл. Арестанты встали. Ефрейтор посмотрел на них вполне безразлично, губы у него были масляные, сало жрал, определил Шура, ефрейтор рыгнул, подтверждая.

— Днем лежать запрещено! Увижу — уберем нары, на полу спать будете! Скоро обход, пойдет замначальника по режиму, зверь-мужчина — стоять вытянуться, в глаза не смотреть, отвечать четко, просьб и предложений нет! У вас — десять суток строгого. Без вывода...

— Да это мы знаем, гражданин... — Шура не успел договорить, ефрейтор легко двинул его ладонью в лоб, Шура, не ждавший такого, отлетел, ударился боком о лавку и скорчился от боли.

— Встань смирно! — надзиратель почти не изменил благодушного голоса. — Я тебя, урка, ни о чем не спрашивал! Пайка — четыреста грамм, баланда — один раз в день, в обед, за любое нарушение — раз в три дня! Без курева, без прогулок, без писем и так далее. Будете права качать, — он в упор рассмотрел Горчакова, — заберу одежду и переведу в другую камеру, там сами друг друга задушите! — Ефрейтор отчего-то повеселел и возвысил голос. — Все понятно?

И вышел, согнувшись в дверях. Шура встал, задрал гимнастерку, рассматривая ушибленный бок, хмыкнул, вспоминая, как получил в лоб, потом сел смирно. Горчаков опять сидя привалился к стене и закрыл глаза. Шура долго и напряженно молчал, но вдруг тряхнул головой, будто удивляясь чему-то. Кулаки сжал и процедил сквозь зубы:

— Если бы люди думали друг о друге хотя бы маленько, все было бы по-другому!

Горчаков улыбнулся и, открыв глаза, с интересом посмотрел на сокамерника.

— Точно говорю! Чего вы улыбаетесь? Про этого коня? У нас в Игарке один бригадир был, так у того с добрый скворечник кулачок имелся! — Шура встал, все думая о чем-то напряженно, прошелся до двери, прищурился на Горчакова, играя желваками: — Мне сегодня ночью — у костра да на свободе — опять снилось, как одни ребята с веселыми погонями НКВД старшину разведки Шуру Белозерцева на семь годков определили. Это какая ж тогда случилась несправедливость, Георгий Николаич! А если бы они обо мне подумали? Ведь они решали — отпустить меня или в лагерь затолкать! До конца войны двадцать дней оставалось! Работал бы я сейчас токарем-универсалом шестого разряда! А жена моя, Вера Григорьевна, не мыкала бы горя, не гнулась на трех работах, а была бы счастливая женщина...

---

<sup>53</sup> ШИЗО — штрафной изолятор.

Белозерцев недовольно посмотрел на Горчакова, сел и отвернулся, нервно давя челюсти. Потом снова повернулся и заговорил спокойнее:

— Вот дай я тебе все как есть расскажу, Николаич! — Шура в волнении переходил с Горчаковым на ты. — Подробно расскажу! А ты скажи — можно меня было судить или как?

Шура всегда страшно волновался, когда вспоминал о своем аресте. Вот и сейчас глаза его загорелись вернуться в тот апрельский день и все поправить!

— Артиллеристов мы поехали сопроводить на новеньком трофейном «Мерседесе», — начал Шура, строго глядя на Горчакова. — Молоденький старлей осмотреться хотел, куда батарею перевозить, а я думал на хорошей немецкой машине по Германии покататься, сам за руль сел. Ну катим, поля засеянные, зеленые, перелески хорошие, дубовые в основном. И тут... склоном так едем, луг красивый, травка, цветочки. Впереди усадьба со старым парком, внизу в долине городки небольшие, лейтенант все присматривается. И тут постреливать по нам начали, потом гуще пошло, да как будто с нашей стороны. Мы попрыгали с машины — что такое? А к немцам заехали! Там сплошной линии обороны уже не было, и мы аккуратно так у них в тылу оказались. Мы с ребятами, нас трое было, сразу к лесу поползли, а лейтенант с водителем у машины лежат, чего-то думают. Потом, смотрим, в «Мерседес» прыгнули и по газам. А у фрицев из этой усадьбы как раз все было пристреляно. Водителя первого убило, машина встала, лейтенант выскочил, согнулся и к нам бежит. Мы ему орем ложись, а он растерялся, не ожидал, видно... Ну ухлопали его так, что и тащить нечего было. Мы с ребятами в лес заскочили и к своим пошли, дело привычное, всю войну так ходили. На городок какой-то наткнулись — непонятно, наш — не наш, осмотрелись — ничейный вроде! Войск нет... И тут мы, конечно, малость провинились — пивка выпили и закусили, да еще шнапса с собой набрали. Ночью, под утро пришли к своим, а там особисты ждут — где генеральский «Мерседес»? Кто-то из начальства на эту машину глаз положил. А у нас Вася один был шепутной, возьми и брякни: поехали, мол, покажем, где «Мерседес». Если не забздите! И этот сержант-особист, такой же ведь, как и я! Смотрю — глаз прищурил, подлец! А мы же им все как есть рассказали, шнапс выставили, колбасы... От немцев еле выбрались да выпившие — счастья полны штаны! Дома!

Белозерцев похлопал себя по карманам, ища папиросы, вспомнил, что их отобрали:

— Ну почему курево-то надо отнимать?! — он встал, подошел к двери, поскреб ногтем металлическую обшивку, в глазок заглянул. Вернулся и сел близко к Горчакову. Опять заговорил тихо и возбужденно: — Сегодня, у вахты пока сидели, я подсчитал — семьсот с лишним человек прошли. Шестнадцать бригад! И всех обшмонали, карманы вывернули, потом с конвоем на работы повели — одних собак больше тридцати штук! На месте работ тоже охрана стоит целый день. Это какие же затраты? А карцер вот... дверь железом обили! Сколько труда лишнего?! Ведь эту тысячу людей надо где-то изловить, судить хоть за что-нибудь! Потом под охраной привезти сюда, под охраной кормить-поить и срать водить. Почему никто не подсчитает?!

Это была любимая лагерная песня, Горчаков столько раз ее слышал, что даже улыбнулся.

— И все это за народные денюжки! Поэтому и жизнь такая, разве народ всех этих прокормит?! — Шура снял ботинок, пощупал что-то внутри недовольно и снова надел.

Горчаков слушал молча. Солнце появилось в небольшом оконце и медленно поползло по стене. Холодное клетчатое солнце неволи.

На входе зашумело, раздалась команда «Смирно», громыхнула одна дверь, потом другая, потом конь-ефрейтор открыл их камеру, пропуская невысокого и очень худого капитана. Взгляд его мелких глаз, как и все вытянутое вперед, болезненно обтянутое кожей лицо, был как сверло.

— Почему двое в камере? — спросил капитан, не открывая рта.

— Распоряжение лейтенанта, он посадил, товарищ капитан, их с вахты привели... — пояснил ставший ниже ростом ефрейтор.

— Какого лейтенанта? — вскипел вдруг капитан, ощерив мелкие зубы.

— Начальника особого отдела, товарищ капитан, я это... спрашивал...

— Я вас не спрашивал, что вы спрашивали! — пальцы капитана нервно сжались в маленькие кулачки, а взгляд сделался совершенно непонятный. — Па-чч-ему беззаконие?! Кто велел, я требую?! Жалобы, просьбы есть?

Горчаков с Шурой стояли, стараясь не шевелиться. Капитан вышел и застучал каблуками по коридору. Лязгнул тяжелый металлический засов входной двери.

— Пошел звонить в Ермаково... — Шура, поднявшись на цыпочки, прислушивался, что делается на улице. — Против особиста не попер! Все их бздят!

— Пусть звонит, в санчасти про нас узнают... — Горчаков сел на нары и крепко зевнул.

## 16

Рояль был из Германии. Звучал прекрасно. В Москве немного было таких инструментов. Увы, ручки, его мучившие, были не для него. Милые детские ручки... У девочки был совсем слабенький слух. Ася вежливо намекала на это, но родители — пятидесятилетний боевой генерал и особенно его молодая, круглая от беременности супруга хотели, чтобы Олечка «хотя бы для гостей» научилась. И бедная послушная Олечка училась.

Сейчас она играла гаммы, она почему-то любила их играть, а Ася сидела рядом и смотрела за окно. День был осенний, теплый. С утра покропил мелкий дождичек, потом вышло солнце, и все засверкало и просохло, и стало даже немного жарко.

Ася дорожила этим местом. Платили в два раза больше, чем в других семьях (это, конечно, генерал), но строго раз в месяц (это его хозяйственная супруга). Ася в других местах могла попросить иногда, чтобы немного вперед дали, но тут не решалась. Генерал был щедрый, с огромной, видимо, зарплатой, в орденах, герой войны. Он часто работал по ночам и утром, в одиннадцать часов, проходил выбритый, в облаке одеколона и черном, шитом золотом атласном халате, из-под которого видны были брюки с красными лампасами. Через гостиную, где стоял рояль, шел тихо, кланялся предупредительно. Он был довольно милый, из крестьян, судя по лицу, но способный и выучившийся.

Они с женой всегда завтракали на кухне. Там уже хлопотала его толстушка и пахло яичницей из четырех яиц — Ася все это знала наизусть, — а потом кофе. Это был не кофейный напиток «Балтика», Ася нечаянно, контрабандой тянула в себя забытый запах.

— Анна Васильевна, а вот здесь можно я лучше вот этим пальцем сыграю? — Оля осторожно трогала задумавшуюся учительницу музыки за руку.

Ася смотрела некоторое время, не понимая.

— Ну конечно... именно этим, Оля, и держи, пожалуйста, руку повыше, вот так... — Иногда Асе казалось, что Оля тоже все понимает и занимается только для того, чтобы Асе платили эти деньги.

— А я хотела этим, — Оля, шалая, ткнула в клавишу и начала гаммы сначала.

Ася снова погрузилась в свои заботы. Первого сентября Коле разрешили пальто бритвой. В раздевалке, была веселая толчея, он был с цветами и не заметил ничего, только дома Ася увидела — правый рукав сверху донизу был разрезан одним движением, местами ткань совсем расползлась и торчала черная подкладка. Пальто было новое, он надел его первый раз. Ася так счастлива была — купила случайно, без очереди, в конце месяца выкинули — отличное чешское коричневатое пальто, немаркое и даже стильное. Пришлось денег перехватить, еще отдать не успела... Разрез на таком материале был очень виден. Полночи просидела сама, потом к портнихе ходила — ничего нельзя сделать! Придется так ходить, думала Ася, представляя огорченное и ангельски безропотное лицо сына. С самого детства он ходит в чем придется, в чужих обносках. Она задумалась — было ли у Коли вообще когда-то новое пальто? И еще ему срочно нужны были новые ботинки. Подметка на левом почему-то протерлась до дыры... Как же пахнет кофе! — Ася нервно покосилась на дверь, — и почему именно сюда тянет запах? Давно не пила, и бог бы с ним, но пахнет прекрасно. Наверное, тоже трофейный.

Вошла домработница. Сейчас предложит «чашечку кофэ» — приготовилась Ася. Это все генерал...

— Принести чашечку кофэ? Хозяева спрашивают, — домработница кивнула в сторону кухни.

— Спасибо, Катя, мы занимаемся... — Ася, улыбаясь, отвернулась к ученице. — Хочешь, Олечка, я тебе покажу... ты хотела «Турецкий марш»... — Ася всегда в конце урока играла сама, то ли деньги отработывала, то ли перед инструментом извинялась.

— Анна Васильевна, а правда же, ваш папа был настоящий профессор музыки? — Олечка не первый раз это спрашивала. Она вышла из-за рояля.

— Правда, — Ася села за инструмент, ей было высоко, она не стала опускать банкетку.

Опустила голову и держала руки на коленях. Сосредоточиваясь, она всегда звала на помощь Геру. И он являлся, молодой и страшно талантливый, устраивался рядом, готовый слушать. Ася медленно подняла совсем другое, строгое и красивое лицо. Руки взлетели над клавишами.

В кухне замолчали, перестали звенеть ложками и ножами. Ася вместо Моцарта жестко выдала нисходящий каскад аккордов фортепьянного концерта Грига. Инструмент звучал чудесно — большой концертный «Аугуст Фёрстер» из какого-то хорошего зала в Германии. Концерт Грига очень любил Гера. Если бы он правда оказался здесь... мог послушать или сыграть... мы могли бы что-то вместе, только бы здесь никого не было... никаких генералов, их жен и девочек... Хотя бы ненадолго, только Гера, только Горчаков Георгий Николаевич... И потолков этих старинных германских не надо... темных, с резными дубовыми листьями, с пучеглазыми головами оленей и кабанов. Не надо ничего, только Геру моего... И она видела, видела его сбоку у окна! А прекрасные звуки летели и летели в пространство, и не было никого вокруг, только музыка, преодолевающая все, летящая над реками, тайгой и болотами. Слезы потекли, но она продолжала, лишь упрямо наклонила голову, не видя вокруг никого. Играла, и плакала, и молилась о нем, помоги ему, Господи, не может же быть, что Ты ничего не слышишь...

Она остановила вдруг игру, глаза были мокрые, спокойные и пустые, улыбнулась одними губами притихшей девочке и, забрав сумочку, быстро пошла к выходу. В дверях с очень серьезным, понимающим лицом стоял генерал. Склонил голову, когда она проскользнула мимо, похлопал в ладоши:

— Bravo, Анна Васильевна! Bravo! Bravo! Спасибо!

Ася постояла в подъезде, как могла привела себя в порядок и вышла на солнечную улицу. Былолюдно, дворник, набив деревянный ящик желтыми кленовыми листьями, катил его куда-то на самодельной тележке с подшипниками вместо колес. Подшипники скрипели на всю улочку. Ася забежала в булочную, стояла очередь, грудастая продавщица в белом халате не отпускала, считала лотки с хлебом, который подавали в окно. Записывала химическим карандашом. Уголок рта, где она слюнявила карандаш, синел темной точкой. Пахло вкусно. Грузчик, разворачиваясь с лотком в узком коридоре, с наглой, веселой ухмылочкой норовил проехать по высокой груди, выпирающей из белого халата. «Вовка!» — тихо вскрикивала продавщица и пихала грузчика в плечо, но и на полшага не отступила. Ася не стала стоять, по дороге была еще одна булочная.

Дверь ей открыл Сева, глаза горят, в руках большая железная «Победа», совершенно как настоящая. Севка дождался, когда мать как следует увидит машину, присел и осторожно покатил ее по полу в сторону кухни.

— Во-во! Давай, Севка, шофер будешь, как дядя Ефим на войне! — в дверях своей комнаты, ближней к кухне, на низенькой скамеечке сидел сосед Ефим Великанов. В семейных трусах и застиранной зеленоватой майке. Великанов был самый маленький в квартире, ниже Коли. Кивнул вошедшей Асе. — Обмываем с твоим сынулей «Победу».

Дверь к Ветряковым открылась, вышла Нина, одергивая платье и заглядывая в узкое зеркало в коридоре. Подвела губы помадой.

— А вчера ты что обмывал, босота? — спросила беззлобно.

— Ты, что ль, поила? — в тон ей благодушно ответил Ефим. Правой руки у него не было по локоть, и он только куце отмахнулся неровно зашитой культей.

— На инвалидские гуляешь! — не унималась Нина, застегивая босоножки.

— Давай я тебе свои инвалидские, а ты мне мою руку!

— Ты уже предлагал, тебе зачем бабская рука-то?

— Ты, Нинка, совсем дура, у тебя и мозгу только в гастрономе полы дрючить! — Великанов встал, пошатнувшись, и в сердцах закрыл дверь.

— Ну-ну, — Нина поправила в зеркало недорогую модную шляпочку. — Лучше бы мальчишке ботинки купил, чем машину! Богач! И на что пьет?

Все в коммуналке были в курсе проблем друг друга. Ася поменялась местами с Ниной, оглядела ее крепдешиновое цветастое платье:

— Хорошее, тебе идет! — одобрила и открыла дверь в свою комнату.

Коля делал уроки, закатив глаза, кругами ходил на пяточке меж топчаном и дверью. Губами шевелил.

— Mam, проверь! «Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман, исчезли юные забавы...» — забормотал быстро.

Ася слушала, кивала головой, сама осторожно отодвинула штору, разделявшую комнату. Наталья Алексеевна плохо себя чувствовала. Несколько дней уже лежала с закрытыми глазами и ела совсем мало. На Асины расспросы не отвечала, только хмурилась и несогласно качала головой. Денег на лекарства не было, врач скорой помощи выговорил сердито, что вызвала «от нечего делать», и предложил просто подкормить старуху. Наталья Алексеевна действительно была очень худой, но дело было не в еде — какая-то внутренняя, душевная боль точила свекровь.

— «...Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья, — Коля подсмотрел в книгу и продолжил громче: — Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена!»

Коля постоял, о чем-то думая, обнял мать и зашептал на ухо:

— Баба говорит, что Россия не воспряла и никогда больше не воспрянет ото сна!

— Она сегодня разговаривала с тобой? — удивилась Ася.

— Когда я первый раз прочитал, она открыла глаза и сказала, что кругом такая ложь, что никакой России уже нет и больше никогда не будет.

Дверь заскрипела, в нее плечом вперед протискивался Великанов. Початую бутылку, два стакана, горбушку и тарелку квашеной капусты прижимал к груди рукой и культей. Он за дверью, видно, слушал стихотворение, тряхнул головой одобрительно:

— До чего же молодец ты, баба, и ребята у тебя путевые! Давай... — мотнул головой. — День рождения у меня, выпей с пролетарьятом! Не откажи, Ася!

Ася вздохнула, виновато посмотрела на сморщившегося Колю и пошла с Ефимом к нему в комнату.

Вечером Клава принесла курточку Коле. Поношенную, но крепкую, с модными накладными карманами. Коля уже улегся. Сел в кровати хмурый.

— Померяй! — От Клавы пахло духами, вином и еще чем-то праздничным, луком из винегрета. Она закурила сигарету в изящном мундштучке, спички бросила в сумочку. — Меряй, чего ты! — дружелюбно мигнула Коле. — Что, старуха-то не встает уже? — повернулась к Асе.

Коля не трогал куртку, косился в сторону матери. Было уже полдвенадцатого, Ася сидела за пишущей машинкой в длинной ночнушке с серым пуховым платком на плечах. Клава стояла в дверях, посадить ее было некуда, Ася тоже встала, виновато улыбаясь.

— Спасибо вам! Померяй, Коля...

— Хочешь, на работу устрою, мне Нинка сказала... — теперь стало видно, что она крепко выпившая. — Это можно! Два слова скажу моему! Хошь, музыкантшей пойдешь... а то трещишь тут целыми днями, ты баба-то еще ничего! Приодеть по-людски...

— Коля, что ты возишься? — Асе отчего-то было неловко за эту курточку.

— Да-а... — Коля не мог сунуть руку в рукав, — мала она...

Коля недолюбливал за что-то Клавдию. Куртка между тем очень не помешала бы. Ася растерялась, а Клава ухмыльнулась понимающе:

— Ладно, смотрите сами, я от души... не с покойника, не думайте! С рук купила...

Ночью Ася не спала. Снова разговаривала с Горчаковым.

«Проснулась от ужасно сволочной мысли: Коле не в чем ходить в школу, а я не хочу эту Клавину курточку... и вообще не хочу никакой помощи от нее. Как с этим жить? Все равно ведь он ее наденет, у него вся одежда — заплатка на заплатке... Потом думала про его зимнюю обувь, которой нет, и про Севу, у него вообще ничего нет, и эту зиму ему придется сидеть дома».

В коридоре заскрипела дверь. Ася прислушалась. Это был пьяный Великанов, бормотал что-то негромко и шел по стенке, не включая лампочку. Вскоре хлопнула дверь в туалет. Она поднялась, накинула пуховый платок и села к столу. Засветила настольную лампу, книжку открыла машинально, но читать не начала. Взяла в руки рамочку с фотографией молодого Горчакова.

«Ты просто так подарил мне эту фотографию, когда мы ходили к Вадим Абрамычу на сольфеджио. Я прекрасно помню тот день... ты еще предлагал поехать на велосипедах... но я была против — пока мы с тобой шли, мы разговаривали. Ты тогда ухаживал за мной в шутку, а для меня все было серьезно. Интересно, ты это понимал? Мне было, как сейчас Коле, и я тогда влюбилась!

Я недавно Севе рассказывала про те времена и про нас с тобой. Он все понимает, такой философ, дело даже не в том, что он иногда говорит, но как он смотрит, как не по-детски реагирует на сложные вопросы. С ним должен заниматься мужчина, я не справлюсь. Наталья Алексеевна читает с ним, разговаривает самым серьезным образом, она уверена, что он непростой мальчик. Я тоже это вижу... Он может почувствовать мое состояние, какое-нибудь особенное, даже и для меня сложное, подойдет и прижмется. Или просто сядет молча рядом и смотрит... смотрит, понимая тебя без слов... Откуда в нем это глубокое, прямо мировое спокойствие?

Но он и ребенок, конечно... Строит домики из книжек, это его единственные игрушки, недавно соорудил из стульев «палатку геологов», одеялом и моим платком все завесил... Мы живем бедно, я не пишу об этом в письмах — нет никакого смысла, и потом, мы не самые бедные, многие живут хуже. Голодных ребятишек-попрошаек много на улицах, в магазинах. Я иногда даю что-то, но что я могу? Ветряков пришел как-то выпивший, вызвал меня на кухню и стал отчитывать, что я никогда не обращаюсь «по-товарищески». Даже простил меня, что я была в ссылке, так и сказал: «никто еще ничего не знает, может, ты и не виновата совсем! Беременная-то баба как может быть виновата!» Откуда он знает, что я беременная ехала в ссылку? Потом дал мне денег — он получил премию. Так стыдно стало, я не взяла, ушла в комнату... А потом все время думала о них, если бы он еще раз предложил, я бы взяла. До чего докатилась!

Вообще те, кто воевал, не так боятся... особенно выпив, а пьют они, кажется, все... часто говорят, что думают. *Самого*, правда, громко никто не осмеливается обвинить... Но такого общего животного страха, как в конце тридцатых, мне кажется, сейчас нет. Война что-то поменяла, люди стали немного уважать себя. Я в тридцать девятом, когда вернулась из ссылки, боялась за тебя, за Колю, за родителей... боялась, что нас добьют окончательно. Просто уничтожат всех... Если бы не война, так и было бы. Его остановила война, он испугался.

Я все время говорю с тобой, это уже что-то нездоровое. Многолетняя привычка. Иногда стираю и рассказываю тебе, что я стираю, но чаще пишу письмо. Как будто пишу. Наталья Алексеевна жалуется на меня Коле, что я все время молчу. Так и есть. Наговорюсь с тобой, и вслух уже ничего не хочется.

А иногда не выдерживаю, начинаю злиться, и у меня текут слезы. Знаешь, как трудно быть такой матерью! Ведь они тебя не видели. И ты их не видел — таких славных, умных, похожих на тебя, они тебя не видели, а оба ходят точно, как ты, и так же глядят, особенно Сева.

Сейчас четвертый час ночи... если бы Господь сказал: любое твоё желание! Я взяла бы ребят, крепко прижала к себе и полетела. Все время вижу, как мы возникаем возле тебя, на какой-то поляне в тайге. И я исчезаю, потому что такое условие, такой договор — все мои силы уйдут, чтобы принести их к тебе, а потом я должна исчезнуть из вашей жизни. Вот что я, ненормальная, придумала, говорю с тобой, а мне страшно, боюсь их выронить. Господи, как страшно!

## 17

Только в начале сентября попал Белов домой. На подходе к Игарке начистился, прикрутил орден, взял документы на помощника механика Николая Михайловича Померанцева. Тот наладил радиостанцию, они ею уже пользовались, и Сан Саныч хотел попробовать официально провести Померанцева радистом на полставки. Белов считал, что делает все правильно, но нервничал — могли и как следует по голове надавать: доверил рацию ссыльному, отбывавшему срок по 58-й статье. Без

разрешения органов, без приказа по судну. С третьим отделом госбезопасности такие штуки могли плохо кончиться.

В управлении водного транспорта всем по-прежнему распоряжался главный диспетчер Кладько. В небольшой комнате было много народу. Белов, здороваясь со знакомыми, прошел к столу диспетчера. Докладывать не пришлось, Кладько все знал о работе «Полярного», без лишних расспросов позвонил в третий отдел, не рассказывая ничего лишнего, согласовал радиста Померанцева и стал выписывать нужные бумаги. Сан Саныч с невольным уважением рассматривал немолодого, рано поседевшего человека. По слухам, Кладько ходил когда-то капитаном дальнего плавания, потом руководил Черноморским пароходством, теперь же отбывал большой срок. Костюм, светлая рубашка, галстук. Жил главный диспетчер не в зоне, как это полагалось расконвоированным, а в Игарке, как вольный. На заключенного он совсем не был похож, думал Сан Саныч, выходя на крыльцо.

Он не додумал свои мысли про расконвоированного диспетчера. Погода была хорошая, дело он сделал и ему просто приятно стало, что он сам — Сан Саныч Белов — не заключенный. Что можно просто стоять среди улицы, щурясь на солнце, и раздумывать, куда пойти.

Зинаида была дома, лежала на кровати и подпиливала ногти, чуть испуганно на него посмотрела, как будто не узнавала, потом улыбнулась своей лисьей улыбкой, потянулась:

— Всегда, как снег на голову! Хорошо застал, я в парикмахерскую собралась... Ты надолго?

— Хоть бы встала, муж пришел... — Белов, улыбаясь, разувался и увидел у двери мужские тапочки. — О! Это чьи же?

— Что? — не поняла Зинаида, села в кровати и встревоженно побежала глазами по комнате. — Это мама...

— Сорок пятый у мамы? — Белов перестал разуваться.

— Мама тапки какие-то принесла, для тебя, померяй! Ты надолго или опять на часок? От такого муженька не только тапочки заведутся! — Зинаида снова обрела свой обычный весело-нагловатый тон.

— Знала, за кого замуж идешь... — у Белова неожиданно пропало настроение. — Ты, Зинаида, меня перед соседями тут не позоришь?

— А ты иди сам у них спроси!

— Ты чего? — не понял Белов.

— А ты чего? — во взгляде Зины был наглый вызов.

— Ты если хахаля себе нашла, скажи лучше по-хорошему... — Сан Саныча вдруг начало отпускать.

О Николь вспомнил, он часто о ней вспоминал, и от этого сравнения полегчало. Подумалось вдруг, что не Зинаида, а та далекая и тонкая девушка его жена, что он просто двери перепутал... Белов, улыбаясь внутренне, стал надевать ботинки. Ни злости, ни обиды не было, и даже наоборот — ему на законную жену Зину наплевать стало. Вместе с ее мамиными тапками и вместе с ее мамой сорок пятого размера!

— Ты куда?

— На буксир!

— Почему?

— Там у меня свои тапки!

— Ага! И поварихи, и матроски! Не сильно старую матросочку-то взял? Двадцать-то восемь годков? Фашистку недобитую!

Сан Саныч с удивлением уставился на Зинаиду.

— Ты чего несешь?

— Я про тебя столько знаю, чего и ты не знаешь! Поаккуратней со мной!

Сан Саныч постоял, пристально глядя на жену, и молча вышел. Шел и не мог не думать про ее слова. Получалось, что она ему угрожала, это было смешно — никакой женой она ему никогда не была! И терять ему тут нечего было!

Команда «Полярного», черная от пыли, заканчивала грузить уголь. Их баржу, стоявшую неподалеку на рейде, догружали с катера какими-то ящиками. Заключенные работали, двое часовых расхаживали по палубе.

К Ермаково подходили ранним утром. У Белова была ночная вахта, он поспал несколько часов, не выспался, попил чаю и хмурый вышел на палубу. Солнце освещало навалы материалов на берегу. С реки они выглядели так, будто сам Енисей и натащил все эти немыслимые горы мешков, ящиков, досок и техники на левый берег. Одинокие часовые стояли и сидели, охраняя народное добро, а сам народ только просыпался. У эков подъем в шесть, глянул Белов на часы, — скоро явятся.

Начался поселок. Склон пологого таежного холма, протянувшегося вдоль Енисея, был выпилен, и на нем возникала жизнь. Непривычная, слепленная на скорую руку, но все-таки жизнь. Почти ровные ряды больших палаток образовали длинные улицы и перекрестки. Издали они были похожи на деревянные бараки, окна поблескивали на солнце, кое-где уже задымилась трубы, люди готовили завтрак. Белов окончательно проснулся, удивленный переменам.

— Три месяца назад тайга стояла с медведями! — изрек вышедший покурить Грач.

— Ну, — машинально кивнул Белов, рассматривая высокий угольный террикон на берегу.

— Ребята в Игарке говорили, магазины уже работают, и товары все самые лучшие. Завлекают! Это вон, — Грач показал на двухэтажное здание, строящееся недалеко от пристани, — управление всей стройкой будет... И водопровод! А, Сан Саныч?! Я всю жизнь без водопровода прожил, а тут будет!

Замолчали. Огромному строительству конца не видно было ни в ту ни в другую сторону. Тайги напилили варварски, явно больше, чем требовалось, будто кто-то не сильно умелый, но с могучей волшебной палочкой здесь старался.

— Сейчас как-нибудь завезут, потом зимники<sup>54</sup> понаделают и растащат по тайге. Вон тракторов сколько — новенькое все!

— Какая все-таки силища человек! — глубокомысленно произнес Сан Саныч.

— Ребята в Игарке говорили, одних эков больше ста тысяч завезли!

— Врут твои ребята, Семеныч, во всем Красноярске двести пятьдесят тысяч населения.

— Я, Сан Саныч, за что купил, за то и продаю! Сколько барж пригнали, а в каждой по две тысячи, а то и больше... Их и на пассажирских, в трюмах возят. Что это, вольные, что ли, все построили? Тут эков столько, что и охраны не хватает! То порежут кого, то ограбят — менты игарские сюда ни в какую не хотят!

Пока ставили баржу под разгрузку, людей на берегу прибавилось. Грач, конечно, перегибал с цифрами, но в главном был прав — весь берег был разгорожен на рабочие зоны. Они сейчас и оживали, подходили колонны людей в лагерной одежде, их считали перед воротами и запускали за колючку. Локомобиль зачихал громко, стреляя дымом в чистое утреннее небо, затарахтел и потянул ленту транспортера, на барже с углем появились темные фигуры грузчиков с тачками. К берегу по грязной лежневке<sup>55</sup> подъехал грузовик, из него выскочил офицер и быстро пошел к воротам погрузо-разгрузочного ОЛП.

Белов переоделся и вскоре сам уже шел по Ермаково. Строительного бардака и неразберихи здесь было больше, чем виделось с воды, но от этого, от сотен и сотен живых бритых мужиков и баб с лопатами, тачками и носилками, которые были тут повсюду, размах работ выглядел еще грандиознее и так радовал Белова, что он все время невольно улыбался. А встречая знакомых, крепко жал руку и делился впечатлениями.

— Белов! Александр Александрович! Какая удача! Вы мне очень нужны! — услышал Сан Саныч знакомый, чуть дребезжащий голос капитана Клигмана из небольшой палатки, возле которой стоял часовой. Клигман выглядывал в окно, завешенное марлей от комаров.

Белов вошел, внутри было просторно. В предбаннике на фанерной стене, разгораживающей палатку, висели графики, приказы, списки материалов и людей. Стоял столик с чайником и стаканами,

---

<sup>54</sup> Зимник — зимняя дорога по промерзшим топким местам.

<sup>55</sup> Дорога, вымощенная деревом.

в вазочке горкой лежали сушки и конфеты. Сан Саныч остановился, осматриваясь и прислушиваясь к голосу Клигмана. Тот в соседней комнате диктовал машинистке. Дверь в перегородке открылась:

— У меня к вам пара важных вопросов, я уже заканчиваю. Попейте чайку...

Белов сел, налил остывшего чая. Конфетку развернул и быстро сунул в рот — он всегда робел в кабинетах больших начальников. Клигман теперь был главным снабженцем всего Строительства-503 от Енисея до Урала. Погоны на Яков Семеныче уже были золотые, майорские.

— Идем дальше, Таня... — Клигман продолжил диктовать. — По предварительным расчетам для постройки каждого километра железной дороги необходимо будет завезти от трех до четырех тысяч тонн различных грузов, не считая внутренних перевозок и перевозки людей. Проблема складских помещений и разгрузочных работ в поселке Ермаково остается острой...

Клигман остановился, видно, перечитывал.

— Так, Танечка, давайте уберем вот это все... зачем начальству сложности? Все, завтра в семь утра, пожалуйста... — Клигман вышел к Белову. — Извините, товарищ Белов...

— Поздравляю с повышением! — встал навстречу Сан Саныч.

— Спасибо... У меня вот какой вопрос, — Клигман сел, снял фуражку, на лбу и затылке остался красноватый ободок. — Нам в следующем году надо по реке Турухан поднять много грузов, я запросил отдел водного транспорта, они считают, что такой объем невозможно и за три года перевезти. Вы бывали на Турухане?

Сан Саныч замялся, наморщил лоб.

— Я именно с вами говорю, ваш буксир самый мощный во всем нашем флоте... пока, во всяком случае. Вы двухтысячную баржу сможете повести по Турухану? Знаки ходовые там ставят...

— От подъема воды зависит, да и река небольшая... — Белов не знал Турухана.

Клигман думал о чем-то хмуро, на Белова смотрел так, будто тот и был виноват.

— У нас в Яновом Стане второе строительное отделение — сотни тысяч тонн надо туда забросить: гравий, песок, рельсы, шпалы, паровозы... От этого зависит укладка полотна, вы понимаете?! Все капитаны мнутя, толком ничего не говорят.

— Река — не железная дорога, товарищ майор, она сегодня так, завтра иначе может вывернуть, — нахмурился Сан Саныч.

Клигман встал и быстро заходил, думая о чем-то. Поправил отошедшую марлю на окне.

— В этом году мы должны построить первые тридцать километров дороги от Енисея на запад. — Он глянул на окно и заговорил тише. — Это невозможно, я вам скажу, а мы делаем! Вот так! А вы все думаете! — Он положил руку на плечо Белова. — Сан Саныч, придумайте, как это сделать, я в вас верю! И Макаров про вас хорошо говорит... У вас, кстати, никаких вопросов по снабжению нет?

Белов покачал головой, козырнул и вышел. Клигман еще в тот первый раз ему понравился. Простой, вежливый, за дело старается. Шел и думал о Турухане. Он не знал этой реки, даже устья не видел, оно от Енисея было скрыто большим островом. Знал, что катера туда и летом ходят. Хорошее волнение зарождалось в груди, от больших задач у Сан Саныча всегда так бывало.

С этим настроением и зашел в новенький продуктовый. Магазин еще был не достроен, половина помещения завешена брезентом, и оттуда доносился стук молотков, но уже торговали, очередь стояла. Прилавков что надо — кроме обычного спирта на розлив и в бутылках, армянский коньяк трех и пяти звездочек красовался на полке, конфеты — карамель и шоколадные, копченая колбаса, сало толстое, розовое на разрезе, банки с иностранными консервами. Крупы, мука трех сортов, тушенка, сгущенка, сухие овощи и фрукты.

Он набрал полные руки и еще три бутылки коньяка «на будущее». На судно отправился. «Полярный» был виден прямо от магазина, Белов шел вдоль обрыва над Енисеем по новенькому деревянному тротуару. Не везде он был еще готов, местами надо было и по грязи перебираться. Белов улыбался. Просторно было над рекой, вольно, девушка в нарядном платье, прическе и в запачканных кирзовых сапогах шла навстречу, в руках — туфли с каблуками. Улыбнулась Белову, он хотел козырнуть, но руки были заняты, и он только еще шире улыбнулся. На столбах висели монтажники, вворачивали новенькие изоляторы и натягивали провода. Перешучивались, матерились беззлобно. Был вечер субботы, завтра выходной.

Сан Саныч позвал в свою каюту старпома и главного механика. Грач давно, «в прошлом веке» бывал на Турухане, он сильно сомневался, считал, что не только с большой баржей, а и сам «Полярный» с его глубокой осадкой никак не пройдет до Янова Стана. Фролычу идея нравилась, он, как и Белов, любил нестандартные ситуации. На лоцманских картах Турухан был девственно чист — ни глубин, ни обстановочных знаков, река нарезала петли и петли среди тайги и болот. Они прикидывали, как высоко там поднимается вода весной и как долго стоит.

— Повороты очень крутые, — старпом, прищурившись, всматривался в карту, — большую баржу накоротке придется тащить.

Сан Саныч согласно кивнул и достал бутылку коньяка. Они еще долго обсуждали плюсы и минусы сильного, но глубокосидящего «Полярного». Работа была особенная и очень рискованная, как всякая весенняя проводка. Можно было хорошо отличиться — самая большая баржа, которую туда подняли этой весной, была всего триста тонн, Белов мечтал затянуть в десять раз больше — трехтысячную, а еще лучше караван провести.

Вечером Белов принял душ, побрился и пошел в гости к своему однокашнику по техникуму Петру Снегиреву. Он тоже был приписан к Стройке-503, командовал небольшим катером.

Вроде и названия улиц были написаны, где на столбиках, где прямо на палатках, и номера палаток указаны, но Белов не быстро нашел Петино жилье. Улицы в городке были кривые, рядом с казенным жильем люди сараюшек и деревянных балков наставили, и даже землянок накопили под соленья-варенья — в цыганском таборе порядка было больше. Белов сначала радовался всему этому людскому разнообразию, но пока искал, устал радоваться, да и вымазался изрядно. Тротуаров еще не было, доски лежали через грязь.

Внутри палатка выглядела, как барак, только стены были из толстого брезента. Посередине длинный коридор, две чугунные печки в разных его концах. Из коридора направо и налево двери в жилые комнаты. У некоторых двери из фанеры были устроены, у большинства же висел все тот же тяжелый брезент.

— Здорово, Петя! Здрасьте! — поклонился Сан Саныч жене Петра, приподнимая фуражку. — Александр!

— Саня! Вот это гость! Галя, это Сан Саныч Белов, у нас койки в общежитии рядом стояли!

Галя, симпатичная, с большим животом, опять кивнула и засмузилась, принимая кульки Белова. Комнатка была такая маленькая, что Сан Саныч слегка опешил. Конечно, он видел и не такую тесноту, его соседи по Игарке в двадцатиметровой комнате жили в три семьи — шестнадцать человек... но там у людей были стены, а здесь — брезент, и так тесно!

— Это ненадолго, — увидел Петя растерянность однокашника, — осенью восемнадцать домов, целую улицу сдают. Нас, как беременных, обещали в первую очередь заселить.

Белов вежливо улыбался. Они с Петей сидели на деревянном топчане, застеленном матрасом, на нем, видно, и спали они с Галей. Небольшой стол под окном, тоже самодельный, Галя резала колбасу, сидя на сундучке. Рядом с ней, у входа стояла фабричная детская кроватка, в которую пока были сложены разные недетские вещи. Галя встала, виновато извиняясь, протиснулась между Беловым и кроваткой и вышла в коридор. Потолка у комнатки не было, он был общий — косая крыша палатки, утепленная войлоком.

— Давай таянем, чего ты? Ни у Гальки, ни у меня вообще ничего не было! И в пароходстве ничего не обещали, а на этой стройке — осенью, максимум к новому году — своя комната! Первое время — десять метров, потом расширят! — Петя разлил коньяк. — Давай за встречу! Мы с ребятами уже сообразили по случаю выходного.

Выпили, закусили колбасой.

— И снабжение намного лучше, чем в Игарке, — продолжал хвастаться Петя. — Зарплаты, полярка<sup>56</sup> — Он, повозившись, достал откуда-то из-под топчана толстую пачку<sup>57</sup> денег, завернутую в наволочку. — Во! Девать некуда!

— Я в следующем году на «Полярном» на Турухан собираюсь, — перебил его Сан Саныч. — Что там с глубинами? Поднимусь?

— Весной — нормально, летом — бесполезно с твоей осадкой! Там сейчас «Красноярец» работает с брандвахтой, временные знаки ставят до Янова Стана.

— А баржи какие таскаете?

— Да какие баржи?! Паузки!<sup>58</sup>

Вся огромная палатка, в которой помещалось человек пятьдесят или даже больше, гудела как улей — разговаривала, смеялась, где-то грубый мужской голос нетрезво выговаривал жене, ребенок плакал. Радио на столбе передавало новости. Какая-то невидимая хозяйка жарила на буржуйке картошку с луком, и его запах доставался всем. Где-то недалеко запели красиво.

— Это через два палатки, в тридцать пятой... такие хохлы певучие подобрались — проигрывателя не надо! — пояснил Петя, нетвердой рукой разливая коньяк.

Галя помалкивала и смотрела в мутное окно из оргстекла. Солнце уже село, за окном серели летние сумерки.

— Непривычно после города? — обратился к ней Сан Саныч. — Не скучно?

— Нет, — скромно ответила Галя и преданно посмотрела на Петра.

— Какая скука?! Я все время на катере, она одна на хозяйстве.

— Зэки не беспокоят?

— Нет, ничего, под конвоем ходят... — Петя мигнул Белову, опять нагнулся под кровать и, пошарив, вытянул приклад ружья. — У меня тут не забалуешь!

— Они под наши палатки ямы рыли... — улыбнулась Галя, — обычные люди, им и разговаривать с нами не запрещено. Кормежка сытная, они сами рассказывали. В зоне ларек есть продуктовый...

— Кормят их хорошо, это точно, — перебил Петя, — моя мать в Красноярске хуже питается! Баню вон отгрохали! Для вольных старая развалюшка на берегу, а им новая баня!

— Так сколько их, а сколько нас... — заступалась Галя.

— Поэтому я в озере моюсь, а они в бане! — наседал Петя.

Галя хотела еще что-то сказать, но не стала. За брезентовой стенкой в соседней комнате сначала долго шептались, а потом топчан заскрипел так ритмично, что Белов невольно покраснел, а Галя вышла из комнатки. Петя только хмыкнул на это дело и весело склонился к уху Сан Саныча:

— По несколько раз за вечер так! А бывает и с двух сторон! А у меня Галька с таким пузом! Хоть беги! Давай выпьем!

Выпили. Петя опять склонился к уху Сан Саныча:

— Это-то ничего, весело, — кивнул на скрип. — Дня два назад у соседа понос случился! Вот концерт был — всю ночь с ведра не слезал! Как даст! Как даст! Да на всю палатку!

Распрощались ближе к полуночи. Петя пошел проводить Белова, закурил. Оступаясь в грязь, по доскам выбрались на деревянный тротуар. Обстучали ботинки. Живыми хвойными запахами тянуло из тайги. В тихих сумерках сразу в нескольких местах негромко пели.

— Ну давай, — протянул руку Белов. — Хорошо тут у вас! А будет еще лучше!

— А то! Бросай ты свою Игарку, вон, видал, какой Дом культуры строят! Потом сразу ресторан! Отдельное здание с верандой и с видом на Енисей обещают!

Сумерки стали погуще, на столбах вдоль улицы горели лампочки, дизельные генераторы гудели в разных концах. Белов шел, прислушиваясь к ночной жизни поселка, тихо гордился и думал,

---

<sup>56</sup> Полярная надбавка к зарплате выплачивалась по широте — в Ермаково она была десять процентов за каждый год работы — то есть через десять лет работы в тех условиях человек получал два оклада. В Дудинке десять процентов добавлялись каждые полгода. У заключенных никаких надбавок не было.

<sup>57</sup> Деньги в те годы были большого размера, в половину тетрадного листа.

<sup>58</sup> Паузок — небольшое плоскодонное судно для мелководья или перевалки грузов с больших судов на берег.

что и вся страна так же строится, огромная его страна — от знойного Туркменистана, где он никогда не был, и до ледяного Диксона, где бывал не раз, — Союз Советских Социалистических Республик.

Енисей не виден был за полосой леса у берега, в другую же сторону, вглубь тайги ярко освещались строгие палаточные скопления, окруженные вышками. Пароход загудел протяжно на реке, Белов вспомнил о своих на буксире и заторопился по свежему, пахнущему смолой тротуару.

## 18

Бакенщик Ангутихинского участка Валентин Романов надевал плащ в сених. Слушал, как грохочет и воеет снаружи, застегивался неторопливо. Сунул папиросы и спички во внутренний карман и толкнул дверь, ветер навалился с другой стороны, не давая открыть, потом рванул ее из рук и ударил в лицо. Валентин, удерживая капюшон, глянул сквозь стену дождя на Енисей. Реку задирало тяжелым седым штормом. Холодный север упирался против течения, рвал волну в мелкие клочья — серая масса неслась над взлохмаченной рекой. Листья и ветки летели, кувыркаясь, в осатаневшем воздухе, березы гнуло до земли.

Валентин вернулся в сени, прикурил папиросу, зажал ее в кулак и пошел проверить лодки. Они были вытащены, сети, снятые с вешал, надежно придавлены камнями. Все у него было на месте. Романов присматривался к беснующемуся Енисею, непонятно было, надолго ли. Из-за острова показалось судно — небольшой буксир, прижимаясь к его берегу, быстро шел по ветру. Временами волны нагоняли и окатывали низкую корму. «Полярный», — узнал Валентин и стал спускаться к причалу деревянной лестницей.

В устье Романовской протоки было тише, буксир начал подваливать к пирсу, толкнулся бортом, матросы цепляли кнехты. Дверь рубки отворилась, оттуда, застегиваясь на ходу, выбрался Белов и шагнул на пирс, протягивая руку.

— Здорово, дядь Валь! — Сан Саныч лучился счастьем. — Во натерпелись! Мои орут, давай отстоимся... Дядь Валь, ты чего какой, не рад, что ли?! В Туруханск идем, в мастерские, постою у тебя денек, не прогонишь?!

— Пойдем! — кивнул Романов и стал подниматься вверх к дому. Очередной шквал налетел, заглушил его слова и поднял полы брезентового плаща выше головы.

Рябоватое, с суровыми морщинами лицо бакенщика оставалось невозмутимым и безрадостным. Небольшие глаза, брови со шрамами, тяжелые плечи — он был похож на медведя среднего размера. Так же и ходил, слегка косолапя и сутулясь, как будто природные силы сами собирали его в неторопливый и грозный комок.

Белов вернулся в каюту, взял приготовленный кулек конфет, коробочку цветных карандашей и книжки-раскраски, бутылку коньяка засунул во внутренний карман плаща. Старпом, большую часть шторма отстоявший за штурвалом, собирался в душ. Стоял среди каюты в одних трусах и задумчиво и устало глядел на кусок хозяйственного мыла, как будто решал, идти мыться или завалиться сразу до завтрашнего утра. Егор забежал босиком, держа сапоги голенищами вниз, из них еще текло. Боцман поставил их к горячей батарее и стал наматывать сухие портянки. Белов сошел по трапу и стал подниматься к дому.

Такие хозяйства, как у Романова, были по Енисею редкостью. Обычно бакенщики обитали в небольших казенных домиках, лодка да сети у берега. Огородики — у кого были, у многих же и их не было. В Ангутихе домик бакенщика был на краю деревни, Валентин, устраиваясь на работу, отказался от него и построился на острове напротив — в сосновом лесу над невысоким каменным мысом. В первый же год срубил избу с холодными сениями, потом пристроил веранду. За домом был вымощенный полубревнами двор, закрытый со всех сторон постройками: баней, санным сараем, стойлом для коня, теплым хлевом для коровы и поросят и летней кухней с большим столом под навесом. Все это постепенно за пять долгих зим устроилось.

Дальней стороной двора была мастерская с длинным верстаком и печкой-буржуйкой. Бакены, бочки, ульи, мебель и даже лодки — все делалось здесь.

В доме было тепло. Сан Саныч раздевался в сенях, прислушиваясь к запаху свежего хлеба. Анна выглянула, кивнула приветливо. Она была на девятнадцать лет моложе мужа, но под стать ему — крепкая и молчаливая. За столом с кружками молока и ломтями хлеба сидели два загорелых белоголовых крепыша-погодка трех и четырех лет и такая же светленькая полуторагодовалая девочка.

— Ну, Васька-Петька, что я вам привез! — Белов с подарками присел к столу.

Дети радостно обернулись на мать, та сказала что-то по-латышски, и мальчишки, косясь на карандаши и раскраски, послушно взялись за кружки.

— Молока хочешь, Сан Саныч? — Анна подошла с алюминиевым бидончиком в руках. Она говорила с красивым акцентом.

И хотя Николь говорила совсем без акцента, они были похожи, обе ссыльные... Белов рассеянно кивнул, невольно чувствуя, как сжимается сердце. Взял кружку, расплескивая молоко.

Летом он редко думал о Николь. Только когда хорошо выпивал, начинал вдруг тосковать, но ближе к осени стал чаще вспоминать, и не с пьяной тоской, но вполне бодро понимая, что после навигации мог бы как-нибудь и съездить к ней. Далеко, правда, было, и никакой транспорт туда не ходил... Но самым непонятным было то, что связи со ссыльными не приветствовались... Поэтому Белову и хотелось обстоятельно поговорить с Валентином — у того все было очень похоже — жена ссыльная и нерусская.

Через час шторм стал стихать — то ли выдохся, то ли ушел выше по Енисею, к Туруханску, с ним и ливень кончился. Было уже начало сентября, вполне мог бы и снежок полететь, но природа продолжала вести себя по-летнему. И тепло было, и желтеть еще толком не начало. Белов с Романовым сидели на лавочке над гранитными лбами, круто уходящими в воду. Воздух после ливня был чистый и снова теплый, березы, ошалевшие и насквозь мокрые, пошевеливали прядями, поглаживали друг друга, будто вспоминали, как страшно только что было. Одну, раздвоенную, все-таки сломало, и она лежала, придавив белым стволом молодые сосенки. С крыш, с деревьев текло, капало громко. Енисей разгладил, и только нервные узоры шалого ветерка беспокоили поверхность.

— Поедем, если хочешь, — согласился Валентин, — переночуем у сетей. Он встал, бросил окурок под ноги, шаркнул по нему сапогом и пошел в дом.

Белов дружил со старшим сыном Валентина Мишкой. От первого брака. Они вместе учились в речном техникуме и были не разлей вода. Мишка был вылитый батя — коренастый, крепкорукий и такой же молчаливый, но, в отличие от отца, нервный. Терпел до последнего, щеки наливались кровью, и тут уж его лучше было не трогать. Самый громкий случай был на третьем курсе, когда начальник политотдела перед учебным взводом назвал его ссыльным сучонком. Мишка смолчал, но поглядел на него так, что тот, поддатый, рассвирепел, грязным заковыристым матом поехал по Мишкиным родителям, врагам народа, понятное дело. Матери к тому времени уже не было в живых, отец сидел в лагере... Мишка ему врезал. Тот только руками взмахнул и грохнулся мордой об угол. Если бы политрук не был пьяным, а Мишка не учился на одни пятерки и не висел на доске почета, уехал бы учащийся третьего курса Михаил Романов к своему отцу лес валить, все так уже и думали. А может, их одноногий старшина, командир взвода, любивший неуступчивого, рукастого и работающего пацана, может, это он уговорил начальника училища.

После техникума начали работать и виделись редко. Белов распределился в Игарку, Мишка — лучший механик курса — на рембазу в Подтесово.

Его отец, освободившись, появился на Енисее в 1944-м, нашел могилы жены и малолетней дочки в ста километрах ниже Туруханска в деревне Ангутиха, перезимовал возле них зиму, а весной устроился бакенщиком. С сыном они увиделись только через год, в конце навигации 1945-го. Белов же по работе часто ходил мимо Ангутихи и при всяком случае передавал письма, гостинцы и деньги от сына. Они подружились, Сан Саныч звал Романова по-деревенски дядь Валея, а иногда просто батей, что-то родное чувствуя к нему, — своего отца он не помнил.

На носу лодки в крапивных мешках лежали сети. Керосиновые фонари для бакенов — три красных и три белых — были надеты на деревянные штыри в специальной пирамиде. Фонари были, как и везде, самодельные, деревянные, от ламп, вставленных внутрь, пахло свежим керосином.

Романов греб, не оборачиваясь. С сорок пятого года каждый день утром и вечером выплывал он так же сначала к верхним бакенам, потом спускался к нижним. И всегда один, какая бы ни была непогода, ни разу не взял на весла Анну, как это делали другие бакенщики.

— Давай я сяду, дядь Валь! — опять попросил Белов, но тот только мотнул головой.

Ровно скрипели весла, вода шумела вдоль борта, остров удалялся. Сан Саныч видел, что Романов сегодня крепко не в духе, не знал почему, но боялся, что другой возможности поговорить не будет. Он начал издали и вскоре понял с неприятной досадой, что рассказывать о Николь ему особенно нечего, да и Валентин безо всякого интереса слушал. Сан Саныч что-то все же промямлил про то, что хочет съездить за ней, а закончил совсем скомканно и ничего не спросил. Получалось, что он сравнивал себя с Романовым, у которого с Анной было уже трое ребятишек. Как-то все это глупо было.

— Просто так ее не выпустят оттуда... — выдавил угрюмо Романов, толкая весла.

Подшли к красному бакену. Белов сел на весла, а Валентин, зацепив лодку, зажег лампу и надел фонарь на штырь. Вода с шумом обтекала бревна, на которых крепилась пирамида бакена, наискосок в глубину уходил туго натянутый тросик. Солнце уже село, но было еще светло, и огонька, вьющегося над керосиновым фитилем, почти не видно было. Валентин придирчиво наблюдал, ровно ли горит, отпустился, лодку потянуло течением, и бакен стал быстро удаляться.

— К тому давай, — махнул на противоположный берег.

Белов навалился на весла. Романов закурил.

— Ты про Мишку что ничего не скажешь? — спросил, глянув строго.

— Не слышал его давно, его на большой пароход хотят перевести. Я думал, ты знаешь.

Романов слушал очень внимательно, папироса погасла, он еще раз подкурил ее и стал смотреть на другой берег в сторону недалекой уже отсюда деревни Ангутиха.

— Ты чего, дядь Валь, спрашиваешь, не пишет, что ли? — Белов продолжал улыбаться, но напряжение Романова передавалось и ему.

— Забрали его.

Белов замер, продолжая улыбаться.

— Куда забрали, дядь Валь? Мы на совещании виделись...

— В первый рейс вышли, и сняли энкавэдэшники в Енисейске.

— Не может быть! За что?!

— Ты, Санька... — Романов крикнул с досадой и раздраженно мотнул лобастой головой. — В органах он! За что туда берут?!

Сан Саныч заволновался, стал лихорадочно соображать, что Мишку, скорее всего, за его язык и несдержанность могли привлечь. Сказанул где-нибудь, как он это умеет. Белов налегал на весла и поглядывал на Валентина. Тот курил, хмуро глядя вдаль.

— Чего-нибудь брякнул, — предположил осторожно Белов, — ты же его знаешь, дядь Валь. Разберутся, выговор вкатят по комсомольской линии...

Романов затянулся судорожно, выматерился коротко в папиросный дым и ничего не ответил. Засветили белый бакен выше Ангутихинских покосов и пошли вниз. Работали молча, каждый думал о своем, хотя оба о Мишке, сыне и товарище. Вниз по течению лодка летела, вскоре обработали еще три бакена. Темнело, красные и белые огоньки, зажженные ими, стали заметны по реке. Ткнулись в песчаную мель, Романов привычно вытряхивал сети из мешка.

— Много рыбы надо?

— На камбуз да начальнику мастерских в Туруханске.

Поставили быстро. Романов небрежно расправлял сети, груза отбрасывал в сторону с хлюпаньем и брызгами, как будто брезговал всем этим. Последняя сеть была сплавной<sup>59</sup>. Бакенщик сам сел за весла и стал выгребать на течение, крутя головой и ориентируясь по темным уже берегам. Через какое-то время он перестал грести и кивнул Белову:

— Кидай гагару<sup>60</sup>!

<sup>59</sup> Сплавная сеть не стоит на одном месте, ее растягивают поперек течения и сплавляют вниз.

<sup>60</sup> Гагара — специальный поплавок для удержания сети в растянутом состоянии.

Растянули сеть, Валентин подержал ее рукой, «слушая», не зацепилась ли, привязал и посадил Белова на весла. Обернулся еще раз на сумеречные очертания Песчаного острова:

— До первого охвостья сплавим, на уху будет...

Уже вскоре веревка задергалась, потом еще, не прошло и получаса.

— Ну хватит, поди... — Валентин начал выбирать сеть в лодку. Улыбнулся вдруг, обернувшись на Сан Саныча. — Мишка всегда у меня выбирает, любит... — сказал и угрюмо, тяжело застыл лицом.

— Дядь Валь, — Сан Саныч пытался говорить уверенно, — не виноват Мишка ни в чем, я точно знаю! Выпустят! Я в Туруханске позвоню в пароходство!

Романов аккуратно складывал полотно сети себе под ноги, папироса попыхивала в сумерках, покачал головой:

— Не лезь в это дело, заберут!

— Меня?! — Сан Саныч перестал подгребать.

— А ты что, заговоренный?

Белов осторожно толкнулся веслами, не зная, что сказать. У Романова завозилось что-то тяжелое в темноте воды, о борт заколотило. Валентин вытащил остроносую, длинную стерлядь, очекрыжил обухом топора и, быстро выпутав, бросил в рундук. Потянул дальше. Попалась еще стерлядь, несколько щук, большой язь и два осетра. Осетров Валентин привязал на веревочный кукан и, поглядывая на берег, сам сел на весла.

Вскоре они зашли в заводь между островами, свернули в узенькую проточку, заросшую с двух сторон высокими кустами. Комары запели дружнее, Белов достал пузыречек с дефицитным «Репудином» и стал мазаться. Протянул Романову, глуповато на него поглядывая, как будто в чем-то виноват был. Валентин отказался, мотнув головой, причалил.

Запалили костер, местечко было обжитое, укромное, за густыми зарослями ивняка не видное с фарватера, с кострищем, заготовленными чурками дров и косым навесом от дождя. Пламя костра сделало ночь темнее, чем она была на самом деле, — сентябрьские ночи, особенно в начале, еще совсем не черны, как будто не успели отдать весь летний свет долгих белых ночей. Романов принес из лодки ватники, котелок, авоську с картошкой и луком. Белов потрошил у воды стерлядь, она вырывалась, пачкалась в песке.

— С икрой, дядь Валь, что делать? Подсолим?

— Да сколько там икры...

Романов порезал рыбу, побросал в котел и повесил на огонь, нож сполоснул. Устало сел на чурбак, вытирая руки о штаны. Сан Саныч натянул ватник и ушанку: после недавнего ливня трава и кусты были мокрые, и отовсюду сквозило сырым ночным холодом. В огонь сунул руки.

— Надо было все-таки взять бутылку... — Белов с надеждой посмотрел в сторону Романова, но тот покуривал, молча глядя в огонь.

Костер трещал, стрелял негромко искрами. Тихо было, реки не слышно, только далеко-далеко вдруг начинала кричать ночная птица. Возле лодки завозились осетры на веревке, забили обреченно хвостами по воде, по борту.

— Я, пока с Мишкой не выясню, пить не буду, — произнес вдруг Валентин очень твердо. — Ты что, совсем про него ничего не слышал?

— Говорю тебе, дядь Валь, последний раз на Первомай виделись, и я ушел с караваном. Он обычный был, ничего вообще не сказал. А ты откуда узнал?

— Люди передали, — Романов отмахнулся от наседающих комаров.

— И что сказали? — Белов спросил так, будто этот вопрос он мог решить.

— В Енисейске рано утром взошли на борт и увезли, они когда что объясняют? Ты в пароходстве не можешь узнать аккуратно? У надежного человека... — Романов, раздумывая посмотрел на Сан Саныча, бросил бычок в костер. — Или не надо? К тебе и так могут прийти, вы же корефанили<sup>61</sup>... — Романов застыл, вздохнул угрюмо. — Если придут, ни в чем не признавайся! Спросят, был такой разговор, даже если помнишь, что был, не сознавайся: не помню, и все!

---

<sup>61</sup> Корефан (жарг.) — друг, корефаниль — дружить.

— Почему придут-то?

— А к нему почему пришли?

Белов молчал, у него не было никаких соображений. Подложил пару поленьев. В протоке тяжело взыграла рыба. Осетры опять завозились, толкаясь в лодку. Романов поднял голову в темноту:

— Руки у него золотые, с любой техникой... так вот мотор послушает и уже знает, что с ним! И на работе к нему вопросов не было, так же?

— Так, он... да! Что ты, дядь Валь, его же хотят в Ленинград, в институт отправить...

— Кому он мог помешать? Может, баба какая?

— Не-ет... — Белов в сомнение закачал головой. — Мишка не по этому делу.

— Он долго не мог Анну принять, ребятишек любил, а с ней не очень, а в прошлом году, когда Анна Руську родила, он их из Туруханска, из больницы вез. Мы потом с ним здесь же вот сидели. Всю ночь разговаривали, Тоню, мать его, покойницу, вспоминали, Верочку нашу.

Романов замолчал. Белов никогда не видел его таким слабым и постаревшим. Как будто кого-то заклинал Мишкин отец не трогать его сына. Рассказывал и рассказывал:

— Тоня пятерых рожала, да не жили, только Мишка да Верочка остались. Когда нас в ссылку погнали, Тоня как раз после родов болела, слабая была... Меня от них в Красноярске отделили. На зону... — он посмотрел на Белова. — Что я тебе... ты все знаешь, наверное?

— Нет, — озадаченно мотнул головой Сан Саныч, — Мишка не рассказывал...

— Как тут можно было от голода умереть? — Романов надолго замолчал. — Сколько им надо было еды? Верочке всего три годика... темненькая, глазки, как у цыганки. У них не было еды, да... еды не было, — Романов взялся за голову, чуть раскачивался, мысль о голоде не укладывалась в его голове. — Я в лагере на Ангаре лес валил... война шла, Мишка в Красноярске... Тоня письмо прислала, что жизнь их тут, в Ангутихе, сытее, рыбы, мол, много...

Белов молчал. Хотел сказать, что тогда всем было голодно, что у него мать с сестренкой тоже перебивались с хлеба на воду. Промолчал. И без того все было понятно.

— И это все Сталин твой, мрази кусок! — Романов будто очнулся, стал прежним, огонек нежности потух, взгляд отупел тяжело, о него снова можно было железо гнуть. — Сколько же баб и ребятишек он загубил...

Глаза Романова, подсвеченные костром, застыли в угрюмой ненависти. Белов знал, что Романов не любит Сталина, но таких слов от него не ожидал.

— Я очень тебя уважаю, дядь Валь, но говоришь ты так от слабости. Прости меня, это мелко, не нам судить Сталина! Мы не можем оценить его масштабов! Я не понимаю, как можно не уважать его, столько сделавшего для всех людей?! — Белов встал от волнения. — Я не могу слышать, когда так про него говорят! Да, тебя сослали, всю твою семью... Это несправедливо, я понимаю! Но это могло случиться в такой огромной стране... Ясно же, что и враги есть, и в органах тоже... Это открыто в газетах пишут! Но как не видеть всего остального?! Мы столько сделали под его руководством! Войну выиграла страшную, фашистов остановили! А здесь, рядом с тобой — какая стройка разворачивается! Где еще такое видано?!

Белов замолчал, он забыл, с чего начал, ему остро жаль было Валентина, который не видел большой и прекрасной жизни вокруг.

— Щенок ты недоделанный, Саня... — Валентин поднял глаза, полные тоски. — Ты же его кореш, сука, из одной миски хлебали! И ты веришь им!

— Надо все выяснить, — несогласно заговорил Белов, — мы сейчас ничего не знаем! Вон Фролыч, мой старпом, когда его отца взяли, с ним разговаривать невозможно было, а весной отпустили, дали год и тут же по амнистии освободили. А ведь было за что — он лоцманом судно вел... Надо перебарывать личную обиду, дядь Валь! У нас свободная страна!

Романов отвернулся в костер, сморщился устало:

— Тебе ночьку на конвейере<sup>62</sup> постоять... может, поумнел бы. Мишка уже три месяца у них!

---

<sup>62</sup> Многочасовой и многодневный допрос, когда следователи, сменяя друг друга, не дают подозреваемому спать.

— Не надо, ты не знаешь, может, все не так плохо! Надо потерпеть, дядь Валь, я все узнаю, с Макаровым обязательно поговорю...

— Ты сам-то понимаешь, что мелешь?! Человека арестовали, а я, его отец, не знаю, за что, в чем он обвиняется! Когда взяли? Где он? Он — человек или пачка папирос?!

Белов молчал, упрямо глядя на Валентина, думал — прямо из Туруханска надо позвонить.

— Гордость ты свою бережешь! А ведь у тебя на глазах все! Вон лезут эки из трюма твоей баржи, а наверху сержант с бойцами, и у всех ремни с солдатскими пряжками, и они со всей дури херачат всех подряд и куда придется! Просто так! Для своего удовольствия! И смеются, когда мы, как блядешки, вертимся, бошки свои прикрываем! Знаешь, почему ты этого не видишь? Потому что отворачиваешься! И арестовывают без вины, и судят без суда...

— Я эзков возил, такого не было!

Валентин очнулся от его слов, а скорее от своих воспоминаний, глянул тоскливо — может, представлял, как его Мишку гонят сквозь такой строй. Вздохнул с судорогой, перекосившей лицо:

— Да не смотрел ты в ту сторону! Просто не смотрел! Как будто этого нет... Страшно ведь, авось пронесет!

Романов застыл, продолжая думать о сказанном, потом увидел ложку у себя в руках, полез было попробовать картошку, но вдруг решительно взял весь котел и снял с огня. Поставил возле:

— Будешь? — машинально кивнул на парящую уху.

— Буду! — Сан Саныч подал миску.

— Сам наливай, я не хочу! — Романов поднялся и, неторопливо закуривая, ушел по тропинке.

Белов поел ухи, он был голодный, посидел, слушая осторожную тишину — шелесты, всплески, влажный ночной ветерок вдруг возникал, пробежал по кустам и траве у воды. Сан Саныч зевнул судорожно, Романова не слышно было, подумал, не прилечь ли, но встал и пошел по тропе, прорубленной в ольшанике.

Романов сидел, сгорбившись, на бревне на конце песчаного мыса. Еле видно его было. Утки, свистя крыльями, пронеслись над головой. Сан Саныч подумал подойти и сказать что-то хорошее, как-нибудь помириться, но не придумал. Валентин сидел, не шевелясь.

Вернулся к костру, подбросил дров и прилег под навесом. Хотел подумать о том, кто же все-таки прав, Романов с его ненавистью или он с его светлой верой. И тут же, неудержимо зевая, провалился в сон. Костер трещал, искры долетали до телогрейки и гасли.

Проснулся от холода, с трудом сообразил, где он, и стал раздувать погасший костер. Солнце поднималось, над водой в их проточке стоял густой туман, но наверху было хорошо, ясно. И настроение полезло весело в эту голубую небесную гору. Он зачерпнул воды в котелок, повесил на огонь и пошел к Романову. Тот возился с бакеном. Пустынно было вокруг, много-много безлюдной воды, песок мыса с замытыми бревнами, мокрые мели, через которые катились волны, высокие дюны острова, уходящего за поворот. Чайки бездельно и молча летали, посматривая на одиноко работающего мужика.

Сан Саныч подошел, сел на бревно. Романов вязал к бакену металлический тросик.

— Помочь, дядь Валь?

Романов только мотнул головой, натянул тросик, затягивая узел, и встал. Морщины на его лице как будто посерели за ночь, и весь он изменился, совиный, всегда чуть хищный взор обмяк. Он посмотрел на Белова, как на незнакомого человека, качнул головой:

— Пойдем, поднимать пора.

В ближайшей сети возились костеришко<sup>63</sup> на полпудика, несколько щук и стерлядок. Романов показал, где стоит следующая. Белов подгрел, Валентин начал выбирать, но вдруг сеть в его руках натянулась. Романов присел, уперся коленями в борт, рыба продолжала тянуть, разворачивая лодку. Валентин заискал глазами топор, Белов подпихнул его ногой, сам вытягивал голову, что там за бортом. Романов выплюнул недокурную папиросу и решительно потянул сеть, поверхность впереди вспучилась темным бугром, но рыба не показалась. О борт ударились небольшая стерлядь, бакенщик

---

<sup>63</sup> Костеря — енисейское название небольшого осетра.

принял ее себе под ноги, дальше сеть шла скрученная одним прочным жгутом. Валентин глянул на Белова, соображая, чем тот может помочь.

Белов бросил весла и подался вперед.

— Не-не! — замотал головой Валентин. — Перевернет!

Рыба не собиралась сдаваться, опять пошла вперед, за ней полубоком тянулась лодка. Вода бурлила, Романов, выгнувшись спиной, держал, руки побелели от напряжения. Потом потянуло так, что борт накренился к воде, и Валентин невольно отпустил сеть. Только что выловленную стерлядь утащило за борт, но движение неожиданно прекратилось. Недалеко от лодки с шумом вывернулось мощное тело хозяина реки, хвост ударил по поверхности, и все стихло.

— Во влетел, зверила! — с рук Романова текла кровь. Он быстро выбирал ослабевшую сеть, снова в лодку пришла замученная стерлядь.

— Помочь, дядь Валь?!

— Нет, на меляк выгребай!

Романов уперся коленкой, подтянул еще. Рыба вдруг ослабила тягу и всплыла вдоль борта. Это был осетр. Величиной с лодку, весь свободный, только на голове под жабрами туго накручен жгут сети. Тупой лоб с круглыми глазками и острым носом, по черному боку шел яркий рисунок жучек<sup>64</sup>. Речной зверь чуть шевелил плавниками. Белов с Романовым выругались восхищенно.

Валентин осторожно, готовый, что зверина рванет, потянулся за топором... огромная, курносая башка была всего в метре. Речной царь и бакенщик Романов смотрели друг на друга. Романов ухватил топорище, потянул жгут сети, но ударить не успел, осетр изогнулся, толкнул борт огромным телом и легко ушел в глубину. Он был сильнее Романова, сеть вылетела из его клешней, снова метровая стерлядь, царапая руки Валентина, улетела в воду и исчезла в глубине. Валентин намотал сеть на уключину и полез за папиросами. С ладоней текла кровь.

Лодку хорошо уже снесло вдоль острова, когда Белов наконец выгреб на мель.

— Давай я, дядь Валь! — решительно попросился Сан Саныч, выскакивая из лодки.

Романов кивнул согласно. Вылез на песок.

— Видал, какой хряк! Не было еще такого, пять лет рыбаку! — Романов хоть и родился на Байкале, но был крестьянином до мозга костей и к рыбе относился без уважения.

Сан Саныч потянул сеть, осетр почти не сопротивлялся, просто тяжело было, будто якорь тащился по дну, но вдруг рыба пришла в себя и дернула так, что Белов не удержал, он не думал, что рыба может быть такой сильной. Подошел Валентин.

По мели рыба шла тяжело, но вдвоем было легче, и вскоре на поверхности появился черный хребет. Осетр изгибал мощное тело, шел боком, все более и более показываясь из воды. Мужики подналегли, и тут, будто все поняв, речное чудище начало биться, брызги, мокрый песок летели в лицо. Сан Санычу на секунду со страхом показалось, что рыба там не одна, но Романов решительно тянул, и огромная тупорылая рыбина, наконец, целиком выползла на отмель и замерла. Это была царь-рыба. Прекрасная в своей силе и древних формах, тяжелые костяные крышки жабер хищно открывались и закрывались.

— Топор возьми! — Романов держал сеть в натяжении.

Сан Саныч нашарил топор и, широко замахнувшись ударил в голову, обух скользнул, мокрое топорище вылетело из рук, осетр только изогнулся грозно. Сан Саныч вместе с песком цапнул топор и ударил точно, с хрустом. Осетр задрожал лопухами плавников и всем большим телом, мелкие судороги забегали по толстой коже... он медленно заваливался набок. Сан Саныч стоял мокрый с ног до головы, смотрел на Романова, ища одобрения. Валентин трясущейся мокрой рукой лез за папиросами, в пачке ничего не было, он бросил ее в воду и подошел к поверженному чудищу.

— Килограмм семьдесят будет?! — прикидывал восхищенно Сан Саныч.

Романов внимательно рассматривал осетра, плеснул ногой на испачканный в песке бок:

---

<sup>64</sup> Вдоль тела осетра в несколько рядов идут жучки — острые костяные наросты на шкуре.

— Больше центнера, однако. Икры — ведра полтора... — Валентин подумал о чем-то, повернулся к Белову. — В Туруханске две женщины ссыльные живут, под угором в маленьком домике. Ада и Аля зовут. Отправишь кого, пусть отнесут им икру. И пару стерлядок.

Он присел и стал освобождать рыбу из сети.

Вдвоем затащили осетра в лодку и вернулись на место ночлега. Порубили рыбу на большие оранжево-желтые жирные куски, икру засолили в двух ведрах — почти полные получились. Белов крутил рукой, перемешивал приятную на ощупь, прохладную, но не холодную, будто хранящую еще жизнь рыбы темно-серую, чуть поблескивающую, зернистую массу. Романов усыпил вчерашних осетров, выволок их на траву. Ополаскивал и кидал рядом стерлядок, щук, золотых яззей. Рыба темной поблескивающей горой лежала в тени кустов, возле мешков с осетриной стояли ведра с икрой, прикрытые тряпкой.

Потом они пили чай, зевали нещадно и молчали. От бессонной ночи, от усталости, но еще и от вчерашней размолвки. Сан Саныч все думал, что бы такого сказать о Мишке и успокоить Валентина, но ничего не находилось — Мишкин арест перевернул всю их прежнюю жизнь. Он зевал, морщился на чистое утреннее небо и понимал, что поговорить уже не получится.

Перед самым отходом Романов объяснил, как найти тех ссыльных москвичек в Туруханске, и еще раз, пересиливая себя и почти не глядя на Белова, рассказал все, что знал про арест сына. Сан Саныч хотел, как обычно, обнять дядь Валю, но не стал. Посмотрел молча и решительно и мысленно дал себе слово разобраться в Мишкином аресте. Пожали руки. В глазах Романова Сан Саныч впервые видел просьбу или даже мольбу. Тяжелую и почти безнадежную.

«Полярный» быстро удалялся от острова бакенщика. Сан Саныч раздевался у себя в каюте, намереваясь выспаться, а из головы не шел этот неприятный спор с Валентином. Он и уважал, и любил Мишкиного отца, но не меньше уважал и великое дело, которое делалось в стране. Не меньше! — Белов решительно встал с кровати, дотянулся до портрета вождя, снял со стены и, разглядывая, снова сел. Он не понимал, как можно ненавидеть человека, на котором столько держится. Он вернул портрет на место, сердцем ощущая, что все идет трудно, но правильно, и он на этом трудном пути стоит вполне осознанно.

Разделся и лег. Засыпая, он частенько думал о Николь. То просто разговаривал с ней, бывало, что и целовались... Но чаще представлял себе, как по окончании навигации он разведется с Зинаидой и отправится в Дорофеевский. Вот и сейчас он думал о долгой и опасной дороге, на попутках, оленях, в полярной ночи... в конце этого пути он видел ее изумленные глаза. Дальше он ничего не представлял себе — никаких определенных планов у него не было.

И с Мишкой все выясню... обязательно! Совершенно успокоенный, как будто все уже и сделалось, Сан Саныч провалился в крепкий сон честного человека.

Романов долго еще сидел на скамеечке, глядя под ноги. Анна выходила, звала обедать, вышла и в другой раз, но не стала ничего говорить, тихо закрыла дверь. Наступала осень, и мысли бакенщика рассеянно бродили по большому хозяйству: надо было перековать Гнедко, насолить туруханской селедки на зиму, отлить пуль — скоро начиналась охота... свиней резать (каждое лето отъедались у него на рыбе и картошке Пахан, Бугор и Гражданин Начальник), бакена снять... Но куда бы ни забредали эти мысли, они все время возвращались к сыну. Почему-то ясно было, что нынешней зимой Мишка к нему не приедет и на охоту они не сходят. Просто так его уже не отпустят... это Валентин давно понял, он все лето ждал, что придут и за ним, но пока не пришли.

Вопросы терзали и терзали, они были не к чекистам... Господь голодной смертью забрал у Валентина Романова жену и дочь, теперь же, руками тех же палачей, забирал и сына.

Истерзанная душа Валентина не могла этого принять.

## 19

Небольшой актовый зал Управления строительства был битком, сидели и на подоконниках, и на ступеньках. На сцене под большим портретом Сталина стоял стол президиума и красная трибуна с гербом СССР. Торжественное заседание было посвящено окончанию навигации и переходу на зимние

условия строительства. В президиуме заседали лагерное начальство и двое речников из руководства Енисейского пароходства. Все в форме. В стороне за отдельным столом пухленькая секретарша начальника первого лагеря вела протокол. Она тоже, как по случаю большого праздника, надела форму, сапоги ладные, начищенные до блеска, выше сапог круглые коленки торчат. В зале сидели одни мужики, и, когда она явилась на сцене и села за свой стол, по залу прошел сдавленный вздох и наступила тишина. Потрогать такие коленки, понятное дело, ни один бы не отказался.

В первых рядах сидели военные и флотские, кто-то и в парадной форме, в задних — гражданские. По одежде было понятно, что немногие из них вольные, большинство — лагерные придурки: руководители подразделений, нарядчики, бригадиры, бухгалтера.

Белов сидел во втором ряду у окна, рядом Грач в великоватом черном кителе, который он на реке не надевал, а берег пофорсить в поселке. Дома же старуха пересыпала его нафталином и прятала в сундук. Начальник Енисейского исправительно-трудового лагеря подполковник Воронов заканчивал свое выступление:

— За июнь — сентябрь для нужд строительства водным транспортом доставлено заключенных: в Ермаково — 11 326 человек, в Янов Стан — 3432, в Туруханск — 504, в Игарку — 4602 человека. Доставка ресурсов в июне и июле в Ермаково и Игарку велась крайне медленно. Управление пароходства, несмотря на обещание, выделило всего три специально оборудованные баржи и один крупнотоннажный лихтер. В собственном флоте Строительства-503 на сегодняшний день имеется 19 малосильных буксиров и 20 малотоннажных барж для местных перевозок.

Воронов деловито и с облегчением собрал бумажки доклада и посмотрел в зал:

— Об обеспеченности строительства ресурсами доложит начальник снабжения майор Клигман. Прошу, Яков Семенович.

Клигман встал за трибуну. Если подполковник Воронов нависал над ней, то майор невысоко торчал головой и плечами, но, в отличие от Воронова, в бумажки почти не заглядывал, только изредка улыбался виновато и громко сморкался в большой носовой платок.

— Добрый день, уважаемые товарищи! Ресурсами Строительство-503 обеспечено удовлетворительно. Начнем с людских ресурсов. Всего по плану требовалось 36 235 человек, фактически имеем 33 493. В том числе планировалось привлечь 3674 вольнонаемных работника, имеем пока 2487 человек. С заключенными лучше — из 30 тысяч плана имеем 29 234. Хуже обстоит дело с вооруженной охраной. По нормам мы должны были иметь 2561 охранника, а в наличии только 1772. В связи с чем вынуждены привлекать самоохрану из заключенных, а вы сами знаете, что это за народ...

Клигман громко высморкался и продолжил:

— Что касается материально-технического обеспечения, то тут дела лучше. Дальше будут только цифры по основным позициям: первая — план, вторая — фактически имеющиеся:

Автомшины грузовые	356	371
Тракторы	50	64
Экскаваторы	14	14
Станки	169	165
Электростанции	103	115
Бетономешалки	1	3
Насосы	75	111
Лошади	500	254

И наконец, паровозы серии ОВ были запланированы в количестве четырех, четыре и получили. Так же по плану получены сорок штук железнодорожных вагонов широкой колеи.

Грач устал уже от всех этих докладов и цифр, мял в руках кисет с самосадом и вертел головой на предмет покурить. Но курили только в президиуме, и он с тоской поглядывал на улицу. Белов же слушал внимательно и в очередной раз поражался электростанциям, автомобилям и паровозам среди вековой тайги! С гордым прищуром посматривал вокруг — два паровоза из четырех притащил в Ермаково его буксир. Мужики разгружали вручную, строили хитроумные сооружения из бревен... и

вытянули! Многотонные машины стояли на высоком берегу, на рельсах! Все здесь будет! — трепетала рабочая гордость в горячем сердце Сан Саныча.

В такие минуты капитан Белов чувствовал себя настоящим человеком — он понимал, ради чего живет. Понимал гигантские размеры задач и планов, и ему просто жаль было тех, кто этого не понимает, кто свое личное ставит выше общего. Его старпом Захаров тоже был сомневающийся, не пошел на совещание, только усмехнулся и покачал головой... Ничего, они — хорошие люди, и старпом, и Романов, всё поймут со временем, и с Мишкой все будет нормально.

Сан Саныч с благодарностью поднял взгляд на портрет Сталина. Понимающие, мудрые глаза смотрели в зал — Сталин был намного больше всего этого личного и мелкого! Сталин вел их непростой, но единственно верной дорогой.

Горчаков тоже присутствовал на совещании, почти случайно оказался. Он пристроился в дальних рядах среди таких же расконвоированных, слушал вполуха и глядел за окно. Там мужик запрягал в санки хорошего вороного коня. Конь не слушался, мужик терпеливо заводил его в оглобли... Горчаков раздумывал лениво, могут ли люди что-то сделать, если они не понимают, что делают? Если бы мужик не понимал, зачем все эти ремни и оглобли, то и не запряг бы, а если бы навертел абы как, то вороной и с места не сошел бы... На трибуне Клигман все докладывал, пытался шутить иногда... Вот умный дядька говорит правильные вроде слова, но не верит в них, — продолжал свои необязательные думы Горчаков. — И все, кто сидит в этом зале, не понимают, зачем нужна эта дорога. Зачем все эти зимники по тайге и болотам, тысячи тонн гравия и песка? Зачем восемьдесят тонн рельсов на километр непонятно куда ведущего пути?

Почти сорок тысяч человек, неглупых и не уродов, вертятся, как мартышки, в гигантском заполярном зоопарке по воле одного человека. Изображают, стараются угадать, чтобы было как-нибудь похоже на то, как он задумал... Он — с доброй улыбкой и вкусной трубочкой — на самом верху, возле него озабоченные генералы и маршалы, возле генералов — полковники и майоры, а ниже всех копошатся неразличимые уже им, бесчисленные и серые, как вши, людишки.

Два здоровых бригадира втихушку играли рядом с Горчаковым самодельными картами в очко. Третий, за ними, торчал головой из заднего ряда, вел счет и записывал проигранные вещи.

— Еще!

— Дама!

— Еще!

— Туз! Перебор, сука! Сдавай! Пиши — носки шерстяные...

Горчаков подумал, что ему тоже нужны шерстяные носки к зиме, игрок рядом ловко, не мельтеша руками, тасовал колоду. Голос Клигмана звучал ровно, Горчаков прислушался.

— ...отсутствие вольнонаемных специалистов для обслуживания механизмов вынуждает строительство использовать для этой цели квалифицированных заключенных (небольшими группами в три-пять человек), что приводит к резкому повышению лимита охраны. — Майор приостановился, будто обдумывал следующую фразу. — Можно было бы расконвоировать таких заключенных, но большой процент контингента был завезен из тюрем и может быть расконвоирован только после отбытия двух третей срока. — Он опять призадумался и добавил негромко будто самому себе. — Хотя бывают исключения.

В этом зале было немало таких исключений, один из них — расконвоированный фельдшер Горчаков с двадцатипятилетним сроком. В лагерной жизни исключений было больше, чем правил.

За окном послышался громкий мат. Мужик в санях, верхом груженных дровами, разворачивался и задел санки с вороным жеребцом. Вороной дернулся, зацепил веревку на дровах, метровые поленья посыпались в санки и вокруг. Мужики злобно матерились, кони топтались, косясь друг на друга и на мужиков, скрипели полозья по снегу, сбруи звенели. Все совещание с живым интересом смотрело на улицу. Кто не видел, спрашивали тех, что сидели у окон.

— Этот с дровами подъехал разгружаться, а тот стоит, как мутила, даже не подвинулся! — говорил кто-то негромко, но хорошо слышно.

— Так начальника возит!

— Гля-гля, ща он ему поленом!

— Да не-е, не подерутся! Тертые оба!

Начальник первого лагеря Воронов тоже, застыв, смотрел за окно, повернулся в зал, постучал стаканом о графин с водой:

— Не отвлекаемся, товарищи-граждане, какие вопросы будут к докладчикам?

— Разрешите, товарищ подполковник, — поднялся немолодой коренастый старший лейтенант — начальник лагпункта. — Я по проектной документации... Мы уже рельсы начали класть, а трасса на местности не обозначена! Кто отвечать будет, если что?

— Работайте спокойно, постановлением Совмина технический проект по железнодорожной линии должен быть представлен 1 марта 1952 года.

— И что же, три года ждать? — старлей осмотрел сидящих в первом ряду, ища поддержки. — У меня план по укладке полотна на этот год! Товарищи изыскатели?!

— Да-да, — нахмурился Воронов, — у вас сложный участок. С ноября, товарищи, проектное бюро начнет работать в Ермаково, будем быстрее получать документацию и рабочие чертежи...

— У меня в лагере есть спецы, мы и сами могли бы провести изыскания... но ведь как? — старлей замялся.

— Пятьдесят восьмая? — спросил Воронов.

— Так точно.

— Не пойдет! Игарка заворачивает такие инициативы, дорога стратегического значения, сами понимаете. Садитесь, товарищ старший лейтенант, план по полотну мы выполним, не сомневайтесь!

Зал зашумел, проблема была острая, рабочих чертежей не было ни в одном лагере. Без них же строили большое депо, лесозавод и центральную электростанцию. Позади Белова шептались:

— Пошли на хер, наложим рельсы, где придется, а вы думайте! На 501-й так же было — ни проекта, ничего, давай, гони! Целый порт построили, склады, железку к ним, и все бросили на хрен!

Белову хотелось обернуться и посмотреть, кто это говорит, а может и возразить ему, но не стал. Ясно было, что сзади урки. Руки тряслись от злости.

— Разрешите, товарищ подполковник, — в середине зала встал бородастый дядька в выцветшей энцефалитке<sup>65</sup>. — Хочу заступиться за изыскателей! Геологические условия будущей трассы исключительно сложные, дорога пойдет по пылеватым суглинкам и торфам, по переувлажненным и льдонасыщенным местам, а это вам и непредсказуемые бугры пучения, и термокарстовые провалы! Вот в таких условиях мы вынуждены прокладывать трассу! А еще должны предусмотреть использование местных строительных материалов! А если их здесь нет?! Это непростая работа, товарищи, по трассе есть торфяные болота, которые не замерзают даже после месяца сорокаградусных морозов! Изыскательские работы по такому проекту должны были начаться минимум пять лет назад, а вы хотите, чтобы мы за три месяца все выдали!

Несколько минут в зале стояла тишина. Как будто обдумывали сказанное. Потом одновременно появилось несколько рук в задних рядах. Встал высокий нарядчик кавказской внешности, заговорил с легким акцентом:

— На восьмом лагпункте к первому сентября обещали поставить два барака, до сих пор не начали строить. Гражданин начальник, мы могли бы своими силами их поднять, нужны только материалы... В палатках холодно и тесно, люди не отдыхают! Мы мост строим — важный объект!

Воронов посмотрел на Клигмана. Тот потер подбородок, поправил очки и пожал плечами:

— Придется вам эту зиму в палатках провести, лагпункт временный... можем выделить еще одну большую палатку для расселения, войлок и фанеру. Многие эту зиму будут жить так и даже в полуземлянках. И охрана тоже, вы же видите...

— А столовая?! Бригады едят у себя на нарах, в палатках, еду берут в термосах, она холодная... — Нарядчик-кавказец смотрел строго.

— Я запишу вашу просьбу, попробуем решить...

— Какие ограничения по морозу? — выкрикнул кто-то.

---

<sup>65</sup> Плотная хлопчатобумажная куртка с капюшоном, защищающая от энцефалитных клещей.

— Наружные работы не будут производиться при температуре минус 45 градусов без ветра, — Воронов погасил папиросу в переполненной пепельнице, — или минус 35 градусов при ветре 10 метров в секунду. При более теплой погоде работы будут проводиться с перерывами для обогрева.

В рядах потянулись руки, их становилось все больше.

— Ну, давайте закругляться, — Воронов решительно поднялся из-за стола. — По питанию, спецодежде и бытовым условиям обращайтесь по службе.

Все стали вставать, застучали стулья, заговорили. Белов с Грачом, толкаясь в дверях и коридоре, вышли на улицу. Ветер со снегом ударил в лицо, поднимали воротники, закуривали. Пока сидели на совещании, снежку подвалило. Улица побелела, даже как будто почище стало.

— Ну все, зима пришла! — Белов плотнее надвинул ушанку.

— К старухе под бок пора!

Подтверждая слова Грача, откуда-то сверху, с крыши сорвало клубы снега и за белыми вихрями стало не видно другой стороны улицы. У доски «Наши успехи и планы» курили мужики:

— В следующем году будем в ресторане отмечать конец навигации! Видал — сдача в августе! — кто-то тыкал пальцем в плакат.

— Что, Сан Саныч, давай ко мне? Отметим?! — подошел Петя Снегирев. — Полдня просидели...

— Здорово, Петь, — протянул руку Белов. — Комнату получил?

— Нет пока, к Новому году обещают, Гальке вот-вот рожать, тянет чего-то... Айда с нами, Иван Семеныч! — настойчиво приглашал Петя.

Бригада человек в пятьдесят заключенных шла мимо неровным строем с лопатами на плечах. Ушанки опущены и завязаны под подбородком — все по инструкции — бушлаты застегнуты на верхнюю пуговицу. Репродуктор на столбе играл бодрую песенку из кинофильма «Веселые ребята»: «Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, и любят песню деревни и села...» Шли строители светлого будущего, комсомольцы-добровольцы, как они сами шутили про себя и как не шутя писали газеты. Конвоиры с автоматами, сзади — проводник с собакой. Последними, в коротких, ловких полушубках, два сержанта. Смеялись чему-то, увидев офицеров, вспомнили о службе:

— Шире шаг, равнение держать! — гаркнули в один голос.

Овчарка дернулась вперед, натянула поводок и с коротким рыком достала высокого прихрамывающего мужика с ломом на плече. Клок из ватных штанов повис, как заячий хвост. Мужик охнул испуганно, побежал, громко матерясь и подпрыгивая, отчего еще больше стал похож на зайца, догнал последнюю шеренгу. Вышедшие с совещания дружно рассмеялись. Мужик с ломом обернулся и тоже ощерился — видно, собака не достала.

В дверях показался Клигман, он натягивал меховые перчатки и недовольно поглядывал на темнеющее снежное небо.

— Здравия желаю, товарищ майор! — козырнул Белов.

— Здравствуйте, Сан Саныч! Ну что, начинается? — Яков Семенович кивнул на непогоду. — Три года уже здесь, а никак не привыкну... В Ялте сейчас бархатный сезон!купаются, на песочке лежат!

— Яков Семеныч, я что-то Мишарина не вижу, Николая? Не уехал?

— В Игарке он, на совещании проектировщиков. Зачем он вам?

— Да так... не виделись с лета, он меня рисовать собирался... — улыбался Белов.

— Я вас попрошу, Саша, если будете видеться, не выпивайте с ним... — Клигман посмотрел на Белова со значением. — Сами поймете, о чем я.

— Неужели? — не поверил Белов. — Он вроде не пил совсем.

— Научился. Думал, ему здесь Эйфелеву башню дадут построить. Ну, до свидания, про Турухан думайте!

Пошли к Пете. Темнело рано, Ермаково уже светилось фонарями. Огни тянулись неровными улицами вдоль Енисея и уходили поперек, как будто вглубь тайги. Улица была отстроена недавно. По одной ее стороне красовались брусовые дома сложной формы, с просторными крылечками и козырьками, с затейливыми фронтонами. Над ними явно трудился архитектор, и Сан Саныч опять вспомнил про Мишарина. По другой же — один за другим выстроились обычные, длинные засыпные бараки с входами с двух сторон. Мусор валялся, опилки досок и бревен, ни кустика, ни деревца нигде

не было, только свежоошкуренные столбы сиротливо торчали да фонари на них качались, подсвечивая косо летящий снежок.

Заканчивался рабочий день, вольные возвращались по домам, и большинство окон уже весело светились, топились печки, дым валил из труб. Последний барак, видно, только заселялся, разгружали машину, подъехала еще одна с полным кузовом узлов и ребятишек, бородатый мужик без шапки, забравшись на лестницу, приколачивал что-то под крышей и громко матерился. Электричества здесь еще не было — керосиновые лампы желтками теплились в нескольких окнах. Две женщины в ватных штанах и телогрейках пилили бревно двуручной пилой и что-то горячо обсуждали. Тротуары так и не доделали, а где-то их уже успели изломать, но грязь уже замерзла крепко.

— Быстро строят! — радовался Белов. — В начале сентября эту улицу только начинали!

— Ну, эки на лесозаводе в три смены брус гонят! — поддержал Грач. — Только строй!

— Да эки и строят, — недовольно перебил Петя, — я хожу смотрю! Лес непросохший, со щелями кладут. После таких строителей еще...

— Штукатурить надо, ясное дело, — перебил Грач, — дранкой обивать и глиной мазать! Глина-то есть тут?

Улица с типовыми домами кончилась, началась самозастроенная, разудалая Бакланиха. Она занимала неудобные для казенного строительства склоны ручья и берег озера. Избушки и балки, сколоченные из обрезков, обложенные мхом полуземлянки — все стояло криво-косо, как будто само выросло из земли, и тоже дымило печными трубами. Название свое Бакланиха получила от воровского «баклан» — неопытный вор, хулиган, тут жизни было больше. За заборчиками брехали собаки, возились люди, где-то хрюкал поросенок, худая рыжая кошка сидела на столбе забора. То тут, то там торчали уцелевшие деревья и кусты. Возле одного домика стояла лошадь с бочкой, из нее раздавали воду, ребятишки, обливаясь, бегали с ведрами.

В огромном палаточном городке, где жил Петя, тоже готовились к долгой зиме. Утеплялись мхом, запасались углем и дровами. Свет везде горел на столбах. Полтора месяца назад, Белов это ясно помнил, поселок был раза в два меньше. Радиотарелка на столбе громко передавала классическую музыку.

— Ну, давайте за окончание навигации! — Петя аккуратно разливал по стопкам.

Выпили, захрустели квашеной капустой. Галя принесла кастрюльку с дымящейся картошкой в мундире. Грач полез рукой, подхватил, обжигаясь и перекидывая с руки на руку:

— Старуха-то моя теперь тоже накопила, засыпала уже в погреб, приеду, туруханской селедочки ей привезу бочонок... Вы-то не солили?

— Где нам ее держать? — Петя снова взялся за бутылку.

— Соседи погреба выкопали и все там хранят... — не согласилась Галя.

— Да дураки твои соседи, померзнет у них все! — отмахнулся Петя и поднял стопку.

Чокнулись. Белов не стал закусывать. Он невольно следил за Галиной и представлял себе Николь с животом и что она вот такая же хозяйка — кормит его друзей и недовольна им, что он не выкопал погреб... Он слышал, как кровь толчками радости и тоски приливает к сердцу. Вспоминал и вспоминал, истязая себя. Картинка с Николь наконец так ударила в голову, что он сам себе налил полную рюмку и молча выпил. Грач с Петей с недоверием посмотрели на Белова, Петя взял бутылку, изучил ее и налил всем.

— Вы закусывайте, Сан Саныч! — Галя всех капитанов звала на вы.

Белов машинально зацепил вилкой капусту и стал жевать. Хмурый сидел, внутри вулкан клочкотал, и эта капуста так к нему не подходила, что он чуть ее не выплюнул. Он не видел Николь с восемнадцатого июля. Почти три месяца...

— Сан Саныч! Ты чего сегодня какой? — услышал Белов голос Грача. — Петя за наследника предлагает выпить!

— Парень будет — Ермаком назову! — Петя встал и поднял рюмку. — Жизнь тут мировая будет! По железной дороге все привезут — радиоприемник, проигрыватель, даже телевизор в каждой семье будет! Мы свои уже начали выпускать! Сам по радио слышал: «В продажу поступили первые телевизоры марки КВН-49А!»

— Ты, Петька, чего сказать-то хочешь? У меня рука затекла! — Грач подмигнул Гале на подпившего мужа. — За Ермака так за Ермака! — он выпил свою рюмку.

— Я магнитофон «Днепр» в «Посылторге» заказал! — хвастался Петя. — Видел у одного на «Марии Ульяновой». Вот такие катушки крутятся, и музыка играет. — Он вдруг встрепенулся. — Галька, куда пластинки дела, давай пластинки будем слушать...

— Ты же их все побил, Петя, на день рождения выпивали... Они же тебе надоели?!

— И Шульженку разбил? — не поверил Петя.

— С нее и начал...

— Ничего, новые купим, на совещание поеду в Красноярск... — Петя взялся за бутылку, но она была пуста. — Так, сидеть, ребята, я сейчас!

— Не надо бы тебе, Петя... — запротестовала Галина.

— Нам хватит, Петро! — поддержал ее Белов. — Завтра рано уходим.

— Ну... — Грач подкурил козью ножку и стал подниматься. — Спасибо хозяевам за хлеб-соль!

Вышли на улицу, распрощались. Метель поутихла, легким снежком пробрасывала.

— Ты, Семеныч, Николь не помнишь? — спросил Сан Саныч почти нечаянно.

— Кого? — у Грача самокрутка то разгоралась, то тухла. — От-т, газету подмочил, видать...

— В Дорофеевском когда были, там одна такая темненькая была.

Грач смотрел, не понимая.

— С короткой стрижкой, как мальчишка, и глаза еще такие... не помнишь?

— Я, Сан Саныч, женский пол вообще перестал отличать. А чего, понравилась она тебе?

— Да, — Белов вздохнул удрученно, — понравилась — не то слово...

— Поночевал, что ли, с ней? — житейски просто спросил Грач.

Белов молча смотрел, не обиделся на старикову прямоту, покачал головой.

Буксир ярко освещался береговыми прожекторами, часовые стояли на пристани у аккуратно сложенных ящиков. Заключенные неторопливо разгружали трюмовую баржу. Снег пошел гуще, кружился над мерзлой зимней водой. Снежинки липли к не гладкому уже, но будто шершавому телу реки.

— Шуга<sup>66</sup>, похоже! — перегнулся Грач через фальшборт. — Бечь надо в Игарку, Сан Саныч, кабы не прихватило!

Белов кивнул согласно, всю дорогу он думал о своем.

Колючие снежинки налетали из-за рубки и вдруг замирали растерянно, зависали без ветра и тут же, подхваченные порывом, уносились вверх. И каждую в ярком свете прожектора было отлично видно и, когда замирала, можно было взять рукой. Но ветер надавал, буйно и бессмысленно все перемешивал, и опять не понять ничего было. Отяжелевшему от дум Сан Санычу казалось, что и в жизни его все вот так же. Ничего не ясно... Влюбился в ссыльную, сам не понимая, как... А тут еще Зинаида, как наступающая зима... Уже завтра он должен был быть у нее... Что делать? — сорвалось с языка вслух. Он оглянулся — никого не было, Грач спустился в командирский кубрик, негромко пыхтела паровая машина, да кочегар, скрипуче открыв металлические заслонки топки, начал отбивать шлак.

## 20

Декабрь сорок девятого выдался отменно злой. Уже с конца осени встали сорокаградусные морозы, временами и за пятьдесят переваливало. В двух ермаковских школах — одна из них была толком не достроена — на радость ребятишкам то и дело отменяли занятия, и они целыми днями сидели дома и бегали друг к другу в гости. Печки топились сутками, но даже в брусовых домах холодные углы промерзали и покрывались льдом.

Сугробы прикрыли поселковую грязь, но только навели видимость порядка. Большие палатки, прикопанные и обложенные мхом, домишки, балки, землянки и полужемлянки, еще какие-то неведомые архитектуры строения стояли где угодно и как угодно. Кто как хотел, так и лепил свою нору,

---

<sup>66</sup> Шуга — кристаллы льда, возникающие от переохлаждения воды перед ледоставом.

торопясь спрятаться от зимы. Только на подъеме от Енисея да в центре, где были заложены две длинные улицы, поселок был похож на поселок.

Улицам дали названия, а домам номера. Эта сложная условность путала людей, поскольку номера были не везде, то есть у каких-то домов, не говоря о балках, их не было, а улицы были кривы, а часто и не похожи на улицы. Там, где должна была продолжаться Норильская, шла уже Павлика Морозова, которая вскоре по неизвестным причинам превращалась в Овражную. Долгое время были две улицы Щорса и совсем не было улицы Ленина.

Найти по адресу было сложно, и все же, благодаря почте, люди стали сознавать себя ермаковцами — им приходили письма на их адрес! В ответных письмах они хвастались, что еще весной здесь ничего не было, а теперь Ермаково, если считать вместе с ээками, уже больше Игарки и Туруханска вместе взятых. Хвастались и огромной стройкой всесоюзного значения. Не только вольные, но и охранники и заключенные гордились в своих письмах одним и тем же. Их адреса, правда, были короче, и поселка Ермаково на конверте не значилось, да и про стройку им писать не полагалось.

В обычной поселковой жизни появились твердые ориентиры. Горчакова, отправляя на санзадание в Ермаково (а такое случалось нередко — медработников не хватало), чаще инструктировали «на пальцах», чем вручали адрес: «От Управления второй барак в сторону автобазы...» или «Поселок ПГС пройдешь, не доходя пекарни, сразу за землянками...». «Промтоварный», «Большой» и «Дальний» продуктовые магазины или «Продуктовый возле бани» были верными ориентирами. Достраивалось большое здание Дома культуры, и обещали построить стадион. Все, даже дети, хорошо знали, где находится «первый», а где «второй» лагпункт, а где «женская зона» — они располагались на окраинах поселка, и к ним вели широкие — по пять человек в ряду — хорошо натоптанные дороги.

Общественная баня на берегу работала так: понедельник-среда-пятница-воскресенье — мужской день, вторник-четверг-суббота — женский.

Снег на улицах чистили тракторами, по обочинам и особенно на перекрестках образовались высокие, под крыши домов сугробы, с которых дети катались на ледянках. Грузовики ездили, трактора и кони таскали сани или волокуши, а начальство пользовалось конными саночками.

Больницу для вольных сдали к празднику Революции 7 Ноября. На сто коек, с большой операционной, новым рентгеновским аппаратом и зубным кабинетом на два кресла. Прибыли терапевт и зубной врач — семейная пара из Ленинграда по распределению после института. Он — после фронта, искалеченный, с некрасиво обожженным, мясного цвета лицом, она — молоденькая, симпатичная и так ласково поглядывающая на мужчин, что у всего начальства сразу заболели зубы.

Торфяные болота наконец схватились и застыли в бетон, через них прочистили зимники, грузовики и трактора потащили грузы по тайге — в лагпункты и на трассу. Работы на объектах не прекращались — за половину декабря всего три дня активировали<sup>67</sup> из-за холодов, но и те заставили отработать в выходные. Технику, лошадей и собак берегли, люди же выходили. Работали, грелись по теплушкам и снова работали.

Из-за сильных морозов на земляных работах был ад — ни кайло, ни лом не брали грунт. Жгли большие костры, отогревали, снимали мгновенно замерзающий слой и снова наваливали сухостой целыми стволами и сами грелись. Толку было немного — план горел. Бригадиры вечерами мудрили с нарядчиками, придумывали несуществующие работы по расчистке снега, подноске материалов вручную, по корчеванию тайги, которой там давно уже не было, и еще всякую другую «заправляли туфту» и «раскидывали темноту»... и так выполняли производственные задания. Начальство обо всем знало, но закрывало глаза — и план выполнялся на сто, сто двадцать и даже сто пятьдесят процентов. От его выполнения зависели размер пайки заключенных, зарплаты и премии вольных, должности и новые звездочки на погонах высокооплачиваемых сотрудников Министерства внутренних дел.

Шура Белозерцев, раздетый и без шапки, в клубах теплого воздуха выскочил из барака на улицу. Глянул на мутноватую сквозь морозную мглу луну, выплеснул из ведра грязную воду на сугроб

---

<sup>67</sup> Активировать — составить акт (подписывался лагерным и производственным начальством) о невозможности наружных работ по причине, например, сильного мороза.

и принялся к температуре. У него был свой термометр: Шура слушал, как щиплет в носу и горле и как вообще можно дыхнуть. Сегодня нельзя было — сухой колючий ком сразу встал поперек. Градусник на столбе показывал минус сорок семь. Вернулся в барак. Шура, несмотря на поджарость, был немерзлявый, чуть только потер уши, тряхнул головой и снова стал наливать горячую воду в ведро.

В операционной, отгороженной дощатой стеной от остального барака, стонал капитан Балакин. Тихо стонал, но не замолкая. Глаз распух и вылез так, что смотреть было тяжело. Кажется, он уже совсем плохо соображал. Горчаков сидел рядом, держал какую-то примочку, сам читал учебник по хирургии.

Белозерцев сунулся было с тряпкой, но передумал, прикрыл дверь и, подхватив парящее ведро, перешел в палату. Снова встал на карачки. Капитана привезли позавчера, глаз уже был опухший, но он им еще смотрел и пытался шутить, потом все стало хуже. И вот он третий день ждет операции. Говорили, сам Богданов должен прийти, а чего-то не было его, вроде к какому-то начальству в Норильск вызывали... — Шура открыл печку, поковырял раскаленный уголь кочережкой, добавил пару совков свежего и снова взялся за грязную половую тряпку. Если хирурга не пришлют, помрет капитан, сколько таких околело.

Все это было привычно, и от простого аппендицита или от водянки люди погибали, а капитана с почерневшем глазом было жалко. Красивый, справедливый мужик, бригадиром был в бригаде у вояк, Шура у него работал. Ни сук, ни воров не боялись. «Героя Советского Союза» имел.

Белозерцев обдумывал все это машинально, как машинально дрючил затоптанные, захарканные, испачканные, где кровью, где гноем, а где и недонесенным дерьмом полы, но озабочен был другим.

Пришла Белозерцеву с воли трепетная весточка. Медсестра Рита принесла вчера утром аккуратно оторванную четвертушку из школьной тетрадки, и клочок этот второй день огнем жег Шуру ляжку. Всю ночь сегодня юлой вертелся, все придумывал, как за зону выскочить на часок.

Три дня всего и поработала у них в лазарете медсестричка Полина Строева, и было это два месяца назад, а вот прислала записку, и Шура махом с резьбы соскочил. Месяц в ШИЗО готов был вытерпеть, только бы к ней слетать. Полина прямо писала, звала повидаться, а если получится, то и на ночку. Руки у Шуры тряслись, как у семнадцатилетнего, он и полы-то теперь мыл — за час до подъема встал! — чтобы эту тряску унять. Надо было как-то извернуться, да ничего путного в голову не лезло. Просить Горчакова о таком, подставлять его Шура не смел, лезть под проволоку ночью было страшновато, могли и стрельнуть. Его время от времени отправляли за зону по разовым пропускам, вот об этом он теперь и тосковал. И зло возил тяжелой тряпкой по загаженному, местами обледеневшему полу и бегал выплескивать воду.

Стылая ночь стояла над лагерем, и еще часа три после общего подъема будет ночь, вот теперь бы и сгонять. Шура знал барак Полины в поселке, если бегом припустить, то минут десять. И он в который раз прижимался мысленно к ее теплой груди и заглядывал в мягкие глаза.

И дело было не в «ночке», разбудило это нежданное письмецо подзабытое, но живое, не вытравленное окончательно чувство. Удивительное чувство, неизвестно где и дремлющее в человеке и непонятно как являющееся вдруг между мужчиной и женщиной. Никогда Белозерцев, даже про себя не произнес бы слово «любовь», совсем не подходящее к заключенному и его жизни. Но это была любовь, Шура очень чувствовал ее в себе, трепетная, в небесные выси поднимающая задроченного зэка от его скотской жизни. Все бы отдал Шура за это теплое прикосновение воли.

Лазарет, устроенный в большой палатке, был битком. Нары типа «вагонка» стояли не только вдоль стен, но и в середине, сейчас здесь больше шестидесяти больных помещались и шесть человек персонала. Свободными оставались только узкие проходы да немного места вокруг трех металлических печек, обложенных кирпичом. Возле печек было жарко до пота, по углам подмерзло, а во всем лазарете такой духан стоял, что ноздри разъедало. И гнили, и пердели, и под себя ссали... И сортир на шесть очков здесь же за брезентовой перегородкой был выкопан.

Всю левую сторону занимали прооперированные. Аппендициты, геморрои, выпадение и ущемление прямой кишки. От тяжелой работы с этим добром привозили каждый день. Здесь же

лежали и просто с огнестрельными и ножевыми ранами. Через проход за перегородкой из простыней стонали заразные, рожистые больные. Стонали, и подвывали от изнуряющей, почти не прекращающейся боли, и матерились злобно на весь белый свет.

Зубы приходил лечить зубной техник из третьего лагпункта. Лечить он не умел и не считал нужным, а рвал с удовольствием и потом показывал кровавый зуб несчастному пациенту и, вложив в руку, велел унести с собой. Так он отбивал желание обращаться с зубами — на зоне было немало специалистов, которые обычными плоскогубцами рвали не хуже.

Кроме начальника санчасти необразованного фельдшера Горчакова, в лазарете работали дневной и ночной санитары, малолетний дневальный Сашка и две вольные медсестры — высокая и спокойная Рита и молоденькая пугливая Маруся.

Белозерцев, домывая пол, увидел, что дальние деревянные бадьи для мочи стоят полные, крикнул зло и громко дневального:

— Сашка, суч-чий кот, Пушкин парашу выносить должен?!

Сашка не отозвался.

— Сашка, сучонок!

— На ларе с углем спит... — подсказал чей-то измученный болью голос.

Сашка был четырнадцатилетний худощавый мальчишка, получивший год лагеря за побег из ФЗУ<sup>68</sup>. Бежал в родную деревню, к мамке, которая отдала его в училище, потому что дома жрать было нечего. Мальчишка был ласковый, беззлобный и беззащитный. На Игарской пересылке им попользовались урки. В лазарет привезли с распухшей задницей и разрывами прямой кишки. Богданов сам делал операцию, Горчаков ассистировал, а потом оставил пацана помощником по бараку. Должности такой не было, но Сашку никто не трогал, и тот стоял на раздаче, топил печку и бегал с мелкими поручениями на вахту или в штабной барак. Работник он был плохой, не то чтобы ленивый, но мог заснуть где угодно, даже, как вот сейчас, в коридоре, на угольном ларе — за углем пошел и прилег, а там минус десять, не меньше. Как и все зэки, Сашка любил только две вещи — жратву и сон. Полы ему мыть Белозерцев не доверял — только грязь развозил. Шура сам их драил, удовольствия в этом не было никакого, ясное дело, но Шура любил, когда становилось почище, и видел, что Горчаков доволен. Да и больные посматривали на него вроде и с недоумением — чего мужик корячится, но и одобряли чистоту.

Белозерцев нащупал под бушлатом тощее, будто резиновое Сашкино ухо, потянул легонько и зашептал прямо в него:

— Еще раз, бля, увижу, на общие отправлю! Понял меня?!

Сашка соскочил с ларя, сунулся было к двери, но вспомнив, что пришел за углем, открыл крышку. Белозерцева он не боялся. Получал от него каждый день, но злобы в санитаре не было и даже наоборот — родной отец к Сашке так хорошо не относился.

Пришли медсестры, принесли запах воли. Дневальные притащили из столовой чай, нарезанные хлебные пайки на больших подносах и сахар. Сашка встал на раздачу, а Белозерцев, наказав ему выстирать бинты и следить за парашами, быстренько выпил чай, надел под бушлат чистый белый халат и пошел к земляку Женьке Малых.

Женька был не просто земляк, они жили в Куйбышеве на соседних улицах. Тогда, правда, они не знали друг друга. Женька, в отличие от Шуры, успел демобилизоваться и хорошо погулять, отходя от войны и душой, и телом. Шура за это время сменил два лагеря, один другого хуже, прошел три пересылки и четыре разные бригады.

Они познакомились на этапе, в трюме теплохода «Иосиф Сталин», и Шура всю дорогу до Ермаково расспрашивал, как там теперь на его улице и в их доме и не встречал ли он такой симпатичной рыжеватой женщины средних лет с двумя белобрысыми пацанами шести и восьми годков? Спрашивал про рынок: почему там жратва? Работают ли теперь, как раньше, пивные в парке над Волгой и все так ли хорош закат солнца на ту сторону реки, когда сидишь в такой пивной? Там все было так же, Женька рассказывал с подробностями, привирал весело, особенно про свои похождения с

---

<sup>68</sup> ФЗУ — школа фабрично-заводского ученичества. С 1940 по 1953 год в школу принималась и мобилизовывалась молодежь 14–18 лет для обучения рабочим специальностям. За побег давался срок.

девушками. В лагерь он загремел за драку с милиционерами, как раз в этом парке в центре города, но больше за пьяные высказывания в адрес родной власти во время этой драки. Он, с одной стороны, был сыном большого начальника и, скорее всего, поэтому получил всего семь лет, а с другой — ловок был пристраиваться. Только прибыли в Ермаково — это был его первый лагерь, — Женька устроился писарем, а вскоре стал личным секретарем начальника лагеря Воронова.

Белозерцеву Женька был должен — зачем-то срочно надо было лечь землячку в лазарет и Шура ему помог. Лагерный долг — дело святое, Шура теперь очень рассчитывал на разовый пропуск за зону — секретарю начальника это было раз плюнуть.

Было уже семь утра, у вахты ярко было освещено прожекторами, а за ней снова черная, как деготь, ночь и плохо освещенный поселок. Хорошо, что темно, думал Шура, поглядывая за колючку, — с закрытыми глазами дорогу найду, по темноте и вернуться можно. Он не сказал ничего Горчакову, потому что нечего пока было сказать, с пропуском могло не получиться.

Барак земляка располагался в такой же палатке, что и их лазарет, но обитали здесь не семьдесят, а дай бог человек двадцать. В одной половине была парикмахерская, где и жили стригали, в другой — высокие чином лагерные придурки. Стены были хорошо утеплены фанерой и войлоком, а все помещение разделено на комнатки по четыре человека. Вместо нар — кровати с матрасами и бельем. Работу они начинали часа на два позже. Шура сунулся в нужную комнату:

— Здорово, земля! — шепнул вежливо.

Женька с товарищем пили крепкий чай в стаканах с подстаканниками. Он замолчал, увидев Белозерцева, забыл, видно, что приглашал. Шура не смутился, присел по-свойски на койку, бросил рядом ушанку и достал папиросы. На стол не смотрел, чтобы не подумали, что ради харчей пришел. Закурил. Огляделся. Ему почему-то приятно было побыть с лагерной придурней — какое-никакое, а начальство. Покивал одобрительно головой — хорошо, мол, живете, имеее право.

— Вы пейте, пейте, я попил... — Шура расстегнул бушлат.

— Эй, дедко! — стукнул Женька в фанерную стену. — Притащи кипятку.

Он приоткрыл тумбочку, достал коляску «краковской» и сунул Шуру:

— Возьми с собой, да чайку попей с булкой, маслице самарское мажь, — он кивнул на стол.

Булка была белая, как сметана, с румяной коркой, не из посылки, понятно, а свежая, из пекарни, пахла, как сатана, на всю комнатку, даже запах колбасы перебивала. Шура сглотнул слюну, впихнул колбасу во внутренний карман бушлата, проверил, не вывалится ли, и кивнул: можно, мол, и чайку. Не жадный земляк, будет возможность, тоже отблагодарю, подумал Шура и снял бушлат, оставшись в белом халате поверх телогрейки. Дедок-дневальный вошел с большим чайником. Женькин товарищ, тоже, видно, штабной писарек, допив чай, вышел молча.

— Как там дома? Новости есть?

— Да чего там, все куем, да пашем, да хренами машем! — Женька налил заварки, подвинул Шуру масло. — Мать пишет, троллейбус запустили электрический, через весь город можно проехать.

— О! — удивился Шура, громко отхлебывая горячий чай и обдумывая, как свернуть к делу.

Булка с маслом во рту таяла, колбаса из-за пазухи пахла зверски, с ней неплохо было бы к Полине заявиться, все не с пустыми руками. И хоть вчера полдня об этом думал и сейчас по дороге микитил, а не знал, что сказать. Прямо нельзя было, начнет расспрашивать, что да как...

— Я думал, спиртiku притащишь... или у вас с этим туго? — Женька прихлебнул чай.

— Что ты, нас каждая собака обнюхивает... На учете все!

— Кто у вас теперь начальник?

— Кто и был. Горчаков. Старший фельдшер.

— Ну-ну, я помню. И что же он, сам не пьет?

Женя сегодня многовато задавал вопросов. Белозерцев не понимал, чего это он. Дурака включил на всякий случай:

— Не пьет и других не пожалеет. Бесполезно, — приврал, строго нахмутив брови.

— Что за человек вообще?

— Тринадцать лет по зонам, серьезный мужчина! Без образования лепила, а весь лазарет на нем, и лечит, и операции, какие попроще, делает. Богданов, когда сложную операцию ведет, только

Николаича в ассистенты требует, а иногда и спрашивает еще, как, мол, вот тут-то надо, что там в «Хирургии» Руфанова написано? Я тоже, бывает, помогаю маленько, иной раз целый таз нарежут!

Женя не очень его слушал, думал о чем-то.

— А чего ты про него? Может, бумага какая? Не переводят его? — Шура ни с какой стороны не нравился Женькин интерес.

— Да нет, я так... — Женя опять посмотрел внимательно, потом согнулся по-свойски и зашептал одними губами: — Хотел с ним насчет марафета потолковать, поговори, чтоб нам встретиться, а я вам в штабе помогу, у меня там все прихвачено. Того-сего можно подкинуть...

Шура, услышав про марафет — к Горчакову блатные постоянно с этим подъезжали, — напрягся. Не то что расхотел про свой пропуск говорить, но это были дела разного размера. Пропуск касался лично его, Шурки Белозерцева, и Георгия Николаевича ему никак сюда не хотелось приплетать. Вспомнил, как Женька, когда «припухал» у них неделю, тоже много чем интересовался. На стукача он не похож был, но уж больно деловой, Шура таких не любил, деловые иногда хуже стукачей. Он сделал вид, что не понял про марафет:

— Что в штабе говорят, скоро нас в деревянный барак переведут? Мы инфекционных должны отдельно держать. С лета обещают...

Он помолчал и, неожиданно осмелев, брякнул:

— Я к тебе за пропуском пришел — не сделаешь разовый на сегодня? Часа на два-три. К обеду вернусь...

— Зачем тебе?

— Товарища проведать... санитаром у нас работал... — Шура сам слышал собственное вранье, отвернулся, опустил руку и почесал ватные штаны внутри валенка.

— Бабешку завел? Хорошо подмахивает? — ехидно оживился земляк. — В женской общаге живет... Люська или Оксана?

— Сделаешь пропуск? — перебил Шура, Полю называть не хотелось.

— А ты со своим фельдшером переговоришь?

Белозерцев сосредоточенно думал. Не было ничего особенного в просьбе земляка, с кем угодно другим он его свел бы за этот пропуск, но... Горчаков был в сознании Шуры человеком особым, Женьку к нему нельзя было допускать.

— Шприц-другой смогу увести, больше не выйдет...

— Это не интересно, вы же все время получаете.

— С Горчаковым не выйдет, он и большим ворами отказывает, не станет говорить... — Шура сказал это и по внимательным глазам Женьки понял, что воры его и подсылают к Горчакову.

— Святого из себя строит?!

— Да нечего ему и строить, вторую ночь возле Балакина сидит... Был бы гондон, не сидел бы!

— Что, он живой еще, капитан?

— Пока живой, глаз, видно, удалять будут. Сделаешь пропуск-то?

— Не знаю, — Женька посмотрел внимательно и неожиданно спросил: — Ты в самоохрану<sup>69</sup> не хочешь?

Шурка не сразу понял. Потом понял и глаза прищурил не очень вежливо, даже чай отставил подальше.

— Чего ты? Жить за зоной будешь, и баба твоя под рукой всегда... Вояк с небольшими сроками берет, сейчас согласишься — целых полгода скидки! На вышке стоять — не кайлом махать!

— На вышку, значит, меня определяешь, землячок? Как падлу последнюю? — у Шуры глаз задергался, он забыл, зачем пришел.

— Да брось ты! Сам вот сижую думаю, все не в зоне пухнуть! С оружием, на вышке! Почти воля!

---

<sup>69</sup> Самоохрану набирали из заключенных-малосрочников. Они стояли на вышках с оружием. Надзирателями и в конвой их не ставили, чтобы не было контакта с другими заключенными. Жили они за зоной в отдельном от солдат бараке. Шли туда подловатые, не ужившиеся в зоне или желающие выжить любой ценой. За подстрел нарушителей им на полгода уменьшали срок. Самоохрану презирали и солдаты, и заключенные. Это был синоним подлеца.

— И что же ты, в таких же, как ты, мужиков стрелять станешь?  
— Не хочешь — не стреляй!  
— А если кто к бабе полезет под проволокой? На сладкое свидание?  
— У каждого своя доля... Сейчас при лазарете кантуешься, а если на общие пошлют?  
— Вот эт-то землячок у меня! — Шура поднялся и стал шарить по карманам бушлата, лицо перекосилось от негодования. — Мне и сказать-то нечего... Старшину разведки в вертухая обрядил! Да я об эту самоохрану даже ноги не вытру!

Он так волновался, что не сразу достал колбасу, дернул в сердцах, разломил пополам, один кусок упал на пол. Он подобрал и положил их на край тумбочки перед Женей.

— Тебе, друг, только колбасой за это платят или деньгами тоже?! — он хотел сказать что-то совсем обидное, но удержался и, нахлобучив шапку, быстро шагнул за дверь.

Выскочил в темень морозной улицы, заспешил, стал надевать варежки, руки тряслись от злости, от несделанного дела, одна варежка на снег упала. Он поднял. Остановился. Дохнул морозным паром, страшно злясь на самого себя — пошел за должком да за пропуском, возвращается, как кот помойный. Как Манька с мыльного завода! Записка Полины вспомнилась, аккуратная такая записочка...

Развернулся к земляку. Челюсти стиснуты, глаза зло прищурены. Женька спокойно одевался.

— Так, значит, должки возвращаешь? Дай пропуск!

— Ты, Шура, идиот, видно, на всю голову! Иди отсюда! — земля стоял безбоязненно, спокойно застегивал блатной тулупчик.

— Ну-ну! — Белозерцев обескураженно поскрипел зубами, потискал кулаки в карманах и вышел.

По дороге успокоился. Сам себя кругом виноватым почувствовал — пошел по бабьему делу, Горчакова втянул, как последний мудака... С земляком поссорился — была рука в штабе, тепер нет. Потом вспомнил про самоохрану и крепко, в несколько этажей выматерился — хер с ним, с этим земляком! Не выгорало повидаться с Полей. Он ухмыльнулся кривовато и горестно, представляя ее милое улыбающееся лицо и разные округлости под белым халатом.

— Звала меня Поля, да я не на воле! Эх-эх! — врезал Шура себе по ляжкам и бегом припустился в санчасть.

Горчаков сидел с книгой и со скальпелем в руках. Рассматривал рисунок устройства глаза, прослеживая скальпелем какие-то сосуды. Поднял на Шуру сосредоточенный взгляд:

— Шура, собери все для перелома. С крыши кто-то упал. Вместе пойдем.

— Куда же, Георгий Николаич? — не верил своим ушам Шура.

— В поселке, у Дома культуры...

Уже через час Горчаков с Белозерцевым, миновав вахту, шагали по улице Ермаково. Остановились, пропуская припозднившуюся бригаду. В густых сумерках полярной ночи заиндеветшая от стужи, припорошенная снежком колонна, казалось, была составлена из призраков — серые ватные штаны и бушлаты, серые казенные маски от мороза на лицах. И валенки были серыми и громко скрипели стеклянным сумеречным снегом.

Шел уже десятый час, до первых признаков зари, рассеивающей ночной мрак, было еще часа полтора. Шура все не решался спросить, только хмурился и прятал лицо под маской. Лицо Георгия Николаевича тоже было скрыто, только брови и ресницы побелели от дыхания.

— Полина Строева у нас работала осенью, — освобождая рот от маски, заговорил, собрав все свое мужество, Белозерцев. Глаз у него трусливо и лихорадочно горел. — Помнит меня. Письмецо написала! — Он переложил чемоданчик с медикаментами в другую руку и похлопал себя по карману.

— Что? — косил на него глаза Горчаков.

— Сбегать бы мне на часок, да как вот, думаю... Она пишет, мол, сохнет по мне, забыть не может... — Шура и сам начинал верить своим словам. — В двух шагах живет! — ткнул чемоданчиком в проулок.

Горчаков продолжал идти молча, только головой кивнул. И Шура вдруг, как-то разом успокоился. Кивок этот Горчаковский означал: не суетись, Шура, ради бабы не стоит, а будет

возможность — сходишь! И Шуре надежно стало от этих правильных слов Николаича, будто отец родной приласкал и не осудил, а поддержал.

Водовоз, по-бабьи перевязанный толстым платком, даже глаз не было видно, шел им навстречу рядом с санями и подхлестывал бедную лошадь. Полозья на таком морозе не скользили по снегу, а скрипели-орали на всю ивановскую — проще было по песку волоочь, прикинул Шура. Деревянная пятидесятиведерная бочка косила сани на один бок — льда на нейросло больше, чем внутри было воды. И прорезь наверху бочки, и лошадь были прикрыты попонами. Морда же и мохнатый круп животного густо белели от куржака.

Подошли к объекту — длинному брусовому зданию, в котором ни печей еще не стояло, не прорезаны были двери и окна, а над половиной здания только начали крышу. С этих-то стропил и упал пожилой сухощавый работяга и умудрился сломать лучевые кости на обеих руках. Вся небольшая бригада по такому случаю собралась у раскаленной до алого сияния печки-бочки. Горчаков осторожно ощупал опухшие переломы и открыл чемоданчик — достал временные шины.

— Иди сходи, если недолго... — негромко сказал Шуре. — Если что, скажешь, я послал за обезболивающим.

Шура благодарно сверкнул глазами в темноте и направился к выходу, но вдруг вернулся:

— Вы тут без меня...

— Иди-иди, я небыстро... К часу надо в лазарете быть.

Внутри барака было глаз коли, слабый свет шел только из дальнего конца, над которым не было крыши. Холодно было, почти как на улице. Горчакова с упавшим устроили возле буржуйки. Посматривали на работу фельдшера, переговаривались. Кто-то жалел немолодого мужика, кто-то прикидывал, сколько тот будет на шконке припухать-отдыхать и не прицепится ли особист, не объявит ли саморубом<sup>70</sup>. Бригада вся была из бытовиков с одним охранником, который ходил с ними не первый уже раз и хорошо всех знал. В нарушение инструкции он сидел тут же, среди мужиков, на заботливо подставленном пеньке, в распахнутом тулупе и с автоматом на коленях — тоже грелся. И хотя кто-то из бригады в ласковый момент мог у него и махорочки стрелнуть, совсем рядом со стрелком никого не было. Не ближе двух-трех метров — привычка, которую заключенные навсегда усвоили в первые же дни неволи.

Двухсотлитровая буржуйка, жрущая по кубометру дров за смену, затихала, бока ее из алых потемнели до рубиновых, в помещение возвращался мороз.

— Подбрось, кто там? — стрелок внимательно глядел, как Горчаков бинтует руку.

Бригадники негромко заспорили меж собой, стрелок поднял на них голову. Дрова — обрезки строительных досок и бруса, собранные с утра по объекту, кончились, бригадники косились на штабель новенького бруса. Стрелок понял их, усмехнулся и, расстегиваясь на ходу, пошел по малой нужде в дальний конец барака. Один брус в три ножовки тут же распилили на чурбаки и, наколов, запихали в печку.

Горчаков не торопился, опытной рукой щупал сломанные кости, наматывал расползающийся стиранный бинт. Тоже закуривал, поглядывая на огонь, гудящий в печке. Он наблюдал отношения работяг и охранника и шкурой старого лагерника ощущал, что жизнь на строительстве наладилась. Как будто все, и работяги, и охранники, договорились меж собой против малоумной и бесчувственной государственной машины. Неразбериха и нервы первых месяцев улеглись, и наступили странные, но всем понятные и почти справедливые отношения несвободных людей. Всем было одинаково плохо. Горчаков рассматривал бригадников и вернувшегося к печке охранника — одни лица, одни и те же крепкие рабочие плечи и руки. Только и разницы, что один в тулупе, а другие в бушлатах. Любой из них мог влезть в этот тулуп и повесить на плечо автомат. А стрелка легко могли нарядить в серые ватные одежды.

Шура мелкой нервной перебежкой летел к зазнобе, и побежал бы, да не хотел привлекать к себе внимания. В голове мешалось все подряд — что будет говорить, если нарвется на патруль, что скажет Поле. Хотелось что-нибудь повеселей: здравствуй, Поля, вот и я! Позвала, и я явился! Как жила ты без

---

<sup>70</sup> Человек, сознательно причиняющий себе увечье, чтобы не работать в тяжелых условиях.

меня? Прямо Пушкин... Поля ты моя, Полюшка, вольная ты моя волюшка! Он вспоминал, как подбивал к ней клинья, как шуточки шутил, а у самого все кишки выворачивало от сладкого преступного желания. И все сомневался — она была молоденькая, симпатичная медсестра, окончившая училище, а он вояка, грязный санитар подай-принеси... Вчера вечером он тщательно выстирал трусы и майку и разрезал новые портянки, которые до этого на ноги не наматывал, а использовал как шарф.

Полины не было дома!

Она была на работе в больнице для вольных! Шура не поверил, открыл дверь к соседям, он пытался быть вежливым и улыбался, но глаз у него, видно, нехорошо блеснул, да и смотрели на зэка в белом халате с недоверием, так, что он даже достал и показал пропуск. Полина соседка выглянула из их комнаты и тоже строго за ним наблюдала. Шура помялся, проглотил матюшки, скопившиеся на языке, и поплелся на улицу. До больницы, где сейчас была Поля, уже не успеть было.

Он и хотел идти быстро, понимая, что Горчаков ждет, да ноги не шли, убитые горем. Так повезло, так размечтался-разохотился, что и предположить не мог, что она не сидит и не ждет его. Это какой же мудила! Три дня суетился, и на тебе! Черная тоска текла по душе!

Ни одного патруля не встретилось. Горчаков ничего не спросил. И так все было понятно. Когда подводили переломанного к вахте, из-за поселка краем неба вставала морозная, желтоватая заря. Другой раз Шура и порадовался бы ей, а еще тому, что побывал за колючкой, но теперь только вздохнул тяжело, устраивая мужика на нары. Лицо Шуры было серым и думы такими же...

Был бы свободный, полетел бы к тебе на крылушках, дорогая моя Полюшка. Все бы бросил и полетел. Прижал бы тебя к груди своей так, чтобы все кишочки в тебе затрепетали, и заглянул бы в глаза твои, — такое-всякое вертелось в голове, но тут же и ребятишки, и незабвенная жена Вера Григорьевна приходили на ум. Как-то ей теперь там... тоже небось несладко... так же, может, мужичка себе манит! Горькие мысли скребли Шурину душу когтями тоски. Полюшка да Верушка, кто нас развел, разделил, кому, какому зверю поганому в ножки за это кланяться?!

В два часа из ермаковской больницы пришел санитар, сказал, что хирург Богданов в Игарке и ни сегодня, ни завтра его не ждать. Горчаков стал совещаться со старшей медсестрой. Глаз надо было удалять, капитан кончался. Белозерцев сунулся к нему, он лежал и не стонал, не бредил уже, а только открывал и закрывал оскаленный и перекошенный рот. Может, и под морфием был. За стеной Горчаков вполголоса объяснял Рите, как устроен глаз с обратной стороны и как, предположительно, надо ему будет идти скальпелем, который совсем для этого не подходил.

— А вы уже удаляли, Георгий Николаич? — слышался недоверчивый голос Риты.

— Никогда и не видел вынутого глаза. Даже коровьего.

Через двадцать минут Шура внес в комнатку Горчакова баранью голову с двумя глазами. Коровьей не было. Через знакомого хлебореза вышел на повара, все рассказал, как есть, и еще добавил хороший пакетик заныканного веронала. И вот принес. Горчаков нахмурился, когда Шура размотал грязную простынь, но вскоре они с Ритой уже ковырялись с пучеглазыми бараными зенками. Шура, представлял, что они то же самое будут сейчас делать с капитаном, и не мог смотреть. Проверил кипятилок, параши и печки. Заставил Сашку отпарить и отдолбить загаженные за день толчки, керосину долил в движок, дающий свет.

Пока работал, думал про неслучившуюся свою любовь, про землячка расторопного, про годики свои поганые, еще четыре их, развеселых, маячило впереди. До неведомого какого-то пятьдесят третьего определено было старшине Белозерцеву куковать в этих краях.

Было уже полпятого, на улице серые дневные сумерки снова сменились мгlistой, беззвездной заполярной ночью. Он вспомнил про капитана, сунулся к Горчакову. Тот, не включая света, лежал на узких нарах в своей комнатке, даже головы не повернул. Шура притворил фанерную дверь. Ритка шла по коридорчику, что-то марлей прикрыла на подносе. Спирт развела, понял Шура.

— Ну что? — спросил скорее взглядом, чем голосом.

— Ужас, Шура, Георгий Николаич сам изрезался, пока вынимал да чистил. Я еле стояла... — Она не договорила, толкнула дверь плечом и вошла в темную комнатку Горчакова.

Шура понимающе поскреб подбородок, зашел в операционную к капитану. Тот спал на койке, голова перевязана. На столе и возле куски окровавленной ваты валялись, грязные бинты. Шура

удивился, что всегда аккуратный Горчаков не распорядился, чтоб убрали. Он налил кипятка из бойлера, разбавил холодной и, стараясь не шуметь, стал прибираться. За перегородкой в комнатке Горчакова сначала было тихо, потом послышались очень понятные Шуру шорохи. В висках застучало, он быстро дособиравал бинты и вату и вышел в коридорчик. Тут было не так слышно. Белозерцев встал, охраняя комнату Горчакова, хмурясь и успокаивая себя, но сам все прислушивался невольно и нервно. То же и у него должно было случиться сегодня.

По проходу, широко расставляя ноги (пораженная рожей мошонка висела почти до колен), шел к Шуру больной «западонец» Мыкола Ковтун. Хмурый, с давно небритой измученной болью мордой, молча глянул на полку с пол-литровыми банками сульфидиновой эмульсии.

— Бери, — кивнул ему Шура.

Рожистых больных ничем не лечили, как-то оно само проходило, мазали только воспаленные места этой мазью, сильно вонявшей рыбьим жиром. И ожоги, и раны ей же мазали. Мыкола выбрал самую полную банку и, все так же раскорячившись, поплелся обратно в полумрак храпящего, кашляющего, стонущего и матерящегося лазарета.

Они курили у входа с Ритой. Медсестра была одного роста с Шурой, с большой грудью и приятной задницей, и еще Белозерцеву всегда нравилось ее лицо. Не так, как нравятся красивые лица женщин, а как-то по-другому, уважительно нравилось. Он затягивался и думал, как бы ловчее порасспросить Риту про Полину, но та рассказывала что-то о своей пятилетней дочке, потом заговорила о Горчакове:

— Нельзя Георгию Николаевичу оперировать, он и спокойный вроде, а видно, что все через себя пропускает. Богданов — тот как камень всегда... — она поежилась от холода, посмотрела на Шуру темными и честными глазами.

Шура постоял еще некоторое время, раздумывая, он, из-за утренней своей неудачи, хотел подкатиться к Ритке, она бы, наверное, не отказала, — да чувствовал неловкость. Николаич большое дело сделал, его было за что пожалеть, а меня-то за что? Разохотившийся Шура невольно гладил глазами пухлые Риткины прелести. И думал, что хорошая она баба, всех жалеет, иной раз и несчастному больному какому даст, а блядь язык не повернется назвать. И Георгий Николаич ее уважает, уверенно заключил Белозерцев.

— Мы с начальником стройки, с Барановым — однодырники! — с глупым отчаяньем похвастался вдруг Шура.

Рита слушала молча, докуривала папиросу.

— Помнишь, у нас летом Жанна лежала, актриса расконвоированная из театра?

Рита кивнула спокойно.

— У нас с ней любовь была, она мне потом записки передавала... — соврал Шура про записки, записка была одна. — А у нее как раз был роман с самим Барановым... Нежная была женщина, с обхожденьями любила. Так что... однодырники, выходит.

Неожиданно из-за угла вывернулась тень ночного санитаря Васьки Трошкина. Оба вздрогнули, Шура не сразу его и узнал — из носа и со лба сочилась кровь, а губы были разбиты в хлам и раздулись, как у коровы, — под тусклой лампочкой, освещающей вход, Васька выглядел негром с картинки.

— Ты чего это? — удивился Белозерцев.

Васька стоял словно пьяный, смотрел то на Шурку, то вбок, потом разлепил кровавый рот:

— Ох, меня сейчас и отпиздили, Шура...

И замолчал. Шура тоже молчал. Думал, что лучше бы его так... чем эта злая история с Полей. Морда заживет, душа нет.

## 21

Ася с Колей шли пешком из Большого театра. Было морозно, Москва начала наряжаться к Новому 1950 году. Но прежде, 21 декабря, ей предстояло встретить семидесятилетие Иосифа Сталина. Огромные портреты вождя уже висели на фасадах домов. На Манежной мужики в валенках и телогрейках монтировали конструкцию с солнечным живописным полотном высотой с пятиэтажный

дом. На нем самые счастливые в мире люди шли на демонстрацию и несли большой портрет Иосифа Виссарионыча. Все улыбались — сильные и смелые мужчины, красивые женщины и радостные дети. Автомобильные краны держали опасно гнущуюся конструкцию.

Коля по дороге насчитал четыре елки, самая большая уже переливалась гирляндами цветных лампочек напротив Большого театра. Вокруг нее специально поставленные ларьки собирались торговать сладостями и книгами. В скверике у метро «Арбатская» елку только привезли и поднимали из кузова. Как будто все те же мужики в телогрейках тянули дерево подъемным краном, расправляли мохнатые ветви, подпиливали что-то. Милиционеры оцепили сквер. Командовал работами высокий человек в белых бурках, хорошем пальто с серым каракулевым воротником и каракулевым же пирожке. Все его слушались. Время от времени человек снимал перчатку и отогревал уши и нос. Ася тоже грела нос и смотрела на елку, но думала о своем.

Сегодня утром после урока генерал протянул ей конверт с деньгами и посмотрел как-то особо пристально. И даже предложил подвезти до дома. Ася отказалась, растерянно улыбаясь. В конверте вместе с деньгами оказалась записка — генерал уверенным почерком признавался, что она ему нравится, и прямо назначал свидание. Обещал помощь, «финансовую и любую другую». Ася целый день помнила о записке, это было не первое такое предложение. Мужчины на фронте стали решительны в этом вопросе, многие вели себя очень откровенно.

И Ася, изводя себя, представляла, что у ее детей появляется крепкая одежда и обувь, а у нее работа... и всегда будут керосин в керогаз и продукты, кроме картошки и хлеба... Генерал мог бы переселить их в отдельную квартиру, где у Натальи Алексеевны была бы своя комната. Ася словно смотрела интересное и очень глупое кино, которое не надо, но очень хочется посмотреть еще чуть-чуть. Хотя бы в фантазиях увидеть свое семейство сытым и обутым... За это я должна быть его любовницей, приходиться к нему куда-то, — она была уверена, что у больших военных обязательно есть такие специальные квартиры. Генерал выглядел мужественно и даже чем-то нравился Асе. Временами ей тяжело бывало, ее собственное, живое и здоровое тело ныло и изводило помимо ее воли. Грубоватая беременная жена генерала пришла в голову. Она за что-то не любила рояль, двигала из угла в угол, расставляла на нем фарфоровых пастушков... может, и ревновала к Асе. Ася через силу улыбнулась собственным фантазиям. Это были не мысли, это было просто так, нервное. Очень-очень нервное.

Сегодня в театре во время спектакля она думала про «любую другую помощь». Генерал мог иметь в виду Геру. То есть Горчакову можно было облегчить жизнь или даже вытащить из лагеря...

— Мам! — звал Коля.

Ася вздрогнула всем телом, будто ее застали за чем-то крайне неприличным. Елка уже стояла вертикально, мужики курили, задрав головы. Она крепко взяла сына за руку и потянула к арбатским переулкам. В голове все стоял щедрый молодой генерал, он наверняка навел о ней справки и знал про сидящего мужа.

— На чем мы остановились? — Ася забыла, о чем они говорили по дороге.

Коля шел, задумчиво пиная снег и льдинки:

— Мы говорили про Бориса Годунова и царевича Дмитрия...

— Ну да... — ответила Ася машинально. — Я рада, что тебе понравилась опера.

— А когда он погиб, он был такой, как я?

— Нет, ему было всего девять лет.

— А где был его отец? — Коля остановился и поднял голову на Асю.

— Его отцом был Иван Грозный, он умер к тому времени. Ты почему спрашиваешь, ты же все это знаешь?

— А мой отец... — Коля не смотрел на мать.

— Что твой отец? — Ася испуганно инстинктивно глянула по пустынному Сивцеву Вражку. Они как раз сворачивали в темную арку, ведущую во двор.

— Он — враг народа? — голос Коли гулко прозвучал под аркой.

— Тише! — Ася остановилась, притягивая его к себе. Коля виновато, но и упрямо глядел.

— Ты нас обманывала, потому что не хотела говорить этого? Он правда геолог?

Ася молчала, ошарашенная вопросом. Момент, которого она избегала, но со страхом ждала, настал так неожиданно. Ее нагромождения правды и полуправды о Гере давно уже начали разваливаться. Она стояла в замешательстве: Коля, с его наивным стремлением к справедливости, мог проговориться в школе.

Она потянула сына из громкой арки во двор. Тут тоже было темно, только у подъезда горела тусклая лампочка. От растерянности сели на лавочку. Коля заговорил сам:

— Сначала я ждал, что он вернется из экспедиции... потом, после войны ты сказала, что он на ответственном задании, и об этом ни с кем нельзя говорить... Я тебе верил и привык жить без него, — Ася сидела в страшном напряжении, в тысячный раз проживая собственное вранье, не глядела на сына. — Я ни с кем не говорил о нем. Меня спрашивали, я молчал, иногда говорили, что у меня нет никакого отца... — Коля сидел ссутулившись, как старик, челка выбилась из-под шапки. — Баба другое говорила о нем... и ты сама... Недавно ты сказала Лизе Воронцовой, что он не пишет.

Коля смотрел спокойно, без вины, что подслушал, но и ее не винил, что обманывала и скрывала. В его тревожном ребячьем взгляде читалась сейчас вся та бесчеловечная сложность их изуродованной жизни, в которой ложь была обязательна. Он прижался к матери, обнял, гладил ее руку в латаной-перелатанной и все равно дырявой варежке.

— Я никому не скажу. Кто мой отец? Он в тюрьме?

По Асиным щекам покатались слезы. Она сидела не шевелясь. Потом решительно достала платок, вытерлась. Заговорила, но слезы набухали вновь:

— Твой отец — Георгий Николаевич Горчаков. Знаменитый геолог. Он красивый и светлый человек. Все, что я о нем рассказывала, все правда. Его арестовали тринадцать лет назад... — она замолчала. — Он ни в чем не был виноват.

Коля смотрел застыв, не отрываясь. Откуда-то взявшиеся черные птицы зашевелились вдруг, загалдели в темноте на деревьях, Ася испуганно подняла голову, опять обернулась, вглядываясь в темноту двора.

— А ему еще много сидеть?

Ася молчала, в воздухе возникло тяжелое напряжение. Она сжала его руку:

— Двадцать три с половиной года.

— Так долго?! — вырвалось у Коли.

— Я тебя очень прошу, не говори ни с кем о нем... Скажи, что он нас бросил... — она заглядывала ему в глаза. — Тебе хочется, чтобы у тебя был отец... мне тоже хочется. И он у тебя есть! Я рада, что ты спросил, теперь мы сможем говорить о нем.

— Правда?

— Ты мне не веришь? Честное слово, я давно этого хотела... Только не при Севе и не при бабушке, пожалуйста.

— Почему?

— Сева еще мал... Как ему объяснить, что об этом нельзя говорить?

— Он многое понимает... Ты же говоришь, что отец не виноват?

— Ты мне не веришь?

— Но почему тогда нельзя?

— Коля, — зашептала Ася с испугом, — у нас, если человека осудили, значит, он виноват!

— Если ты знаешь, что отец невиновен, мы можем написать письмо Сталину. Я думал об этом.

Люди пишут, можно обратиться через газету.

— Это не поможет. Когда ты думал об этом?

— Почему не поможет?!

Ася молчала.

— А правда, что вокруг так много врагов?

— Что за вопросы? Откуда ты это взял?

— В газетах и по радио все время говорят... Мы обсуждали...

— Что ты! — она схватила его за руку и с ужасом притянула к себе. — С кем ты говорил, Коля?

— С Третьяковым... не бойся, у него нет родителей, он живет с бабушкой.

— С Третьяковым? А больше ни с кем?

— Нет.

Ася высморкалась и заговорила спокойнее:

— Твой отец не просто честный, он очень много сделал, но об этом нельзя говорить вслух.

Иначе заберут меня.

— Тебя?! За что?!

— За то, что я считаю его честным.

— Да?!

Коля помолчал, потом обнял мать, прижался:

— Он правда приезжал к нам четыре года назад?

— Коля... — Ася притянула к себе сына, — все-все, что я тебе рассказывала о нем, все — правда, просто я о чем-то не рассказывала. Как же иначе родился Сева?! Я тогда не могла сказать тебе всего, помнишь, ты был под Горьким, в интернате с усиленным питанием.

— Я помню. А почему он не приехал ко мне?

— У него не было документов, только справка об освобождении. Он должен был получить паспорт, иначе его могли арестовать за нарушение режима пребывания. Он очень хотел поехать к тебе, готовился к вашей встрече, расспрашивал про тебя. Это мы с Натальей Алексеевной отговорили ехать, мы не думали, что его арестуют.

— А за что его арестовали? Он же ничего не успел сделать!

— Я не знаю простого ответа на эти вопросы, давай не сейчас. Но я рада, что мы заговорили, я чувствовала себя преступницей, что обманывала. Теперь мне будет легче, но тебе станет трудно. Тебе придется врать в школе...

— Ты напишешь об этом отцу?

— Такое нельзя писать, и он не отвечает на мои письма.

— Почему?

— Это все очень непросто...

— Расскажи о нем.

Ася молчала задумчиво, пожала плечами.

— Я не знаю, какой он сейчас. Когда его арестовали, он был очень жизнерадостный, большой выдумщик и очень умелый — все делал своими руками, а внешне такой, знаешь, скромный математик в круглых очках. Он был очень выносливый, один ходил в многодневные маршруты в тайге... Он убил медведя из обычного револьвера! Это очень опасно...

— Ты мне это рассказывала...

— Ну да... — она вдруг улыбнулась. — Однажды он ехал по тундре на оленях и у него развалились санки... совсем развалились! То есть олени есть, а ехать не на чем! Знаешь, что он сделал?

— Нет.

— Сел на оленью шкуру, взял в руки вожжи и так, на шкуре, проехал почти десять километров до жилья. Я тебе этого не рассказывала, это было в тот год, когда мы поженились... — Ася радовалась, что вспомнила этот случай. — Он уже тогда был большим начальником в институте Арктики. Его очень уважали.

— Уважали и арестовали... За него не могли заступиться?

Ася осеклась в своей радости. Вздохнула.

— Коля, его обвинили... — Ася растерянно терла лоб, — например, в том, что он скрыл полезные ископаемые! Ты понимаешь, какая это мерзкая ложь?! Он открыл два главных месторождения в Норильске, там целый город выстроили! А он сидит в лагере!

— А что значит «враг народа»?

Ася удивленно, со строгостью во взгляде уставилась на сына.

— Ты что имеешь в виду? Кого? Отца?

— Нет, я просто... так говорят... Почему так говорят?

— Враг народа — это тот, кто бесчеловечными идеями, пропагандой и насилием превращает целый народ в скот, в озверевшее стадо! — Она помолчала, соображая, поймет ли он. — Коля, это все сложно, давай потом поговорим. Мы уже долго тут шепчемся.

— Сталин тоже говорит о врагах народа...

Ася только крепче сжала его локоть.

— Почему ты молчишь? Ты не любишь Сталина? Ты никогда не говорила о нем хорошо...

— А ты любишь?

— Я не знаю... Его все любят.

Ася опустила голову, посидела так, потом подняла уставший взгляд на сына, улыбнулась:

— Пойдем домой, я замерзла, у нас есть вареная картошка с очень вкусной квашеной капустой, меня сегодня угостили... К Ершовым родственница приехала из деревни, такая огромная тетка — в дверь не проходила, пришлось снимать косяки, представляешь? Я к ним прихожу, а двери нет, и в кухне на двух стульях сидит такая невероятная и веселая тетка. Я тебе теперь много расскажу, я попробую, пойдем.

Ночью Ася сидела за письменным столом с газетой, раскрытой под настольной лампочкой. В Ленинграде шли массовые аресты. С Колей надо было очень серьезно поговорить. Она страшно трусила и совсем уже не рада была, что они заговорили о Гере. Надо срочно все объяснить, предупредить его...

Она замерла, уставившись в освещенный лампой кружок газеты. Ей предстояло рассказать сыну правду. О жизни, в которой кругом была ложь.

Вспомнился вдруг конвоир в ссылке, простой деревенский парень с обычным, даже добродушным лицом, он сильно толкнул ее прикладом в торчащий живот! Он бил еще не родившегося Колю — сына врага народа! И потом смеялся, когда она схватилась за живот...

## 22

— Зэка Горчаков, статья пятьдесят восемь, десять, по вашему приказанию прибыл, гражданин начальник, — Горчаков не переступал порога, говорил громко, с покорной интонацией, с какой эту фразу обычно и произносили.

Иванов, на погонах которого уже были три звездочки старшего лейтенанта, что-то писал, поднял голову, дождался, пока скажет до конца. Кивнул небрежно, чтобы вошел. На лице обычное презрительно-брезгливое выражение. Он все-таки считал себя самым умным здесь — книжки читал, не матерился... Георгий Николаевич вошел и остановился в трех шагах перед письменным столом. Начальник особого отдела положил перед собой пухлое «Дело Горчакова Г. Н.». Папка была другого цвета, отметил Горчаков. Новую завел.

— В Норильск вас запрашивают, гражданин Горчаков... — Иванов смотрел изучающе и не так презрительно, как обычно, на вы назвал... — Из управления геолого-поисковых работ, ваши прежние товарищи вас вызывают. Там же у вас должны быть товарищи, вы руководили... — он нажимал на слово «товарищи», высматривая что-то в лице Георгия Николаевича.

Горчаков глядел по-прежнему с покорной тупостью. Это была неожиданная новость и, как все неожиданное, не нравилась ему. Он думал о санчасти, о своей маленькой комнатке в лазарете, где можно было побыть одному, о сложившейся здесь жизни...

— Я не полечу, гражданин старший лейтенант... — вырвалось у Горчакова наудачу. Он отлично знал, что ничего не решает.

— Я так и думал! — Иванов, просветлев отчего-то лицом, откинулся на спинку стула, за портупейные ремни себя подергал. — Я многое про вас понял, Георгий Николаевич, а почему вы отказываетесь?

Горчаков молчал, наклонив голову. Неделю назад Иванов расспрашивал его о работе в Норильске. Он не запомнил разговора, его и не получилось, только неприятный осадок остался —какой бывает после шмона, когда роются у тебя в тумбочке и вещах.

Для з/к Горчакова существовало два Норильска. Один сохранился в памяти как просто тундра, просто рыбная речка Норилка, палатки под горой Шмидтиха и ничего больше. Ни колонн людей в ватниках, ни колючей проволоки, ни конвойных — это была чистая свобода, к которой прилагались разум, руки и надежные товарищи... Теперь же на этом месте стоял другой Норильск. В нем распоряжались люди, обученные ненавидеть свободу.

Георгий Николаевич с интересом посмотрел на Иванова. Перед ним сидел как раз такой — сытый, аккуратный человек, одетый во все казенное, с огромной зарплатой, спецпайком и странной, до неузнаваемости изувеченной совестью. Этот человек не допускал свободы как явления.

— Я смотрел ваше дело. Вы безусловно талантливый человек, но как вы распорядились вашим талантом?! — старший лейтенант сделал значительную паузу, и Горчаков увидел по его лицу, что лейтенант своим талантом распорядился куда лучше. — Советская власть в тяжелейшие для нее годы учила вас геологии! И что же? Чем вы ей ответили?

Горчаков уже слышал похожие слова неделю назад, он вдруг поднял голову, что-то недозволенное для зэка гневно сверкнуло во взгляде, но тут же и погасло:

— Я, гражданин начальник, в отличие от вас, своего дела не видел... Но предполагаю, там моя черная неблагодарность ясно изложена.

— Задело! Иронизируете! В вашем деле все есть, это правда... Вам еще придется ответить перед людьми будущего. Наверняка читали Герберта Уэллса? Придет время, люди восстановят все, что было до них, и роль каждого будет ясна. И если вы действительно такой великий геолог, как показывают ваши товарищи, то ваших потомков спросят: а почему же он не работал на общее дело? Почему не подставил плечо в трудные для Родины времена?!

Лейтенант поднялся из-за стола. Он был чуть пониже, но смотрел жестко, сверху вниз. Перед ним сейчас был очень мелкий человечико.

— Я вам скажу, почему вы отказываетесь. Вы враг нашего большого дела! И хлеб народный зря едите! Вы настоящий враг, зэка Горчаков, странно, что вас не расстреляли в тридцать седьмом. Мягкость проявили. Дали возможность перековаться.

— Или пулю пожалели... трудные времена были, гражданин начальник, не на всех хватало! — в голосе Горчакова появились твердые, издевательские нотки. Он уже не опускал взгляд.

— А я стрельнул бы! — щеки Иванова бледнели и пошли розоватыми пятнами. — Если бы тогда застал вас у костра, одной тварью, одним гнилым доктором геологии на земле меньше бы стало! Рука бы не дрогнула!

— Двумя тварями, гражданин начальник... Там еще гнилой старшина разведки был!

Иванов едва держался, нервно нагибал голову, будто бычился, глаза произвольно жмурились и моргали сами собой. Как он ненавидел Горчакова в этот момент! Как он жалел, что опоздал родиться! Как завидовал отцу! Тогда, в тридцатые, уничтожались враги и предатели, тогда решалось многое, если не все. Иванов даже во снах видел себя чистильщиком этой нечисти — надо было искоренить всех дочиста! Не только за дело, но и всем, кто косо смотрел — расстрел! Кто смел открыть свой поганый рот — расстрел! Не довели дело до конца... Горчаков смотрел в пол, но лейтенант хорошо чувствовал, что этот зэк мнит за собой свою правду. Ее и надо было вырвать, эту их правду, со всеми кишками, чтобы ее никогда больше не было.

— Я пытался найти с тобой контакт... думал, как интеллигентные люди пойдем друг друга. Но ты уже никогда не справишься! Я для тебя палач! — он успокаивался, во взгляде снова появилась брезгливая снисходительность. Подошел к окну и заговорил почти спокойно. — Мой отец был чекистом! И мой сын будет чекистом! Ради всеобщей чистоты мы сделаем нашу работу, и таких, как ты, не останется! Если не я, то мой сын это доделает!

Горчаков молчал. Все, что говорил сейчас старший лейтенант, было искренним. Каждое утро он вставал на час раньше заключенных, закалял свое тело и дух. Делал из себя человека будущего. Так же он думал и про окружающих — что их тоже можно сделать другими, пересоздать по образу и подобию... какому? Георгий Николаевич поморщился, освобождая голову от лишних мыслей. Ему давно хотелось курить.

Иванову больше нечего было сказать этому фельдшеру. Он решительно сел за стол, взял ручку, школьной перочисткой аккуратно вычистил кончик пера и макнул в чернильницу:

— Свободен! Завтра в двенадцать. С конвоем!

Горчаков сидел в хвосте самолета на откидной металлической лавке и смотрел в иллюминатор. Валенки, ватные брюки, бушлат сверху телогрейки, на шею под бушлат намотан вязаный шерстяной шарф, Рита принесла утром... за два часа до подъема пришла. В вещмешке хорошие ботинки, шерстяная, почти новая тельняшка, курево и буханка хлеба. Его верные лагерные инстинкты собрали все самое необходимое.

Конвоир, в длинном черном тулупе и с пистолетом в кобуре, дремал на лавке напротив. «Ли-2» летел невысоко и небыстро, погода стояла хорошая, несмотря на полярные сумерки, видно было далеко. Когда набрали высоту, на востоке над горизонтом появилась неяркая часть солнечного шара, лежащего где-то за серою, мгlistой тундрой. Впереди же, на севере, горизонт был темным — они летели в полярную ночь.

Самолет не отапливался, громко дребезжал металлическими лавками, в щели задувало, и вскоре все — на борту было человек двадцать — стали основательно подмерзать. Поглядывали друг на друга, терли щеки и заматывались шарфами.

Через полчаса после взлета из кабины появился второй пилот в унтах, меховых штанах и меховой куртке. В руках — бидончик. Глаза поблескивают весело, видно, сам уже принял.

— Спирт! — показал бидончик и крышку от него, как стакан. — Холодно будет!

— Хороший? — спросил дрожащий женский голос.

— Первостепенный спиртыга — как антиобледенитель получаем! Девяносто пять градусов!

Пассажиры трясущимися от холода руками брали «рюмку». Спирт был неразбавленный, у непривычных женщин скручивал лица в страшные гримасы, пучил глаза и широко раскрывал рты, закуской служила большая, разрезанная на дольки и уже побелевшая от мороза луковица. В самолете было минус сорок, не меньше.

— Нам нельзя, — конвоир хмуро закачал головой, нечаянно объединяя себя с Горчаковым.

— Да куда он отсюда денется? — улыбался пилот, наливая в крышку. — Еще два часа лететь! Давай!

Конвоир строго покосился на соседей, заглянул в крышку и осторожно взял ее толстыми меховыми варежками. Горчакову так и не дал.

Георгий Николаевич мерз, но как будто и не очень. Задремал даже, вспоминая колымские зимы, когда зашкаливало за шестьдесят. На Колыме холодно было всегда — в жилых бараках, на разводах, в шахтах, но особенно когда перевозили машинами или в медленных тракторных санях. Однажды его везли полярной ночью в открытом кузове грузовика. Он не был готов к дороге — бушлат изношенный, плохо простеганный и со сбившейся ватой, такую же ватную ушанку продувало насквозь, на руки он намотал какие-то тряпки, но не было валенок, на нем были ЧТЗ<sup>71</sup> на резиновом ходу... Ехали долго, тогда-то он и понял, что холод тяжелее голода, голод можно выносить много дней, к голоду даже можно привыкнуть... Он околел до безразличия, а возможно, уже и начал замерзать, но продолжал чувствовать холод. По ночному небосклону полыхало зеленоватое полярное сияние. Оно было такое большое, что даже голову не надо было закрывать. Он просто глядел на причудливо льющисся и вибрирующие сполохи, и благодарил за них, и прощался с этим миром, даже, ему это хорошо помнилось, думал про себя, что замерзнуть — это неплохо. Еще лучше было бы уснуть и замерзнуть, но он не засыпал. Его везли в расстрельный лагерь на Серпантинку... Оттуда не возвращались. Ему в очередной раз повезло — конвой решил, что он замерз, и он не доехал до Серпантинки. Его оставили возле маленькой придорожной комендатуры... Дальше он не помнил, должно быть он «ожил» и какая-то добрая душа затащила его в тепло. Он очнулся в больнице с тяжелыми обморожениями, а там повезло с доктором, который не стал ничего ампутировать. Он лежал почти три месяца, а потом еще столько же кантовался в лазарете помощником.

---

<sup>71</sup> ЧТЗ — так, по имени Челябинского тракторного завода, называли обувь, подошва которой изготавливалась из старых автомобильных покрышек. Была широко распространена в лагерях.

В иллюминаторе под гул моторов проплывала серая тундра, пестровая от полос приречных кустарников. По этим же темным черточкам, как небритость торчащим из-под снега, можно было угадать округлые пятна озер и болот. Сейчас все было однообразно-ночным и безжизненным.

Это только первые главы романа. Роман полностью можно приобрести в книжных магазинах (в Красноярске – магазин «Бакен») или на Litres.ru: <https://www.litres.ru/viktor-remizov/vechnaya-merzlota/>